

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

**ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

---

"НАУКА"

МОСКВА - 2000

## СОДЕРЖАНИЕ

М.Н. Боголюбов (С.-Петербург). Василию Ивановичу Абаеву к Торжественному Дню.....	3
М.И. Исаев (Москва). Патриарх отечественной филологии (к 100-летию со дня рождения В.И. Абаева).....	8

\* \* \*

А.А. Зализняк (Москва). Лингвистика по А.Т. Фоменко.....	33
Ю.В. Монич (Москва). Амбивалентные функции ритуала в эволюции языковых систем.....	69
Р.Ф. Касаткина (Москва). Южнорусское наречие. Новые данные.....	98
А.П. Володин (С.-Петербург). О "блуждающей морфеме" <i>inelen</i> в чукотско-корякских языках (опыт диахронической интерпретации).....	110

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Т.З. Черданцева (Москва). <i>Italien Lexicon</i> .....	130
Ю.А. Бельчиков (Москва). <i>О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона</i> .....	133
В.П. Москвин (Волгоград). <i>Н.Ф. Алефиренко</i> Спорные проблемы семантики.....	137
В.З. Демьянков (Москва). <i>М.М. Маковский. Историко-этимологический словарь современного английского языка. Слово в зеркале человеческой культуры</i> .....	141

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

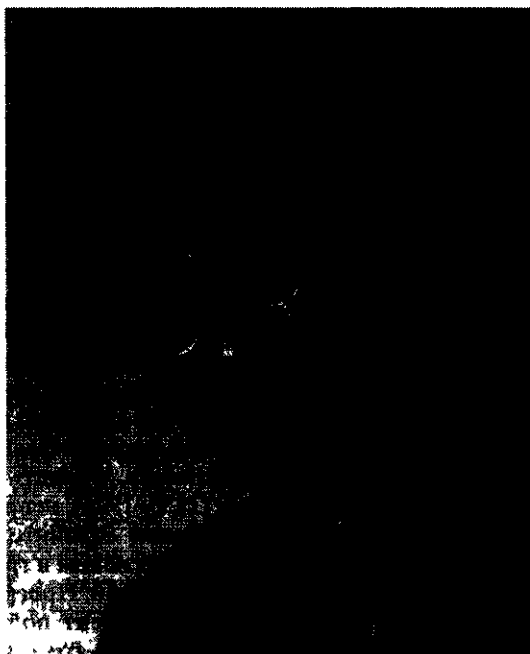
Хроникальные заметки.....	146
Новые издания.....	149
В.М. Живов, Е.А. Земская (Москва). <i>Герта Хютль-Фольтер (1923–2000)</i> .....	154
Указатель статей, опубликованных в журнале "Вопросы языкознания" в 2000 г. ....	157

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев,  
Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора),  
М.М. Маковский (отв. секретарь), А.М. Молдован,  
Т.М. Николаева (зам. главного редактора), Ю.В. Откупщиков,  
О.Н. Трубачев (главный редактор),  
А.М. Щербак

Зав. отделами: М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова  
Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2  
Институт русского языка имени В.В. Виноградова,  
редакция журнала "Вопросы языкознания"  
Тел. 201-25-16



## ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ АБАЕВУ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ДНЮ

Василий Иванович Абаев, воспитанник Тифлисской шестой мужской гимназии, где он учился с 1-го сентября 1910 г. по 15-е марта 1918 г., при поступлении на Факультет общественных наук (ФОН) Петроградского государственного университета в числе документов представил Аттестат зрелости, свидетельствующий, что в Университет пришел студент, прекрасно подготовленный к занятиям общественными науками. В Аттестате сказано, что его обладатель "обнаружил нижеследующие познания: По Закону Божию – 5, Русскому языку с церковно-славянским и словесности – 5, Философской пропедевтике – 5, Законоведению – 4, Латинскому языку – 5, Математике – 5, Математической географии – 5, Физике – 5, Истории – 5, Географии – 4, Немецкому языку – 5, Французскому языку – 5". Добавим, что студент владел родным осетинским языком и языками родной среды. После окончания гимназии он приобщился к педагогической работе. И, наконец, о самом главном: Василий Иванович после гимназии "побывал в школе" Осетинского историко-филологического общества, где прочитал свой первый ученый доклад на актуальнейшую тему строя осетинской речи – об ударении в иронском диалекте осетинского языка. Докладчик, оттолкнувшись от русских *зámok* и *замóк*, показал, что в осетинском языке путем перемещения ударения достигается совершенно иной эффект. Предмет обобщенный, неопределенный – 'коса вообще, какая-то', становится предметом известным, определенным: *Me'fšymær cævæg balxædta* – *Mein Bruder hat eine Sense gekauft. Me'fšymær cævæg balxædta* – *Mein Bruder hat die Sense gekauft*. В докладе было упомянуто логическое ударение, сказано и о том, что перенесение ударения распространяется в осетинском языке не на все

слова. По сути дела Василий Иванович обозначил тогда предмет своих будущих исследований живой осетинской речи. Очень давно сказано по-персидски:

*Sālē ki nēkōst az bahāraš paydāst.*

"Благодатный год виден уже весной".

Осетиновед Григорий Алексеевич Дзагуров (1888–1979), заботливый человек, в рекомендательном письме от 4-го ноября 1922 года сообщил: "ст-т В. Абаев обратил внимание Осетинского Историко-Филологического общества своим докладом об ударении в осетинском языке. Из него может получиться хороший иранист и кавказовед, в чем русская наука нуждается очень сильно, особенно после смерти Миллера, Корша и Залемана"<sup>1</sup>. Как бы увидев, ощутив предначертанное, Григорий Алексеевич поистине предсказал младшему коллеге, студенту, славный путь в науке.

Приступив в ноябре 1922 г. к занятиям на Этнолого-лингвистическом отделении ФОН, Василий Иванович уже с осени 1923 г. становится ближайшим сотрудником своего университетского учителя проф. А.А. Фреймана (1879–1968) по подготовке к печати рукописных материалов к Осетинско-русско-немецкому словарю акад. В.Ф. Миллера, хранившихся в Азиатском музее Академии наук. В это время во Владикавказе выходит в свет первый выпуск Известий Горского института народного образования. В нем публикуется упомянутый доклад Василия Ивановича<sup>2</sup>.

Студент В. Абаев в семинарах проф. А.А. Фреймана, ученого-ираниста, учившегося у К.Г. Залемана (1849–1916) и Хр. Бартоломе (1855–1925), непреклонно преданного традициям Факультета восточных языков и задачам сравнительно-исторического иранского языкознания, занимался древнеперсидским языком и грамматикой новоперсидского языка, авестийским и среднеперсидским языками. Программа ФОН, при том что в течение первого учебного года энергичный студент получил по различным предметам 21 зачет, была рассчитана всего лишь на два года. По просьбе Василия Ивановича, поддержанной проф. А.А. Фрейманом, ему был предоставлен для студенческих занятий еще один год. Студентом Василий Иванович слушал Введение в языкознание у Л.В. Щербы, Введение в этнологию у Л.Я. Штернберга, Санскритский язык у А.П. Баранникова, Историю Древнего Востока у В.В. Струве.

27 июня 1925 г. Василий Иванович окончил Ленинградский государственный университет, "выполнив все требования Отделения языкознания и литературы факультета Общественных наук по Иранскому разряду секции Культур и языков древнего мира". Возвращаясь к устаревшему теперь устойчивому словосочетанию прошлых лет, скажем, что Василий Иванович к завершению университетского курса "выполнил и перевыполнил" учебную программу. В течение трех университетских лет он напечатал четыре статьи: "К вопросу об ударении в осетинском языке" (1923), "Об ударении в осетинском языке" (1924), "Некоторые осетино-яфетические параллели" (1925), "Новое в осетиноведении" (1925) и подготовил пять статей, которые были опубликованы в следующем 1926 году. Среди них находится, признанное безупречным, исследование "Четыре ряда смычных согласных в осетинском" (1926). В этом же темпе, с этой же интенсивностью Василий Иванович работает в последующие три четверти столетия, с непреклонностью возвышаясь в своих трудах над широко известной всяческой суетой, сотрясавшей отечественное языкознание.

<sup>1</sup> Сердечно благодарю Г.С. Харатишвили, доцента Восточного факультета СПбГУ, сделавшую по моей просьбе выписки из личного дела № 2039 студента В.И. Абаева, которое находится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга.

<sup>2</sup> К вопросу об ударении в осетинском языке. Доклад, прочитанный в Осетинском историко-филологическом обществе // Известия Горского института народного образования. Вып. 1/Под ред. проф. А.В. Багрия. Владикавказ. Типография Горнаркомпроса. 1923:75–77. Автор статьи не указан. В "Содержании" автору статьи – В.И. Абаеву – ошибочно присвоены инициалы И.М.

Сегодня, готовясь поздравить Василия Ивановича с сотым Днем Рождения, не будем докучать Мастеру великой науки Этимологии<sup>3</sup> ни описаниями того, что он создает изо дня в день, ни перечислением тем, которые им охвачены и исследуются на протяжении десятилетий. Его вклад в языковедение огромен, значим, чтим. К трудам Василия Ивановича прибегают языковеды многих направлений и специальностей, ими пользуются, по ним учатся, их отличают совершенство, завершенность, редкостной красоты и ясности язык.

Прекрасны статьи Историко-этимологического словаря осетинского языка, в которых Василий Иванович рассматривает имена героинь и героев нартовского эпоса: *Шатаны* – *Satdna*, *Агунды* – *Agundæ*, *Уаццурхс* – *Wacyruxs*, *Уадзафтавы* – *Wadzæftawæ*, *Вархага* – *Wærxæg*, (А)хсапа и (А)хсармага – *\*Xsar*, *\*Xsærtæg*, *Урызмага* – *Wuryzmæg*, *Сурдона* – *Syrdon*, *Батраза* – *Batraz*, *Хамица* – *Xæmys*, *Сослана* – *Soslana*, *Соэруко* – *Sozyruqo*, *Сайнага* – *Sajnæg*, *Бураффарныга* – *Būræfærnyg*.

Обратим здесь внимание на имена двух братьев-близнецов *\*Xsar* и *\*Xsærtæg*. Оба имени имеют общую основу *\*xšart-* из др. иран. *\*xšaθra-* ‘власть, сила’. Могло бы показаться, что продолжение этой основы в именах *\*Xsar* и *\*Xsærtæg* является регулярным: в *\*Xsar* согласный *-t*, оказавшийся на исходе слова, утрачен, и тот же *-t*, поддержанный суффиксом, сохранился. Но в осетинских словах, происходящих от основ, в которых содержится историческая группа *-θr-*, согласный *-t* на исходе удержался, ср.: *wart* ‘щит’ из *\*warθra-*, *mært* ‘мера сыпучих тел’ из *\*maθra-*, *wædært(t)* ‘веретённое кольцо’ от *\*wartaθra-*, *cyrt* ‘памятник’ от *\*ciθra-*, *fyrт* ‘сын’ от *\*puθra-*. В то же время, в личном имени *\*Xsar*, *Æxsar* согласный *-t* не представлен. По-видимому, различие в судьбах конечного *-t* в личном имени, с одной стороны, и в апеллативах, с другой, не является чисто фонетическим. Подтверждение этому предположению находим в коллективном наименовании героев нартовского эпоса: *Nartæ*, *Nart* – *Нарты*. Как и *\*Xsar*, *Æxsar* имя *Nartæ*, *Nart* образовано с помощью суффикса *-θra-* от основы *nar-* (< и.-е. *\*ǵner-* ‘сила, мощь’), представленной в авест. *hu-nar-*, *huna-*, др.-перс. *ūvnara-* (*uvnr*<sup>1</sup>, *unr*<sup>2</sup>) ‘доблесть’, осет. *nærsyn* : *nærst* | *nærsun* : *nærst* ‘разбухать, набухать, толстеть’ [Словарь II: 170]<sup>4</sup>. Исторически основы *\*xšaθra-* ‘власть, сила’ и *\*narθra-* ‘сила, мощь, могущество’ могли быть первой частью сложных двухсоставных слов (отсюда Vfdhhi гласного *-a-* в *Æxsar* из *\*xšāθra-* и *Nart* из *\*nārθra-*), претерпевших сокращение. Первое из них – *\*Xšāθra-*, как наименование единичного одушевленного предмета утратило конечный *-t*, присутствие которого неизбежно втягивало бы личное имя в сферу множественного числа. Второе – *\*Nārθra-*, изначально служившее коллективным наименованием могучих существ, героев, удержало согласный *-t*, который оказался в грамматическом восприятии звуком, тождественным осетинскому форманту множественного числа. Факт сохранения *-t* основы (ср. *nærton* ‘нартовский’) и преобразование *-t* в *-tæ* форманта множественного числа ввел имя *Nart* в парадигму склонения имен множественного числа: Им. п. *Nartæ* *Нарты*, Род. п. *Narty* ‘из рода Нартов’, Напр. п. *Nartæm* | *Nartæmæ*. В отличие от имен собственных, определенных предметов единственному числу осетинских апеллативов присущи категории единичности и собирательности. Последнее обстоятельство объясняет сохранение *-t* в *wart* ‘щит’, *mært* ‘мера сыпучих тел’, *wædært(t)* ‘веретённое кольцо’, *cyrt* ‘памятник’, *fyrт* ‘сын’. Утрата *-t* в *\*xsar* | *æxsaræ* ‘боевая доблесть, сила, власть’ вторична и обусловлена формой имени *Æxsar*.

<sup>3</sup> Титулом – Мастеру великой науки Этимологии завершил академик Олег Николаевич Трубачев Слово “Василий Иванович Абаев и этимология”, посвятив его 95-летию ученого. См.: Абаев Василий Иванович. Владикавказ, 1995: 13.

<sup>4</sup> В.И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Тт. I–V. М.; Л., 1958–1995. Т. II. Л., 1973, далее Словарь II.

Для объяснения осетинских *rævdawyn : rævdyd | rævdawun : rævdud* ‘ласкать, лелеять, ублажать’, Василий Иванович привлек глагол и.-е. \**du-*, \**dwe-* ‘чтить, ублажать’ (см. [Рокоту 1959: 218]), который запечатлен «в др. инд. *duvas* “почет”, “благоволение”, “милость”, *duvasyati* “чтит”, “ублажает”, лат. *bonus* (из \**dwenos*) “добрый”, *beatus* (из \**dweatos* = ос. *ræ-vdyd*) “блаженный”, ср.н.нем. *twiden* “удовлетворяют”, “ублажать”, хетт. *duddua-*, лув. *duua-* “ублажать кого-либо”, “благоволить к кому-либо» [Словарь II: 385]. Историческая форма основы *rævdawyn : rævdyd | rævdawun : rævdud* крайне интересна. Ее можно поместить в один ряд с удвоенными основами типа авест. *gar-* : *grāraya-* ‘бодрствовать’, *man-* : *nmānaya-* (из индо-иран. \**mnānaya-*) ‘ждать’, \**dav-* : \**dvāvaya-* > \**dvāvaya-* ‘ублажать’; осет. *rævdawyn* из \**fra-βdāwaya-*. Безупречное возведение глагола, бытующего в живой речи осетин, к древним \**dū-* : \**dav-* : \**dāv-*, оправдывает допущение связи с этим корнем авестийских *dūtānhō* (Y. 32, 1) и *dūñm* (Y. 32, 13). В Ведах имя среднего рода в слабой степени *dūvas-* ‘почитание, поклонение, милость’, отыменный глагол *duvasya-* ‘почитать, поклоняться, одаривать, награждать’, прилагательное *duvasyú-* / *duvoyú-* ‘полный почтения’ широко представлены. Действие, которое передают *dūvas-*, *duvasya-*, совершается как в отношении божеств, так и божествами, например: *dādāhānā indra íd dūvaḥ* ‘оказывая почтение только Индре’<sup>5</sup> (I, 4, 5), *vidā devēṣu no duvaḥ* ‘Найди нам милость среди богов!’ (I, 36, 14), *námobhir devām ásurāe duvasya* ‘Награди бога, Асуру, поклонениями!’ (V, 42, 11), *pániṣṭhaé jātáe tavásae duvasyan* ‘Они (боги) почтили самого удивительного, сильного когда он родился’ (III, 1, 13), *Agnír hí devaṅ amñito duvasyády* ‘Ведь это Агни бессмертный почитает богов’ (III, 3, 1), *ādityán yāmy áditié duvoyú* ‘Адитьев я молю (и) Адити, полный почтения’ (VI, 51, 4).

Заратуштра употребил от \**dū-* : \**dav-* : \**dāv-* ‘почитать, поклоняться, одаривать, ублажать’ 1) страдательное причастие *dūta-*:

ᵛwōi dūtānhō āñāmā tēng dāraiiō yōi vā daibiṣṭñī

∴ ᵛwōi dūtānhō āñāmā tēng dāraiiō yōi vā daibiṣṭñī

*ᵛwōi dūtānhō āñāmā tēng dāraiiō yōi vā daibiṣṭñī*

*Мы хотим быть чтимы Тобой. Сокруши тех, которые Вас ненавидят.*

2) имя *dūtay-* ‘поклонение’ (Y. 32, 13):

ᵛbaḥiiā māvranō dūñm yā iṣ pāñ darəsāñ aṣahiiā

∴ ᵛbaḥiiā māvranō dūñm yā iṣ pāñ darəsāñ aṣahiiā

*ᵛbaḥiiā māvranō dūñm yā iṣ pāñ darəsāñ aṣahiiā*

*Почтение Твоего пророка мешает им видеть Правду.*

Василий Иванович увидел древний глагол \**dū-* : \**dav-* : \**dāv-* ‘почитать, поклоняться, ублажать’, глубоко спрятавшийся в живом осетинском *rævdawyn | rævdawun*. Может быть, с этим же самым глаголом связаны также осетинские *dawæg | idawæg* ‘божество’, ирон. *Miḡdaw* ‘божество’ (*dzwar*). Не известно, содержится ли смычный или щелевой *d | ḍ* в хорезмийском слове *ʾrdw / ʾr ḍw* ‘дэв, демон’ – *mʾsʾh yʾrd/ḍwn* ‘похитили его дэвы’. При наличии щелевого звука хорезмийский термин \**arḍāw* вполне может быть воспринят как производное \**ar-ḍāw* от устойчивого

<sup>5</sup> Переводы цитированных мест Ригведы приведены по изданию Т.Я. Елизаренковой // Ригведа. Мандалы I–IV (1989 г.), Мандалы V–VIII (1995 г.), Мандалы IX–X (1999 г.).

словосочетания *\*ahra \*dāwa-* ‘злое божество’, первая часть которого аналогична авестийскому *ahra- mainyu-* ‘злой дух, Ахриман’. Кажется, все говорит в пользу объединения в одну словарную статью ведийских *dīvas-*, *duvasya*, *duvasyú-*, авестийских *dūta-*, *dūtay-*, хорезмийского (мн.ч.) *\*arδāwin<sup>d</sup>* ‘дэвы’, осетинских *rævdawyn | rævdawin* ‘ласкать, лелеять, ублажать’ и *dawæg | idawæg* ‘божество’.

Поздравляя Василия Ивановича с приближением Великого Дня, произнесу лишь по-дигорски:

*Ka din ne skændzænæj kadæ?*

*Кто не воздаст тебе почестей?*

*М.Н. Боголюбов*

© 2000 г. М.И. ИСАЕВ

**ПАТРИАРХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ**

(к 100-летию со дня рождения В.И. Абаева)

Выдающийся ученый-филолог современности, Василий Иванович Абаев родился 15 декабря 1900 г. в с. Коби Душетского уезда Тифлисской губернии Казбекского района Грузии. Начальное образование он получил в сельской Кобийской школе, а среднее – в Тифлисской 6-й классической гимназии (1910–1918). Несколько лет он работал учителем в Кобийской начальной школе, а затем (1922 г.) поступает в Петроградский государственный университет на иранский разряд этнолого-лингвистического отделения факультета общественных наук.

Еще будучи студентом, В.И. Абаев публикует свои первые научные работы, а по окончании вуза, в 1925 г. по предложению Н.Я. Марра он зачислен аспирантом Научно-исследовательского института сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока при ЛГУ. Его научный руководитель Н.Я. Марр обратил внимание на активную исследовательскую деятельность своего аспиранта и по окончании учебы направил его на работу в Кавказский историко-археологический институт Академии наук СССР (в 1928 г.). Через два года, в 1930 г., он зачисляется научным сотрудником Яфетического института Академии наук, впоследствии переименованного в Институт языка и мышления АН СССР.

В 1935 г. В.И. Абаеву, автору 36 печатных трудов, присуждена ученая степень кандидата филологических наук (без защиты диссертации). В том же году ученый был командирован в Осетию со специальным заданием Президента Академии наук для научной консультации издания осетинского нартовского эпоса. Оторванный от Ленинграда войной, он в период с 1941 по 1945 г. работает в Северо-Осетинском и Юго-Осетинском научно-исследовательских институтах, затем возвращается в Ленинград и продолжает работать в Институте языка и мышления.

После языковедческой дискуссии 1950–1952 гг., в процессе которой И.В. Сталиным было раскритиковано "Новое учение" Н.Я. Марра, Институт языка и мышления был переименован в Институт языкознания АН СССР, основной костяк которого перебазировался в Москву, куда был переведен и В.И. Абаев. В 1962 г. ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук (опять без защиты диссертации), а в 1969 г. – присвоено звание профессора.

В.И. Абаев не из тех ученых, у которых количество наград, чинов и званий чуть ли не превалирует над числом научных трудов. Тем не менее его не обошли ряд поощрений. Так, он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом медалей; ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Северо-Осетинской АССР (1957), заслуженного деятеля науки Грузинской ССР (1980), ему присуждена Государственная премия имени Коста Хетагурова (1966), Государственная премия СССР (1981), премия имени академика Чикобава (1998). Не обойден В.И. Абаев и "чисто академическими" почестями: он избран почетным членом Азиатского Королевского общества Великобритании и Ирландии (1966); членом-кор-



респондентом Финно-угорского общества (Хельсинки, 1973) и почетным членом РАЕН (секция “Российские энциклопедии”, 1992).

Научное творчество, труды В.И. Абаева поражают не только своим количеством, но и разнообразием тематики, а также основательностью. Характерной же чертой исследовательского почерка их автора является постоянное стремление к теоретическим обобщениям в области различных разделов языкознания, литературоведения, нартоведения.

Другой особенностью научного творчества ученого является надежность анализируемого языкового материала. Вот почему он свою научную деятельность начал с изучения различных аспектов своего родного осетинского языка, который он познал глубоко и во всех разновидностях. Это помогло ему выдвинуть ряд фундаментальных идей в осетиноведении.

## ОСЕТИНОВЕДЕНИЕ

Первые новые идеи В.И. Абаева опубликованы в его осетиноведческих трудах, охватывающих все стороны языка. В области фонетики новые положения выдвинуты прежде всего по вопросам ударения и фонологии. Дело в том, что предшественники В.И. Абаева (академики А.М. Шегрен, В.Ф. Миллер и др.) потерпели неудачу в попытках установить закономерности осетинского ударения. Они стремились решить проблему путем постановки ударения на отдельном слове. Но в потоке речи ударение на отдельном слове меняло место, а то и вовсе исчезало. За решение проблемы взялся молодой исследователь В.И. Абаев и провел кропотливую работу. Он записал у сказителей 10 нартовских сказаний, проставил ударения и выдвинул идею о том, что “Satzakzent представляет одну из интереснейших глав осетинской грамматики, где скрещиваются вопросы фонетики, семантики, синтаксиса и, в конечном счете, языковой типологии” [Абаев 1939: 7–8]. Ученый выявил, что в потоке живой речи группа слов, находящихся в определенной синтаксической связи, может носить одно единственное основное ударение (не считая вторичных, очень слабых). Подобные группы он назвал “акцентуальными комплексами”. Далее устанавливается, что эти комплексы всегда образуются:

- 1) предложением с управляемым словом;
- 2) определением с определяемым;
- 3) глаголом в неопределенном наклонении с дополнением к нему;
- 4) сложным сказуемым, где имя предшествует вспомогательному глаголу.

Итогом реализации новой идеи ученого явилось установление “основных акцентуальных законов иронского наречия (одного из двух основных диалектов. – М.И.) осетинского языка, одинаковые как для отдельных слов, так и для групп, как бы много слов они ни включали” [Абаев 1949: 530]. Суть этих законов заключается в следующем:

- 1) ударение не падает дальше второго слога от начала;
- 2) место ударения зависит главным образом от качества гласных, которые делятся на “сильные” (исторически долгие) – *a, u, y, e, o* и “слабые” (исторически краткие) – *æ, ы*;
- 3) если в первом слоге сильный гласный, а во втором – слабый, то ударение падает на первый слог;
- 4) если в первом слоге слабый гласный, а во втором сильный, то ударение падает на второй слог;
- 5) если и в первом, и во втором слоге слабый гласный, то ударение падает на второй слог;
- 6) если и в первом, и во втором слогах сильный гласный, то ударение в одних случаях падает на первый слог, в других – на второй и т.д. Далее автором рассматриваются исключения из указанных правил.

Акцентологические идеи ученого представляют собой общелингвистический интерес, поскольку изученное в осетинском языке явление наблюдается в той или иной форме во многих языках, однако не везде еще привлекли к себе достаточно интереса. Что касается осетинского языка, то учет акцентуальных комплексов здесь имеет особое значение, ибо смысл фразы сплошь и рядом зависит исключительно от расстановки ударения (в зависимости от группировки слов в акцентуальные комплексы). Акцентуальные исследования В.И. Абаева представляют собой также твердую научную базу для разработки орфоэпических норм осетинского литературного языка, для изучения ритмики стиха.

Из новых идей В.И. Абаева в области осетинской фонологии следует указать и на выявление так называемого “четвертого ряда смычных”. Если до него иранисты-осетиноведы вели речь о трех рядах смычных (ряд звонких, ряд глухих придыхательных, ряд смычно-гортанных), то В.И. Абаев к ним добавляет “четвертый ряд”, т.е. ряд глухих непрдыхательных. Он устанавливает также конкретные случаи их появления: а) после глухих спирантов *с, х, ф*; б) при так называемой геминации. Согласные четвертого ряда в осетинском довольно многочисленны. Однако, как устанавливает ученый в специальной работе [Абаев 1949: 512 и сл.], они не могут быть названы в осетинском фонемами в полном смысле, а остаются фонетическими вариантами соответствующих смычных.

Плодотворными и концептуальными оказались идеи, сформулированные по вопросам появления в осетинском языке так называемых “смычно-гортанных согласных”. Ученый подверг глубокому исследованию эту проблему, по которой опубликовал несколько работ (в частности, “Смычно-гортанные согласные в осетинском”, “Полногласие в картвельских заимствованиях” и др.). В этих трудах автор анализирует данную проблему и делает обобщения, значение которых выходит далеко за рамки осетиноведения и даже индоевропеистики.

Опираясь на высказывания, с одной стороны, В.Ф. Миллера, с другой – Н.Я. Марра, В.И. Абаев изучил вопрос о появлении и употреблении в осетинском языке смычно-гортанных фонем *къ, нь, тъ, цъ, чъ*. Ученый показывает на конкретном языковом материале, что смычно-гортанные не имеют в осетинском широкого распространения, и в период формирования осетинского языка они не составляли органического элемента его фонологической структуры. “Они входили в язык вместе с кавказской лексикой и лишь постепенно в некоторые некавказские слова. Так как освоение их требовало известных усилий и сопровождалось напряжением артикулирующих органов, то они стали охотно употребляться для выражения понятий физического усилия и для звукоподражаний соответствующего круга” [Абаев 1949: 524]. С увеличением числа слов, содержащих смычно-гортанные, эти звуки стали приобретать смыслообразительное значение, т.е. превратились в фонемы осетинского языка. Материал, собранный и исследованный В.И. Абаевым, подтверждает и возводит в ранг прочно установленного факта положение о том, что смычно-гортанные появились в осетинском из “кавказских” языков так же, как и в армянском. Однако степень проникновения этих фонем в два языка разная: в армянский они вошли глубже, чем в осетинский. «Преимущественная сфера распространения смычно-гортанных в осетинском, – пишет В.И. Абаев, – это слова, заимствованные из *к а в к а з с к и х* языков. Похоже на то, что предки армян сразу стали артикулировать индоевропейские слова своим привычным “кавказским” способом, тогда как предкам осетин пришлось учиться этой артикуляции, осваивать ее, и они ей учились на тех словах, которые они заимствовали у своих кавказских соседей или восприняли из местного субстрата» [Абаев 1949: 519]. Наибольший процент слов со смычно-гортанными звуками приходится на предположительно субстратные кавказские слова и на слова, заимствованные из соседних кавказских языков, главным образом из грузинского.

Другая группа слов со смычно-гортанными – это слова, усвоенные из русского языка. Проникновение этих звуков в русские заимствования объясняется несовпа-

днем глухих смычных в обоих языках. Как известно, русские глухие не обладают (подобно осетинским) сильным придыханием. Это их сближает со смычно-гортанными:

*къанау* – из русск. *канава*

*къулер* – из русск. *курьер*

*пъол* – из русск. *пол* и т.д.

В.И. Абаев выделяет также еще одну группу осетинских слов со смычно-гортанными – “это слова с представлением о физическом усилии. Насколько нам известно, редко бывает, чтобы какой-либо звук был связан со словами определенного семантического круга. Однако осетинские факты не оставляют, кажется, сомнения, что в сознании говорящих существует какая-то связь между смычно-гортанными согласными и представлением о физическом усилии. Особенно наглядно это в тех случаях, когда данная основа параллельно выступает со значением, не связанным с физическим усилением, и в этом случае вместо смычно-гортанного стоит придыхательный или звонкий: *tæryn* “гнать” (др.-иран. *tar*) содержит придыхательный; тот же корень с превербом *æt-* (*æñ-*), *æñ-t' æryn* означает “гнать с силой” и имеет уже смычно-гортанный” [Абаев 1949: 522] и т.д. Сюда же примыкают многочисленные звукоподражательные слова со смычно-гортанными.

В.И. Абаеву принадлежит и другое исследование в области консонантизма – появление в иронском диалекте новых фонем–аффрикат *ч*, *дж*, *чъ*. Как показывается в статье “150 лет жизни одного языка”, эти фонемы возникли благодаря палатализации заднебных простых смычных *к*, *г*, *къ* перед гласными *и*, *е*, *ы*. Правильность этого положения нетрудно показать на двух фактах современного осетинского языка. Во-первых, в современном литературном (иронском) языке существует фонетический закон, согласно которому переход *к*, *г*, *къ* перед гласными *и*, *е*, *ы* соответственно в *ч*, *дж*, *чъ* является живым процессом.

Например:

*лаг* “человек” – *ладжы* “человека”

*карк* “курица” – *карчима* “с курицей”

*даркъ* “козленок” – *дарчъы* “козленка” и т.д.

Во-вторых, простые смычные сохранились в более архаичном дигорском диалекте.

Например:

дигорск. *кизга* – иронск. *чызг* “девушка”

дигорск. *къира* – иронск. *чъыр* “известь”

дигорск. *гетъре* – иронск. *джитъри* “огурец”

дигорск. *келена* – иронск. *чепена* “хороводный танец”.

Этот переход совершился в течение последних полутора столетий.

В той же статье В.И. Абаев доказывает, что переход в иронском начального звонкого фрикативного *гъ* в смычный увулярный *хъ* также произошел в течение последних 150 лет жизни осетинского языка. Наконец, автор указывает еще на один фонетический процесс, происходящий в тот же период. Это замена начального *æ* в иронском гласным *ы*.

В.И. Абаеву принадлежит также идея о делении осетинских гласных на “сильные” и “слабые”. Дело в том, что осетинские гласные восходят исторически к долгим или кратким, которые четко противопоставлялись в древнеиранском друг другу. Долгие от кратких отличались главным образом большей протяженностью. Подобное деление сохраняется и в среднеиранских языках (например, в среднеперсидском), а также в некоторых современных иранских языках (например, в белуджском). Что касается большинства современных иранских языков, то в них на место чисто количественному противопоставлению в той или иной степени пришло противопоставление качественное. В осетинском языке количество гласных (их протяженность) также претерпело большие изменения. Тем не менее иранисты и осетиноведы продолжали именовать осетинские гласные по традиционной иранской терминологии

“долгими и краткими”. Однако, если подобное название можно сохранить для дигорского вокализма (где противопоставление гласных по их протяженности сохранилось намного лучше), то для иронского оно уже не отражает самого существа дела. В иронском вокализме на первый план выступает не количество (долгота) гласных, а их качество. Но и старое распределение гласных на долгие и краткие не исчезло бесследно. Поэтому применительно к иронским гласным весьма приемлемо название, предложенное В.И. Абаевым, – “сильные” (*a, o, u, y, e*) и “слабые” (*æ, ы*). Сильные восходят, как правило, к историческим долгим, а слабые – к кратким. Сильные и слабые по-разному ведут себя до сих пор в целом ряде случаев (при постановке ударения, при встрече и др.).

Будучи историком языка, В.И. Абаев в то же время неутомимо трудится над выявлением особенностей строя современного осетинского языка. Более того, нынешнее состояние элементов структуры языка становится тем плацдармом, опираясь на который ученый совершает глубокие экскурсы в историю языка. С другой стороны, зачастую историзм, как лингвистический метод, становится в умелых руках В.И. Абаева верным ключом для вскрытия многих тайников современного осетинского языка и выдвижению новых концептуальных идей. Так, он подверг глубокому анализу многие фундаментальные проблемы грамматики современного осетинского языка. Среди них особо следует выделить проблемы склонения, спряжения и превербов.

В течение многих десятилетий одной из “горячих точек” осетинской грамматики является падежная система. Эта лингвистическая проблема имеет свою историю. Ее разрабатывали все корифеи осетиноведения (А. Шегрен, В.с. Миллер и В.И. Абаев), ее касались почти все исследователи осетинского языка, о ней спорили и спорят поныне. Чаще всего осетиноведы скрещивают шпаги по вопросу о винительном падеже. Одни говорят, что в осетинском языке существует этот падеж, другие категорически отрицают его наличие.

В.И. Абаев еще в 1940 г. выступил со статьей “О винительном падеже в осетинском”, включенной затем в сборник “Осетинский язык и фольклор”. В статье с довольно скромным названием автор поднимает ряд принципиальных осетиноведческих и даже общезыковедческих вопросов. Дело в том, что утвердившееся еще со времен Клапрота мнение об индоевропейском характере осетинского языка нередко сковывало осетиноведов в их исследовательской практике. В то время еще не была открыта “вторая природа” осетинского языка – его кавказский субстрат. Вот почему не удивляет наличие винительного падежа, для которого не существует особого грамматического показателя в падежных системах А. Шегрена и В.с. Миллера. Вполне естественно, что, открыв кавказский субстрат, В.И. Абаев экстраполировал многие установившиеся догмы, включая и систему падежей.

Если начинать с А. Шегрена – основоположника осетиноведения, то в его восьмипадежной системе (*именительный, звательный, винительный, дательный, родительный, местный внутренний, местный внешний, отводительный*) прочное место занимает *винительный*. К перечисленным выше падежам В.с. Миллер добавил еще два: *совместный* падеж с окончанием *-имæ* и *адессив* с окончанием *-ыл*.

Падежная система Шегрена–Миллера спустя более полувека была подвергнута В.И. Абаевым глубокому анализу; в результате в нее был внесен ряд существенных изменений, включая и названия. Прежде всего это касается наименования падежей: а) падеж на *-мæ, -æмæ*, который назывался ранее *местным внешним*, В.И. Абаев предложил назвать *направительным*; б) падеж на *-ыл, -уыл*, дигорск. *-бæл*, называемый Миллером *адессивом*, В.И. Абаев именует *местным внешним*. Эти предложения уже приняты и бытуют. Общепринятым стал и введенный В.И. Абаевым новый, *уподобительный* падеж (флексия *-ау*). Он предложил также исключить из падежной системы *винительный* падеж, который в осетинском не имеет специального морфологического оформления.

Если в вопросе о названиях падежей и включения в схему уподобительного падежа ученый не встретил серьезных возражений, то с выключением винительного падежа дело обстоит иначе. В.И. Абаев подчеркивает, что при установлении падежной системы не следует смешивать двух моментов: морфологической характеристики падежа (флексии) и его синтаксической функции. Дело в том, что одна и та же флексия может выполнять разные функции и, наоборот, одна и та же функция может выражаться разными падежами. Поэтому при установлении морфологической системы изменения слов (т.е. склонения) нужно исходить только из морфологической характеристики, а не из функции. Отвечая тем, кто ссылается на наличие в русском винительного падежа, совпадающего то с именительным, то с родительным, В.И. Абаев указывает: "...это еще не дает никакого права на выключение винительного падежа из схемы русского склонения... потому что есть категории имен существительных, прилагательных и местоимений (женский род), имеющих совершенно особое оформление прямого объекта" [Абаев 1949: 131].

По обыкновению В.И. Абаев свою аргументацию углубляет, придав ей общетеоретический характер. Как известно, склонение во многих языках связано с категориями "одушевленности" и "неодушевленности" или категориями "определенности" и "неопределенности". Анализ языкового материала показывает, что в осетинском ни одна из этих категорий не дает ключа к разгадке факта различного оформления прямого объекта (то в виде именительного, то в виде родительного падежа). По мнению В.И. Абаева, в основе этого различия лежит какой-то более древний принцип классификации имен существительных. Принимая во внимание всю сумму фактов осетинского языка с учетом данных общего языкознания, ученый приходит к идее, что в этом случае мы имеем дело с отражением старого деления имен на два класса: *класс личностей* и *класс вещей*.

Существенное отличие этого деления от деления на "одушевленные" и "неодушевленные", по мысли ученого, заключается в том, что "одушевленность" считается постоянным признаком определенной группы живых существ, тогда как деление на "личности" и "вещи" является не столько классификацией объектов, взятых абстрактно и статично, сколько классификацией отношений субъектов-объектов в различных конкретных ситуациях. Именно поэтому один и тот же предмет может трактоваться в одном случае как "личность", в другом как "вещь" [Абаев 1949: 133].

Таким образом, если прямой объект в осетинском трактуется как вещь, он стоит в именительном падеже, если же прямой объект трактуется как личность, он стоит в родительном падеже. Вместе с тем автор подчеркивает, что грамматические выражения указанной классификации могут быть использованы для новых, становящихся более актуальными различий, в частности для различения определенности и неопределенности прямого объекта. Указывается, что этот процесс в осетинском только намечился. В любом случае для винительного падежа в структуре осетинского языка не находится места.

Мы видим здесь, как "сухая" грамматическая категория, падеж, при историческом подходе наполняется живым и увлекательным содержанием. История винительного падежа предстает как яркая страница истории человеческих воззрений ранних эпох, как свидетельство об одной из самых первых и важных классификаций, определивших отношение человека к окружающему миру: деление объектов на класс личностей и класс вещей. Здесь, как обычно, ученый через призму исследуемого конкретного языкового материала бросил пристальный взгляд на историю, историю становления человеческого мышления. Это излюбленный аналитический прием В.И. Абаева, прием, которым он умело оперирует в любом случае – идет ли речь об истории языка или о вопросах синхронного анализа фактов современного языка...

Вопросы, связанные с глаголом, изучаются в целом ряде трудов. Специально посвящаются проблеме осетинского глагола работы "К истории осетинского спряжения" и "О залоговой недифференцированности причастий".

В первом из них автор исследует вопрос о различных формах прошедшего времени в глаголах непереходных и переходных. После глубокого исторического изучения вопроса он приходит к заключению, что осетинский язык для различения форм непереходных и переходных глаголов в прошедшем времени использовал две формы одного и того же вспомогательного глагола “быть” (*аин, уаин*).

В работе “О залоговой недифференцированности причастий” В.И. Абаев исследует вопрос о залоговом делении осетинских причастий. Автор приходит к заключению, что “залоговые границы между ними весьма текучи и зыбки. Видимая залоговая четкость в причастиях настоящего и прошедшего времени рассеивается при более близком рассмотрении” [Абаев 1949: 571].

Глубокому исследованию подверглись в трудах В.И. Абаева осетинские превербы, которые привлекают внимание ученых своей полифункциональностью. Они выполняют целый ряд функций: видообразовательную, словообразовательную, словоизменятельную и др. Уже в “Осетинской грамматике” А. Шегрена были отмечены такие функции превербов, как а) локативная, б) словоизменятельная, в) функция качественной характеристики действия. В “Осетинских этюдах” В.С. Миллера наряду с этимологией превербов даны более точные характеристики пространственных значений превербов. Особо отмечена видообразовательная функция преверба *фæ*. Ученый выделил также превербы, встречающиеся лишь в срращениях. Тем не менее, функциональная сторона превербов долгое время оставалась недостаточно изученной. Почти не раскрыта их видообразовательная функция и недостаточно выявлены их пространственные значения. В дальнейшем, в связи с раскрытием “второй (кавказской) природы” осетинского языка, стало возможным выявление новых закономерностей в функциях превербов. Стала очевидной недостаточность приведенных В.С. Миллером локативных значений, не учитывающих “точку зрения наблюдателя”.

В.И. Абаев, углубляя имеющиеся представления об осетинских превербах, подчеркнул, что последние, в отличие от префиксов индоевропейских, выражают не только направление передвижения абстрактно в пространстве, но и положение наблюдающего субъекта по отношению к движущемуся предмету. Наличие аналогий в грузинском и ряде восточноргорских языков позволило ученому рассматривать это явление как одно из свойств субстрата.

Превербы в осетинском, являясь по происхождению иранскими, как бы наполнились новым содержанием. Этот существенный вывод, убедительно подтверждающий субстратную теорию формирования осетинского языка, открыл новые возможности дальнейшего изучения сущности осетинских глагольных категорий.

Перечисленные идеи в области строя осетинского языка составили целостную концепцию, позволившую автору написать “Грамматический очерк осетинского языка” [Абаев 1959], послуживший по существу первой научной грамматикой, а также надежной базой для написания затем двухтомного коллективного труда “Грамматика осетинского языка”, изданного в Орджоникидзе.

Высказанные В.И. Абаевым идеи в области социологии осетинского языка также выстраиваются в стройную концепцию. Это обстоятельство во многом способствует решению такой довольно сложной проблемы, как взаимоотношение диалектов и литературного языка. Как и у некоторых других народов нашей страны (скажем, у мордвы и марийцев), у осетин исторически сложились два основных диалекта (иронский и дигорский), на которых параллельно развивается письменность. Однако в прошлом предпринимались жесткие меры по ограничению и даже полной приостановке литературной деятельности на базе дигорского диалекта (на котором говорит меньшинство осетин, примерно четверть). Дело временами приобретало чисто “политический оборот”, когда писателям и ученым, отстаивающим равное отношение к диалектам, порой присваивали зловещую кличку “дигорского националиста”.

В этой обстановке не раз звучал голос В.И. Абаева, призывающего к спокойному и научному подходу к проблеме. Особенно основательно остановился ученый на вопросе в своем капитальном труде “Очерк расхождений иронского и дигорского

диалектов” [Абаев 1949: 357–493]. Остужая горячие головы политизированных “специалистов”, крикливо заявлявших о якобы уже свершившемся факте становления осетинского литературного языка, который “необходимо оберегать от влияния диалектов”, В.И. Абаев провозглашает глубоко научный подход к данному вопросу применительно к младописьменному языку. Проявляя острое социолингвистическое чутье, ученый четко разграничивает значение диалектологии для судеб литературного языка у младописьменных народов, с одной стороны, и наций со старой письменностью, с другой. В старописьменных языках (как, например, русский) “изучение диалектов, весьма полезное и необходимое с разных точек зрения, не может, однако, отразиться на судьбах литературного языка, ибо литературный язык уже создан, стабилизирован, он богат, крепок и его путь ясен. В осетинском же литературный язык молод, он нуждается пока в посторонней заботе, культивировании, обогащении” [Абаев 1949: 358].

По Абаеву, положить один из диалектов в основу литературного языка – это еще не значит создать в действительности национальный литературный язык. На такую роль может претендовать только язык, который преодолевает ограниченность одного, хотя бы и крупного, диалекта, который из всего многообразия диалектных норм языка вбирает в себя все самое прогрессивное, самое жизнеспособное, самое современное и нужное, который строится с учетом истории языка в прошлом и тенденцией его развития в настоящем. В.И. Абаев подчеркивает *длительность* процесса становления общенационального литературного языка. В то же время в Осетии власти нередко поддерживали тех, кто форсировал этот процесс. В результате, постоянной дискриминации подвергались те, кто пишет по-дигорски. В школах не изучалась дигорскими детьми их материнская речь. По существу проповедовался ненаучный тезис о том, что иронский – это язык, а дигорский – это диалект, что не могло не вызвать резкий протест среди дигорской интеллигенции.

И вот в самый разгар очередной дискуссии по вопросу о литературном языке публикуется статья В.И. Абаева “О Георгии Малиеве”, в которой ученый уже называет дигорский *языком*. Слова выдающегося осетиноведа прозвучали как гром среди ясного дня... Некоторые коллеги в этом увидели противоречие, т.е. до сих пор В.И. Абаев не один десяток раз называл дигорский *диалектом*. Однако эти критики упустили из виду то обстоятельство, что и иронский называется в таких случаях *диалектом*. Концептуальная идея В.И. Абаева в данном случае, по-видимому, заключается в следующем. Когда речь идет об общенародном (ненормированном) языке, обе разновидности осетинского языка – иронский и дигорский – конечно же, *диалекты*. Однако если мы рассматриваем литературную речь, то следует говорить о *литературных языках*, базирующихся на обоих диалектах.

Как бы то ни было, новая постановка вопроса в значительной мере помогла решению данной проблемы. В результате соответствующая идея была реализована и в новой конституции Республики Северная Осетия – Алания, в специальной статье которой отмечается равноправие обоих осетинских диалектов – иронского и дигорского. Следует подчеркнуть, что многие фундаментальные идеи, хотя и высказаны в осетиноведческих трудах ученого, имеют более широкий общетеоретический характер.

#### ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Будучи филологом широкого профиля, В.И. Абаев на протяжении всей своей творческой биографии наряду с чисто лингвистическими проблемами держит в поле своего внимания также вопросы литературоведения. Тесно увязывая появление художественной литературы с устным народным творчеством, ученый еще на заре своего научного творчества (20-е годы) взялся за глубокое изучение осетинского фольклора, народных мифов, легенд и пришел к одной из своих фундаментальных идей о том, что “литература народа есть важнейший материал для его познания” [Абаев 1925: 489].

Количество конкретных литературоведческих трудов ученого невелико. Они посвящены в основном проблемам осетинской литературы, анализу творчества таких писателей, как Иван Ялгузидзе, Коста Хетагуров, Блашка Гурджибеков, Сека Гадиев, Александр Кубалов, Георгий Малиев и нек. др. Однако автор неизменно подходит к обсуждаемым вопросам масштабно, ставит острые вопросы, делает важные выводы и обобщения общелитературоведческого характера. По существу В.И. Абаев является основоположником осетинского теоретического литературоведения.

Характерно, что творчеству основоположника осетинской литературы, великого осетинского поэта Коста Хетагурова В.И. Абаев посвятил ряд с блеском написанных статей: “Коста Хетагуров” (“Знамя”, 1939, № 9); “Коста и осетинская культура” (“Известия СОНИИ”, 1960, XXII, вып. II); “Коста – народный поэт Осетии” (на осет. яз. – “Фидгуел”, 1960, № 10); “Что значит Коста для осетинского народа” (“Известия ЮНИИ”, 1960, вып. X). К оценке Коста (его личности и творчества) автор подходит конкретно исторически. Прежде всего он подчеркивает монолитное единство судьбы великого писателя с судьбами родного осетинского народа. Более того, автор ярко выявляет тесную связь между становлением характера будущего поэта и близкой ему кавказской природой.

Он даже так и начинает одну из своих костаеведческих работ: “В одном из глухих ущелий Осетии в верховьях реки Ардон возвышается на скале аул Нар. Сакли и боевые башни, тесно прижававшиеся друг к другу, кажутся продолжением скалы, – тот же серовато-желтый камень образует и скалу и аул. В этой суровой горной глуши в 1859 году родился будущий поэт” [Абаев 1960а: 72].

К любому художнику слова можно применить один из двух основных методов эстетической оценки. В одном случае пользуются общими абсолютными критериями его творческой силы, его творческого “потолка”, выработанными на опыте величайших мастеров слова. При таком подходе, говорят Абаев, законно сопоставлять и сравнивать литературные явления самых различных эпох, стран и социальных сред. В другом случае к оценке творчества писателя можно подойти с учетом той конкретной исторической обстановки, среды, условий, в которых протекала его деятельность, пытаться уяснить себе, какое значение имело его творчество прежде всего для народа, представителем которого он был, в условиях той эпохи, когда он жил.

В.И. Абаев, как страстный приверженец принципа историзма, более верным считает второй путь при оценке творчества выдающихся деятелей литературы и искусства. Вместе с тем он отмечает, что «даже при первом, “абсолютном” подходе Коста может выдержать сравнение с сильнейшими поэтами. Его небольшой по объему “Ирон фæндыр” заключает в себе стихи, высокое достоинство которых может оценить всякий культурный человек, независимо от национальности. Если же поставить вопрос так – что означает Коста для осетинской литературы, для осетинского народа, то здесь Коста встает во весь рост гиганта» [Абаев 1960а: 74].

Абаев глубоко и всесторонне раскрывает тот историко-социальный фон, на котором необходимо рассматривать творчество Коста.

В конце XIX – начале XX в. осетинская письменность, хотя она существовала уже на протяжении полувека, на 90 процентов обслуживала церковь. Переводы религиозных книг, насаждаемые с миссионерско-колонизаторскими целями, как правило, выполнялись малограмотными переводчиками и не имели культурной ценности, тем более художественно-эстетической. И в этот период появляется “Ирон фæндыр”, ставший для осетинского народа, по словам В.И. Абаева, каким-то откровением, просветом в будущее, своего рода “путевкой в жизнь”. Совершенство и зрелость поэзии Коста, при отсутствии до него какой-либо национальной литературной традиции, воспринимаются как явление исключительное. Начало осетинской литературы стало вместе с тем ее недостижимой вершиной. Минувшая ступень примитивов, подчеркивает ученый, Коста одним взлетом достиг пушкинской чистоты, силы и ясности стиха.



Перед Абаевым, человеком, обладающим философским складом ума, не мог не встать вопрос о том, как удалось Коста осуществить такое “чудо”? И в своем ответе на поставленный вопрос ученый отмечает, что помимо исключительной одаренности Коста помогло отличное знание русской литературы, русских классиков. У них он учился. Без Пушкина, без Лермонтова, без Некрасова Коста был бы невозможен. И тут хочется обратиться к выступлению А. Фадеева, который также справедливо отмечал, что как писатель, как поэт Коста не мог бы сложиться таким, каким представляется нам сейчас, без идейной и художественной связи с русской революционной демократией второй половины прошлого столетия. “Мы, русские писатели, – говорил А. Фадеев, – гордимся тем, что Коста сформировался под влиянием идей Чернышевского, Добролюбова, Некрасова” [Фадеев 1941: 89].

В.И. Абаев в своих костаеведческих работах отмечает и другой могучий фактор, оплодотворивший творчество поэта. Это богатый осетинский фольклор, отличным знатоком, ценителем и собирателем которого был сам поэт. Не случайно к лучшим произведениям Коста относятся такие мастерские обработки народных мифов, сказок, басен, как “Фсати”, “Лоскъдзерсен”, “Редька и мед” и др. Как отмечает ученый, поэтические создания народа получали в руках поэта настолько совершенную, чеканную форму, что, возвращаясь в народ, они вытесняли народные варианты. В результате позднейшие собиратели фольклора находили их уже только в той форме, в какую их отлил гений Коста.

Анализируя тематику и жанровое разнообразие творчества Коста, В.И. Абаев обращает внимание на то, что в осетинской лирике Коста преобладают гражданские мотивы. Именно в гражданской лирике Коста достиг исключительной силы и насыщенности выражения. В работах В.И. Абаева специально подчеркивается интернационалистский дух произведений Коста, лишенный какой-либо национальной ограниченности. В своих стихах и публицистических статьях Коста выступал поборником прав горцев, всех угнетенных, и резко критиковал всякий национальный и социальный гнет. Говоря о значении Коста для осетинского народа, В.И. Абаев высказывает простую, но вместе с тем исключительно важную и верную мысль. Действительно, как отмечает ученый, редко бывает, чтобы появление такой небольшой по размеру книжки, как “Ирон фсэндър”, так много значило в жизни целого народа, служило бы такой яркой вехой в его истории, совершило бы такой переворот в его сознании. Дело в том, что в момент опубликования книги Коста осетинский народ был разбросан по малодоступным горным теснинам, подавлен нищетой и бесправием. Ему еще недоставало сознания своего национального единства, культурной и духовной общности. Как подчеркивается в работах В.И. Абаева, осетинский народ не имел даже общего самоназвания, т.к. “осетинами” их называли грузины и другие народы.

И вот в этот ущербный, разорванный на клочья мир, пишет В.И. Абаев, подобно дару неба был брошен пылающий, как факел, вдохновенный стих поэта:

*Иумæ нæ рамбырд кæ, арфайы дзырд!*

(“Собери-ка нас вместе, благословенное слово!”).

Читая чудесные строки “Ирон фсэндър”, осетины впервые всем существом осознали, что они – один народ, что у них – одна культура, одна истрадававшаяся душа, один чаяния и мечты.

Читая и перечитывая литературоведческие работы В.И. Абаева, не устаешь поражаться тому, как органически переплетаются в них глубокий анализ конкретных сюжетных линий художественных произведений с блестящими теоретическими обобщениями, поднимающими мысли и чувства к высотам человеческого интеллекта. Создается впечатление, что именно в литературоведческих работах В.И. Абаев нашел наибольшую возможность нравственно-эстетического самовыражения, для проявления своего поэтического дара. “Образ Коста удивительно целен, – пишет ученый. – У него нет расхождения между словом и делом, между творческой и личной биографией. Его жизнь – как один неудержимый порыв, где все устремлено к одной цели.

Поэт, публицист, общественный деятель – это не разные, сменяющие друг друга профессии, а разные стороны одного страстного порыва, порыва к свободе, к социальной справедливости, к лучшей доле для народа. Но какая-то искра этого порыва тлеет в душе каждого честного осетина. И вот по этим лучшим струнам народной души и ударил Коста” [Абаев 1960а: 190].

Среди целого ряда идей, высказанных В.И. Абаевым по поводу творчества Коста Хетагурова, привлекают высказывания ученого по вопросам *народности* поэта. По Абаеву, народность творчества поэта опирается прежде всего на глубокую, органическую связь Коста с народом, “лучшей частицей” которого он и являлся. Как подчеркивает В.И. Абаев, “говорить с народом о том, что его больше всего волнует, и в такой форме, которая покоряет и захватывает его без остатка, – эту тайну Коста постиг в совершенстве, и поэтому он стал поэтом *народным* в самом высоком и полном значении этого слова” [Абаев 1960а: 187].

К проблеме народности ученый возвращается и в статье, посвященной основоположнику осетинской прозы Сека Гадиеву. Народность для В.И. Абаева заключается в “естественном, гармоническом сочетании народного содержания с народной формой”. Ученый различает два вида народности: *народность органическую и народность приобретенную*. Ко второй он относит, например, народность Некрасова и Льва Толстого, которые к ней пришли из другой среды, из другого класса. Их народность – результат “интеллигентского народолюбия” или сознательного желания быть ближе к народу. В отличие от этого народность Сека – естественное и стихийное выражение его личности, его душевного склада, его жизненной судьбы. Его творчество народно потому, подчеркивает В.И. Абаев, что он родился, работал, жил в народе, вместе с народом, для народа [Абаев 1965а: 242].

Характерно, что именно В.И. Абаевым впервые высказана мысль о том, что С. Гадиев является основоположником осетинской художественной прозы. Эта идея впоследствии была поддержана и развита другими осетиноведами. Мастерство Абаева-критика поразительным образом раскрылось в особенности при анализе произведений выдающегося осетинского поэта-романтика Георгия Малиева. Особенно восхищается ученый звучанием стихов Малиева, через которые красной нитью проходит вера в чудодейственную, облагораживающую, преображающую силу музыки, песни. “Перед взором поэта, – говорит Абаев, – носился образ прославленного героя осетинского эпоса, дивного музыканта и певца Ацамаза, чья игра на свирели одушевляла и преображала всю природу, собирала зверей и людей в одно ликующее братство. Поэт мечтал о новом Ацамазе, песня которого овладеет душами людей и заставит их забыть вековую вражду и навсегда расстаться с оружием...”

Абаев не в состоянии скрыть своего восхищения и изумления музыкальностью малиевского стиха: «Говоря о роли музыки и музыкантов в романтической поэзии Малиева, не могу не сказать о музыкальности самих стихов поэта. Она – уникальна... Именно Малиев, и только он, сумел раскрыть и показать во всей полноте, какие красоты ритма, напевности, свободного и плавного течения таит в себе дигорская (один из двух осетинских литературных языков. – М.И.) речь... Вслушайтесь в эти стихи – раньше чем доходит до сознания их смысл, они уже покоряют своим чарующим ритмом и звучанием. Когда читаешь такие стихи, невольно приходят на память слова Белинского, сказанные о стихе Пушкина: “Что это за стих! Он нежен, сладостен, мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смола, прозрачен и чист, как кристалл...”» [Абаев 1973б: 11–14].

В своих литературоведческих работах В.И. Абаев нередко останавливается на вопросах взаимодействия и взаимосвязи литературы и фольклора, проблем генезиса того или иного литературного мотива в фольклорном произведении. Подобный метод анализа художественного произведения он именует “комплексно-эзегетическим”. Под этим ученый подразумевает одновременный и взаимосвязанный анализ художественного произведения, имеющего народную основу, в пяти аспектах: лингвистическом, филологическом (структурно-типологическом), мифологическом, истори-

ческом (реально-исторический фактор), текстологическом [Салагаева 1980: 19]. Данный метод ученый применил при анализе поэмы Шота Руставели “Витязь в барсовой шкуре”, повести Гоголя “Вий”, “Илиады” Гомера и нек. др. Применение комплексно-эзегетического исследовательского метода позволило ученому, скажем, в статье «О фольклорной основе поэмы Шота Руставели “Витязь в барсовой шкуре”» выделить элементы, отражающие мотивы фольклора Грузии и Северного Кавказа, ее оригинальный, самобытный характер, связь с историей грузинского и других народов Кавказа. Исследователь в образе героя в барсовой шкуре усматривает следы древних тотемических и магических представлений, которые ко времени создания самой поэмы уже утратили свое былое значение.

“По нашему убеждению, – говорит В.И. Абаев, – взятие Трои греками в оболочке (деревянного) коня есть переосмысление и рационализация того же древнего мотива о борьбе героев в образе животных” [Абаев 1990: 481]. Переходя к поэме Руставели, ученый подчеркивает: «Не барсовая шкура, не шаманские приемы решают исход борьбы. Победу приносит воинская доблесть и сила. Характерно, однако, что автор чувствовал неустранимость барсовой шкуры из сюжета, как Гомер чувствовал неустранимость эпизода с конем, а осетинский, кабардинский и абхазский рапсоды – неустранимость бычьей, коровьей и кабаньей шкуры, в которые влезают герои перед решающей схваткой”. Сознание особой важности мотива “герой в звериной шкуре” настолько владело Руставели, что он даже поэму назвал не по имени героя “Тариелиани”, как было принято в его время..., а “Вепхис ткаосани”, т.е. “Тот, кто в барсовой шкуре» [Абаев 1990: 482].

Успешное применение своего комплексно-эзегетического метода при анализе повести Гоголя “Вий” привлек В.И. Абаева к идее о связи образа Вия с индоиранской мифологией, точнее, с индоиранским богом-демоном *Vayu*, первоначально выступавшим в качестве божества ветра, а позднее “как высшее божество, как божество неба, как бог войны и, наконец, как бог смерти” [Абаев 1995: 680]. Доказательство сходства гоголевского Вия с индоиранским богом *Vayu*, по Абаеву, вполне очевидно не только лингвистически, но и мифологически. Ученый этимологически сближает древнеиранский *Vayu* с украинским *Vii* и предполагает в старославянском несохранившееся *Vyŭ*. Что касается мифологического сопоставления, то и здесь В.И. Абаев находит, что украинскому Вию была присуща функция смерти, которая сохранилась в “Авесте”. Ученый уверен, что имя Вия не сохранилось в украинском фольклоре под натиском христианства, оно попало под табу. Что касается Гоголя, то ему “посчастливилось” еще услышать народное произведение, где фигурирует это чудовище. Характерно замечание выдающегося русского академика Б.А. Рыбакова: «В.И. Абаев установил, что украинский “Вий”, известный нам по Гоголю, восходит к иранскому божеству силы ветра и смерти» [Рыбаков 1979: 193].

В трудах В.И. Абаева можно обнаружить много других высказываний по вопросам литературы. Но они разбросаны по многочисленным работам автора. Чаще всего, пожалуй, ученый останавливается на творчестве своего любимого поэта Пушкина, которого он считает образцом, воплощением истинной поэзии, истинно прекрасного. В.И. Абаев включает имя Пушкина в ряд четырех имен, в которых воплотилось общечеловеческое: “Общечеловеческое значение Платона, Шекспира, Гете, Пушкина основано на том, что в их творчестве с большой полнотой и совершенством раскрылась духовная мощь греческого, английского, немецкого, русского народов. Так вершина национального становится вместе с тем вершиной человеческого» [Абаев 1990: 550]. В.И. Абаев затрагивает в некоторых своих трудах также проблемы античной литературы, скажем, “Илиады” Гомера, “Шахнаме” Фирдоуси и мн. др. Но и сказанного достаточно, чтобы оценить вклад ученого в литературоведение.

Немало ценного находят также фольклористы в трудах В.И. Абаева, постоянно проявляющего интерес к произведениям народного творчества. Еще в 30-х годах он пишет предисловие к осетинскому эпосу “Амран”, где в лаконичной форме характеризует даредзантские сказания, выявляет их генезис и пути проникновения в

Осетию. В то же время в статье “Фольклор” В.И. Абаев рассматривает фольклор как составную часть национальной культуры и неиссякаемую сокровищницу народной речи. В.И. Абаев пишет: “Кто утверждает, что язык наш беден, пусть послушает лучше сказителей. Подобно широкой полноводной реке, не зная препятствий и омеления, течет их речь, богатая и могучая; без единого лишнего слова в ней находят краткое и полное воплощение все мысли, картины, события” [Абаев 1935: 78].

### ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ЛЕКСИКОЛОГИЯ

С вопросами лексикографии В.И. Абаев столкнулся еще на заре своей научной деятельности. Будучи студентом, он принял активное участие в работе известного ираниста А.А. Фреймана по изданию трехтомного “Осетинско-русско-немецкого словаря” В.Ф. Миллера. Об этом написано в предисловии к I тому редактором словаря (А.А. Фрейманом) следующее: “С осени 1923 г. по весну 1925 г. ближайшим сотрудником редактора по подготовке словаря к печати был студент осетин-иронец В.И. Абаев. Им была переписана рукопись к печати, им был составлен список не сохранившихся в рукописи слов, начинающихся с Дз, дополненный впоследствии по копии рукописи В.Ф. Миллера, которая сохранилась в частном архиве во Владикавказе; В.И. Абаеву словарь обязан большим количеством дополнений и исправлений в его иронской части” [Миллер 1927: IV–V].

По-видимому, именно в процессе этой работы у одаренного начинающего ученого пробуждается интерес к проблемам лексики своего родного языка. К тому же на занятиях по иранистике он начинает осознавать то особенное место, которое занимает осетинский среди других иранских и индоевропейских языков.

В процессе работы над словарем В.Ф. Миллера у В.И. Абаева зарождается идея о необходимости составления русско-осетинского словаря. Этого требовали как чисто научные интересы (осетинским начали заниматься многие зарубежные ученые), так и практические, вызванные началом интенсивного культурного строительства в Осетии. Вышедший еще в 1884 г. во Владикавказе “Русско-осетинский словарь”, составленный Иосифом, епископом Владикавказским, был неудовлетворительным даже для своего времени, т.к. представлял собой типичное миссионерское издание и был ориентирован больше на потребности церкви, чем на развитие культуры народа. Работа над русско-осетинским словарем была кропотливой, тем более, что В.И. Абаев уже тогда непрерывно начал заниматься составлением основного труда всей своей жизни – “Историко-этимологического словаря осетинского языка”. Надо заметить, что занятия над обоими словарями в известной мере дополняли друг друга, т.к. и в этимологическом труде автор постоянно сталкивался с необходимостью перевода на русский язык осетинского лингвистического материала.

Появление в 1950 г. “Русско-осетинского словаря” В.И. Абаева, уже к тому времени широко известного ученого, было большим событием в осетиноведении, т.к. в это время потребность в словаре такого типа остро ощущалась в связи с огромной тягой осетин к русской литературе и культуре и все распространяющейся переводческой работой в Осетии.

Словарь В.И. Абаева сыграл большую роль в культурном строительстве в Осетии, где как раз в пятидесятые-шестидесятые годы наблюдается новое значительное расширение издательского дела. К тому же русский язык становится вторым для огромного большинства осетин, т.е. утверждается двуязычие. Значение словаря, однако, выходит за пределы осетинской культуры, т.к. по многим своим параметрам он становится своеобразным образцом, к которому стремятся составители аналогичных трудов по многочисленным младописьменным языкам. Этому способствовали отчасти принципиальные научные основы “Русско-осетинского словаря”. Как отмечает в предисловии к словарю автор, двуязычные переводные словари должны быть двух типов, в зависимости от того, знание какого из двух сравниваемых языков предполагается в читателе. В данном случае составитель понимает невозможность подготовки сразу двух словарей: один для идущих через русский язык к пониманию

осетинского, другой – для осетин, читающих русский текст или переводящих с русского на осетинский. Один словарь, как бы он ни был хорош, – пишет далее В.И. Абаев, – не может в полной мере ответить на выше обозначенные потребности. Однако по необходимости автор старается ответить на запросы с обеих сторон и совместить по мере возможности оба типа словаря.

Двадцатилетнее использование словаря В.И. Абаева полностью оправдало надежды автора. Однако деятельность работников науки и культуры в Осетии выдвинула некоторые новые задачи к осетинской лексикографии. Их учет требовал переиздания словаря, что и было осуществлено автором и ответственным редактором (М.И. Исаевым) в 1970 г.

При составлении второго издания Словаря была проделана значительная работа: а) пополнен словник, б) уточнены и обогащены синонимикой осетинские переводы русских слов и словосочетаний, в) пополнен иллюстративный материал (включая фразеологию), г) орфография осетинского материала приведена в соответствие с действующими нормами и др. “Русско-осетинский словарь” явился важнейшим итогом лексикографической работы В.И. Абаева в синхронном плане.

Что касается исторической лексикологии, то она представляет собой главное направление и реализуется в многочисленных трудах ученого. И в данном случае отправным пунктом и исследовательской базой для ученого служит его родной осетинский язык, словарный состав которого, как и другие стороны структуры языка, в прошлом изучались почти исключительно в исконной, иранской его части. В области исторического толкования исконно осетинских лексем до В.И. Абаева была проведена (в основном В.Ф. Миллером) определенная работа. Достаточно отметить, что для 800 осетинских слов были выявлены их иранские и индоевропейские соответствия. Это примерно 20% зафиксированной лексики. Но они относятся к наиболее существенным пластам лексики: числительным, местоимениям, широкоупотребительным глаголам, терминам скотоводства, терминам родства и т.п. Помимо этого было также разъяснено почти столько же заимствований из арабского, персидского, грузинского языков. Из других категорий слов получили свои разъяснения около 200, т.е. еще 10% всей лексики. Таким образом, В.И. Абаев приступил к фундаментальному анализу лексики осетинского языка, когда она была изучена примерно на 50%. К этому следует добавить, что почти все имевшиеся разъяснения слов впоследствии Абаевым были дополнены, уточнены, а порой и построены заново.

Дальнейшая плодотворная работа над изучением словаря осетинского языка требовала определенных предпосылок, новых идей, которые сам ученый сформулировал следующим образом:

«1) необходимо привлечь широко кавказские языки как соседящие с осетинским, так и более отдаленные;

2) необходимо при сравнительном изучении лексических фактов отрешиться от традиционной формулы: “либо родство, либо заимствование”, так как нельзя теперь уже не видеть, что междуязыковые взаимоотношения гораздо сложнее этой формулы и что смешение языков ставит перед нами такие вопросы, удовлетворительное решение которых невозможно традиционными методами» [Абаев 1949: 103–104].

Как видно, и в лексике ученый, всегда идущий по линии наибольшего сопротивления, избрал для себя неизведанное еще поле исследовательской деятельности. Всесторонний и глубокий анализ осетинско-кавказских лингво-культурных взаимоотношений позволил ученому выдвинуть концепцию *кавказского субстрата*. Это дало возможность ученому сделать ряд новых обобщений и выдвинуть новые идеи, объясняющие особенности развития осетинской лексики.

В ряде работ В.И. Абаев упорно исследует проблему кавказского вклада в становление лексики современного осетинского языка. В частности, в работе “К характеристике современного осетинского языка” автор анализирует “некоторые осетинско-кавказские лексические схождения, относящиеся к достаточно важным в бытовом и культурно-историческом отношении областям и дающие представление о глубине

и интимности осетино-кавказских культурных связей” [Абаев 1949: 105]. Автор приводит множество современных осетинских слов, этимология которых связывается с кавказским лингвокультурным миром. Например:

1) названия частей тела (*къух/къох* “рука”, *къах* “нога”, *был/била* “губа”, *дзых/цъух* “рот”);

2) названия животных (*бах* “лошадь”, *саг* “олень”, *дзæргъ* “свиноматка”);

3) названия растений (*зæтхæ* “овес”, *гæн* “конопля”, *цывзы* “красный перец”, *тъаффæ* “лист”, *къутæр/къотæр* “куст”);

4) термины хозяйства и материальной культуры (*аг* “котел”, *дагъæл* “ключ”, *зæгæл* “гвоздь”, *рæхыс/рæхис* “цепь”, *гæртæ* “снаряжение”, “оружие”, “одежда”, *гуффæ* “кузов арбы”, *кау* “плетень”, *гон* “амбар”, *хæдон* “рубашка” и мн.др.);

5) термины социального круга (*лаг* “человек”, *дзылла/дзилла* “общество”, “мир”, *баста* “страна”, “мир”, *уынаффæ/унафа* “совет”, “совещание”);

6) термины религии и культа (*хуыцау/хуцау* “бог”, *дзуар* “божество”, “святилище”, “крест”, *æфсати* “бог охоты” и др.).

Как явствует из перечисленных лексем, многие из них принадлежат к основному лексическому фонду, и их появление в осетинском языке нельзя объяснить процессами простого заимствования. В.И. Абаев считает, что мы имеем тут явление субстрата, которое подкрепляется и множеством других факторов.

Плодотворной оказалась идея В.И. Абаева о том, что диалектология может пролить новый свет на взаимоотношения иранского и кавказского элементов в эпоху становления современного осетинского языка. С этой точки зрения ученый анализирует лексические схождения и расхождения между двумя диалектами – иронским и дигорским – и приходит к важному выводу, а именно: *схождения идут преимущественно по линии иранской лексики, а расхождения – по линии неиранской* (по преимуществу кавказской). Выявление этого факта, на первый взгляд не столь существенного, по Абаеву, имеет в действительности существенное значение, т.к. дает ключ к пониманию того, что происходило на заре истории осетинского и других индоевропейских языков; вводит нас в самую лабораторию “индоевропеизации”.

Будучи историком языка и лексикографом, В.И. Абаев не мог не уделить большого внимания исследованию осетинских диалектов, основными из которых считаются *иронский* и *дигорский*. Как отмечает сам ученый, “неоценимой сокровищницей для историка осетинского языка является в особенности дигорский диалект. Достаточно сказать, что в области фонетики и отчасти морфологии он отражает нормы, переходные от древнеиранских к современным иронским. Иначе говоря, в ряде явлений фонетики и морфологии дигорский и иронский диалекты могут быть рассматриваемы как два последовательных этапа развития одного и того же языка” [Абаев 1949: 360].

В плане лексикографическом следует подчеркнуть особое значение “Словаря дигорско-иронских расхождений”, составленный В.И. Абаевым. В словаре лексические расхождения между двумя основными осетинскими диалектами сводятся к трем категориям.

1) дигорские слова, совершенно различные в иронском и дигорском (954 слова);

2) дигорские слова, различные по *форме*, причем эти различия выходят за рамки обычных фонетических соответствий (248);

3) дигорские слова, различные по *употреблению*, хотя и тождественные по происхождению и по форме (140).

Анализ диалектных расхождений позволяет констатировать, что значительная их часть приходится на неиранские элементы. Часть их представляют собой относительно новые заимствования из соседних языков: тюркских, грузинского, кабардинского, чеченского, ингушского и др. Но многие из них в соседних языках отсутствуют или же имеются, но в слишком отличной внешней форме. Поэтому они автором причисляются к языковому субстрату.

Объясняя факт схождения диалектов в иранской части лексики и расхождения в субстратной части, В.И. Абаев приходит к существенному этнолингвистическому выводу. *“Очевидно то, – пишет ученый, – что субстратная среда была многоязычна, лингвистически раздроблена, в то время как иранская, будучи более единообразной и цельной, наложилась на первую как некое сближающее, унифицирующее начало, как lingua franca, т.е. как язык межплеменного общения”* [Абаев 1949: 121].

Ученый понимает важность своей идеи в том плане, что создается возможность проникнуть в историческую обстановку и условия образования индоевропейских языков на субстрате доиндоевропейского мира. По Абаеву *“сущность индоевропеизации, исторический ее смысл, ее прогрессивное значение заключалось в том, что благодаря ей на базе сильно раздробленных, мелких, отсталых доисторических языковых образований Европы и Передней Азии создались более крупные языковые объединения”* [Абаев 1949: 121].

Как уже отмечалось, после тщательного и всестороннего анализа конкретного лингвистического материала автор делает обобщения, выдвигает идеи, значение которых выходит за пределы осетиноведения, иранистики, а то и индоевропеистики. Не является исключением и работа *“О взаимоотношении иранского и кавказского элементов в осетинском”*, заканчивающаяся важными выводами. В.И. Абаев, в частности, отмечает, что *“в словарном составе осетинского языка кавказский элемент вторгается частично в лексический минимум, что нельзя объяснить иначе, как на почве длительного двуязычия”* [Абаев 1949: 122]. Что касается рассмотрения лексики по диалектам, то оно приводит автора к мысли, что *“иранская речь играла роль межплеменного языка для тех микроплеменных групп, которые составляют кавказский субстрат осетинского народа”*. Это объясняет и наличие двуязычия у народов региона в определенный исторический период [Абаев 1949: 122].

Сказанное, в свою очередь, позволяет автору прийти к более общему умозаключению, согласно которому *“исторический смысл индоевропеизации заключается в том, что она обеспечила средством межплеменного общения раздробленные, мелкие и мельчайшие этно-языковые группы доисторической Евразии и тем ответила на назревшую потребность в рассмотрении и укреплении языковых объединений на новой ступени хозяйственного и социального развития древнего общества”* [Абаев 1949: 122].

В процессе непрерывной работы над этимологическим словарем у В.И. Абаева накопился существенный историко-лексикологический материал, потребовавший дополнения авторской концепции становления осетинского языка. Если в предыдущие годы была выдвинута концепция *“второй (кавказской) природы”* осетинского языка, то теперь стало необходимым рассмотрение его исторической природы в более широком этно-лингвистическом контексте. Так, в 60-е годы автор открыл еще одно – до этих пор никому не известное – более точное свойство родного языка. Многочисленные факты привели ученого к мысли об особой близости осетинского языка к языкам европейского ареала – славянским, балтийским, тохарскому, германским, итальянским, кельтским. По ряду признаков: лексических, фонетических, грамматических, – осетинский язык, порывая с другими иранскими, смыкается с перечисленными выше европейскими языками.

Исследованию этого вопроса В.И. Абаев посвятил специальную книгу [Абаев 1965]. Автор изучает ряд специфических черт, которые сближают осетинский (“скифский”) с европейскими языками (славянскими, балтийскими, тохарскими, германскими, итальянскими, кельтскими). Подводя основные итоги проведенному анализу изоглосс, В.И. Абаев убедительно показывает, что *“вакуум”* в истории осетинского языка заполняется. И это очень существенное достижение самого ученого. Дело в том, что некоторые специалисты (например, Э. Бенвенист) говорили о будто бы существующем вакууме между древнеиранским и кавказским периодами развития осетинского языка. В действительности же этот период заполнен полнокровными контактами, оставившими глубокий конструктивный след в истории осетинского языка.

Обнаружение указанных сходжений не явилось историческим сюрпризом. Можно было предположить, что многовековое пребывание скифо-сарматских племен в Восточной Европе и соседство с языками европейского круга оставит свой след в осетинском языке. Многочисленные изоглоссы (схождения) в лексике, фонетике и морфологии связывают скифский мир с европейскими народами. Примечательно то, что выявленные В.И. Абаевым изоглоссы характерны именно для скифо-осетинского и чужды остальному европейскому и индоевропейскому миру. Эти изоглоссы, как подчеркивает В.И. Абаев, не в меньшей степени определяют своеобразие осетинского языка среди иранских, нежели позднейшие кавказские, а также тюркские и другие влияния.

Исследованный Василием Ивановичем материал не является синхронным, т.е. не относится к одной определенной эпохе. Это и понятно, ибо соседство скифо-сарматов с европейцами продолжалось много столетий, и связывающие их схождения, изоглоссы, могли возникнуть в разные периоды этого соседства. Однако выявленные изоглоссы объединяются определенными характеристиками. Они не возводимы к иранской и индоевропейской общности, а возникли на почве ареальных (территориальных) контактов в Восточной и Средней Европе между скифо-сарматами и народами указанного выше европейского круга. В.И. Абаев показывает, что одни изоглоссы имеют более ограниченный ареал распространения, связывая скифский с одним языком или группой европейских языков (славянской, балтийской, германской, латинским). Другие – с несколькими группами или всеми языками европейского круга. Характерно, что в этих изоглоссах не участвуют греческий и армянский языки.

К лексическим изоглоссам автор относит слова, обозначающие в осетинском такие понятия, как *лосось, серп, колос, ярмо, пиво, покрывать, трогать, таять, валяться, целиться, мерзнуть, ложбина, маленький, голубь, слепой, мешочек, голос, суд, глотка, лентяй, хворост, волна, кузнец, около, ольха, скиф, кабан, корзина, цепь, шашлык, моль, хижина, показывать, убивать, посылать, рука, почет, воздух, снег* и др. (всего свыше полусотни). Названия вышеприведенных и других понятий имеют в европейских языках специфические схождения. А что касается характера некоторых из них (*колос, урожай, серп, ярмо* и др.), то он дает В.И. Абаеву повод для постановки определенных культурно-исторических вопросов, касающихся Центральной и Восточной Европы в древнюю эпоху. Одним из наиболее итоговых выводов исследователя является утверждение, что североиранские племена были исконными обитателями Восточной Европы. Дело в том, что в течение долгого времени бытовала утвердившаяся точка зрения о том, что прародину иранцев следует искать где-то в Средней Азии. Сам В.И. Абаев также придерживался этой точки зрения, согласно которой появление ираноязычного элемента на Юге России нужно связывать с рассказом Геродота о вторжении скифов из Азии и относить к VIII в. до н.э. По новой концепции В.И. Абаева “иранский элемент был на Юге России по меньшей мере с начала II тысячелетия до н.э.” [Абаев 1965б: 124]. Дальнейший процесс, приведший к образованию скифо-европейских изоглосс, рисуется автором следующим образом. Когда иранская общность в Юго-Восточной Европе распалась, часть составляющих ее племен двинулась на юг и на восток – в Мидию, Парфию, Персию и Среднюю Азию. Предки будущих скифских племен остались в Европе и в течение ряда веков находились в условиях контактного развития с народами средне- и восточноевропейского ареала. Именно в этот период и определилось своеобразие скифской речи среди других иранских языков и возникли (по Абаеву) различные скифо-европейские изоглоссы. Этот смелый и новаторский вывод В.И. Абаев подкрепляет различными историко-культурными аргументами. Автором выдвинуты и другие более частные гипотезы, органически вытекающие из его новой концепции исторического становления осетинского языка.

Венцом плодотворнейшей лексикографической и лексикологической деятельности В.И. Абаева, без сомнения, можно считать пятитомный “Историко-этимологический словарь осетинского языка” (т. 1, 1958, т. 2, 1973, т. 3, 1979, т. 4, 1989, т. 5, 1995), над



созданием которого автор подвижнически трудился на протяжении более семидесяти (!) лет. Трудился один, без помощников и секретарей, вручную переписывая сотни тысяч карточек, выписывая иллюстративный материал из сотен и тысяч языковых источников...

Словарь по целому ряду своих характеристик принадлежит к самым незаурядным явлениям в филологической науке. В нем реализовано множество фундаментальных идей автора. Прежде всего обращают на себя внимание научно-методологические принципы, по которым составлен труд. Как известно, сравнительно-историческое языкознание, вышедшее само из этимологии, выработало для последней три основополагающих принципа: фонетический, морфологический и семантический. Они, объясняя каждый по-своему происхождение слов, в комплексе обеспечивают научные этимологии. Указанные критерии составляют основу этимологических разысканий и В.И. Абаева. Однако многолетние занятия этимологией привели автора к выводу о недостаточности этих принципов и необходимости дополнения их. В словаре в качестве четвертого критерия широко выступает "исторический контекст", т.е. реалии. Благодаря учету реалий, В.И. Абаеву удалось подкрепить свои этимологии, а зачастую исправить ошибки в объяснении слов, даваемых другими учеными.

Приведем один пример. Известный норвежский иранист Г. Моргенстиерне этимологизировал осетинское название летнего месяца *амистол* следующим образом. Он разделил слово на две части *ами* и *стол*. Первую часть сопоставил с авестийским *hamina* "лето", а вторая осталась без объяснения. В действительности же, как показывает В.И. Абаев, *амистол* представляет собой искаженное слово *апостол* и к Авесте никакого отношения не имеет. Месяц называется 'месяцем апостолов', т.к. на этот месяц приходится праздник Петра и Павла (29 июня).

Если бы Моргенстиерне не рассматривал данное слово оторванно от всего осетинского календаря и учитывал соответствующие реалии, он легко установил бы, что осетинский календарь является христианским, о чем свидетельствуют и названия других месяцев и праздников: *Басылта* (св. Василий Великий), *Тутыр* (св. Федор Тирон), *Никкола* (св. Николай), *Майрамы куадзэн* (Успение богородицы), *Джеоргуба* (св. Георгий) и др.

Не только по принципам составления, но и по своему построению словарь В.И. Абаева является во многом новаторским. Автором сделана попытка – впервые в лексикологической практике – совместить в одном словаре элементы пяти разных словарей: двуязычного (осетинско-русского), документированного, этимологического, исторического и реального. Каждый из этих аспектов разъясняется следующим образом:

1. Прежде всего словарь является двуязычным. Это значит, что не только осетинские слова, но и все иллюстрирующие словосочетания и фразы переводятся на русский язык. Тут автору пришлось столкнуться с большими трудностями, связанными с передачей лексико-семантической и фразеологической специфики одного языка средствами другого. Составитель, не связывая себя существующими осетинскими словарями, самостоятельно, на основе разбора осетинских текстов, опроса знатоков языка и собственного языкового опыта раскрывал семантические потенции каждого слова и для всех оттенков значения и употребления, находил эквивалентные русские переводы.

2. Почти половину словаря составляют документированные цитаты из осетинского фольклора и литературы. Они предназначены для раскрытия и иллюстрирования особенностей семантики и употребления каждого слова. Они указывают также на особенности стилистического и индивидуального употребления слов. Для выполнения данной задачи автором проделан очень большой объем работы. Он расписал множество осетинских текстов на обоих основных диалектах – иронском и дигорском. Сюда входят наряду с фольклорными текстами почти все основные произведения осетинской художественной литературы и прессы вплоть до 1969 г. Все приведенные цитаты тщательно документированы.

3. В этимологической части В.И. Абаев стремится учесть все новое, что появилось

в осетинской, иранской и индоевропейской этимологии после выхода первого и второго томов словаря. Сравнительно-исторический материал дается, как правило, в следующем порядке: иранский прототип, индоевропейский прототип (ближняя реконструкция, без учета ларингалов), ново- и среднеиранские языки, далее авестийский, древнеперсидский, древнеиндийский, славянские, балтийские, германские, тохарские, итальянские, кельтские, греческий, армянский, хеттский.

4. В отличие от обычных этимологических словарей автор называет свой словарь "историко-этимологическим". Этимология слова, понимаемая в узком смысле, предполагает сопоставление двух единиц: исходной и конечной. Данный словарь в этом отношении идет дальше и стремится заполнить вакуум между исходным и конечным состоянием. При этом дается по возможности полная и обоснованная картина истории слова, его звукового, словообразовательного и семантического развития с привлечением материала и типологических параллелей из других языков.

5. Наконец, в словаре уделяется особое внимание реальному социально-историческому фону, на котором протекает жизнь слова. При необходимости приводятся данные материальной культуры, этнографии, фольклора, религиозных верований. Это нововведение полностью вытекает из теоретических положений автора, о которых шла речь выше.

Указанные пять аспектов наилучшим образом способствуют выполнению задачи словаря: "Разработка истории осетинской лексики на широкой сравнительно-лексикологической базе; определение как исконого иранского наследия, так равно субстратных и заимствованных элементов в словарном составе языка" (см. предисловие к первому тому). В связи с этим автор подчеркивает, что во втором и третьем томах более последовательно проводится линия, намеченная в его книге "Скифо-европейские изоглоссы" (1965), т.е. "при этимологическом разъяснении индоевропейских элементов осетинской лексики следует постоянно иметь в поле зрения наряду с индоиранскими также европейские факты. В случаях, когда то или иное осетинское слово не находит соответствия на индоиранской почве и притом не является позднейшим заимствованием, ориентация на европейский материал, как правило, себя оправдывает. Существование "сепаратных" ареальных лексических связей осетинского языка с языками древнеевропейского круга (славянскими, балтийскими, тохарскими, германскими, итальянскими, кельтскими) подтвердилось десятками новых этимологий и может считаться прочно установленным" (см. предисловие ко второму тому).

Разумеется, значение словаря выходит за рамки иранской и даже индоевропейской филологии, так как в нем привлекается материал около 190 (!) языков и наречий мира. Наряду с индоевропейцами немало ценного могут найти в работе В.И. Абаева кавказоведы, тюркологи, финноугроведы и др.

Более того, кроме самих лингвистов словарь представляет несомненный интерес для историков, этнографов, фольклористов, так как в нем судьбы слов прослеживаются на широком историко-социальном фоне развития многих народов. В этом автор следует принципам, заложенным в основу осетиноведения выдающимся русским ученым, иранистом-осетиноведом Вс. Миллером, который к фактам языка всегда подходил исторически – с учетом их развития и связи с историей народа.

Нет сомнения, что с выходом последнего тома словарь стал третьей величайшей вершиной осетиноведения – после "Осетинской грамматики" А. Шегрена (1844 г.) и "Осетинских этюдов" Вс. Миллера (1881, 1882, 1887) – точно так же, как имя самого В.И. Абаева заняло прочное место в ряду имен корифеев осетиноведения, выдающихся русских ученых академиков А.М. Шегрена и В.Ф. Миллера.

#### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Пожалуй, теория и практика исследовательской работы у В.И. Абаева ни в одной области языкознания так крепко не слились, как в этимологии. С одной стороны, многолетний упорный труд по выяснению исторических судеб тысяч и тысяч слов позволил ученому накопить огромный материал для обобщений. С другой стороны,

постоянное теоретическое осмысление анализируемого языкового материала дало в его руки совершенную методiku, позволяющую проникать в тайны происхождения и развития языков. Не будет преувеличением утверждать, что авторитет теоретика-этимолога у В.И. Абаева общепризнан не только у нас в стране, но и за ее пределами. Он в такой высокой степени развил учение о происхождении слов, настолько отточил свои теоретические положения, что они стали своего рода классическими.

Отдельные теоретические положения Василия Ивановича мы можем найти и в его многочисленных конкретных исследованиях. Наиболее концентрированно они обнаруживают себя во вступительных статьях к томам “Историко-этимологического словаря осетинского языка”, о чем уже говорилось выше. Наряду с этим ученый написал специальную статью “О принципах этимологического словаря” [Абаев 1952], в которой излагает свою “этимологическую теорию” в еще более полном виде. Нет сомнения, что эта работа явилась эталоном не только для самого автора, но и сыграла огромную роль в развитии советской теоретической этимологии. В этой статье В.И. Абаев останавливается на значении слова “этимология”, критически рассматривает положения ряда авторов: А. Белецкого, В. Пизани и др., – затем заключает: “Научная этимология, как и вообще научное языкознание, начинается с создания сравнительно-исторического метода. В рамках этого метода этимология получила следующее реальное содержание: 1) для основных оригинальных слов данного языка – сопоставление со словами родственных языков и прослеживание их формальной и смысловой истории вглубь до языка-основы; 2) для слов, которые являются производными внутри данного языка (внутриязыковые дериваты), установление их составных частей, корня, основы и формантов в рамках данного языка; 3) для заимствований – указание источника заимствования. К этим трем задачам и сводится содержание этимологических исследований” (с. 57). В.И. Абаев еще раз подчеркивает, что этимология не есть какая-то особая, самостоятельная отрасль или раздел языкознания; она составляет часть исторической лексикологии и только в этом качестве получает право на существование в языкознании, основу основ которого составляет историзм.

В традиционном употреблении термин “исторический словарь” применяется только к словарю, прослеживающему историю слов исключительно по *письменным памятникам* данного языка. Если следовать этому пониманию, то окажется, что бесписьменные и младописьменные языки не имеют вообще никакой истории. Такое узко филологическое понимание “истории” неприемлемо, и от него следует отказаться. Словарь становится историческим не в той мере, в какой слова в нем документированы по письменным памятникам, а в той мере, в какой он насыщен подлинным историзмом, т.е. в какой он строится на познании законов развития языка в связи с историей общества, историей народа. Ученый отмечает, что с этой точки зрения неправомерно противопоставление этимологического словаря “историческому” словарю в традиционном понимании. Хотя и разными приемами, но оба служат одной цели – истории.

Ученый призывает четко разграничивать цели “исторического” и этимологического словарей. Первый строится на чисто филологической документации и прослеживает историю слов по письменным памятникам данного языка. Этимологический словарь идет дальше: он исследует историю и генетические связи слов на широкой базе сравнительно-исторического языкознания. В.И. Абаев указывает на то, что этимологический словарь по своему назначению не может быть ни чем иным, как историей слов. Отсюда очевидна тесная связь этимологических исследований с историческими, т.е. от истории слов к истории народа.

Исходя из деления лексики на две группы, В.И. Абаев отмечает, что различение словарного состава и основного словарного фонда имеет первостепенное значение для этимологической работы, для правильного использования этимологических исследований в исторических целях и вообще для проблемы связи истории языка с историей народа. Основной словарный фонд, благодаря тому, что он живет очень

долго, в течение ряда веков, имеет исключительное значение для суждения о происхождении народа и его родственных связях с другими народами (этногенетическая проблема). Остальной словарный состав благодаря своей чувствительности к изменениям, происходящим в жизни общества, оказывается особенно ценным для суждения о процессах, связанных с изменениями социального строя, с развитием хозяйства, культуры и пр. (с. 59).

Автор особо подчеркивает значение заимствованных слов, которые дают ценнейший материал о прошлых сношениях и взаимных культурных связях данного народа с другими народами. Но и этим не исчерпывается научное значение и интерес этимологических исследований. История слов, отмечает В.И. Абаев, связана не только с внешней историей народа, но и с историей его мышления. Язык как непосредственная действительность мысли хранит увлекательную повесть многовековых усилий человека – познать, осмыслить и подчинить окружающую среду, окружающую действительность.

В.И. Абаев в своей работе на конкретном исследовательском материале показывает, что этимология как наука немислима вне сравнительно-исторического метода. Более того, говорить об этимологии как о науке, по мнению ученого, можно только с момента глубокого теоретического и практического обоснования сравнительно-исторического метода, т.е. с начала XIX столетия. Этот метод выработал те точные, многократно проверенные принципы и критерии этимологического исследования, которые переводят этимологическую работу из области домыслов и догадок на почву точных научных приемов и сообщают полученным результатам либо абсолютную, либо значительную достоверность. Без дисциплинирующего влияния этих принципов этимология обращается в зыбкую почву, где могут чувствовать себя привольно только фантазеры и дилетанты. Опираясь на выработанный сравнительно-историческим языкознанием богатый опыт, В.И. Абаев с присущей ему логической точностью излагает базовые установки этимологических исследований. Основной принцип, связанный с самой сущностью исторического метода, он называет принципом системы. Установление генетических связей между словами в рамках системы производится на основании ряда критериев, из которых на первое место выдвигаются обычно фонетический, морфологический и семантический. Каждый из этих критериев автором подробно раскрывается на конкретном языковом материале. Вместе с тем ученый показывает, что все три критерия – фонетический, морфологический, семантический – не обладают свойством абсолютной точности и выдержанности.

“Каковы же пути преодоления тех трудностей, – спрашивает ученый, – которые возникают в этимологических исследованиях? Было бы нелегко рекомендовать какие-либо универсальные рецепты, пригодные для всех случаев. Перечисленные выше критерии: критерий системы, фонетический, морфологический, семантический, – при всех обстоятельствах сохраняют свое значение. Если не вполне благополучно с каким-нибудь одним из них, тем строже надо применить к разъясняемому слову остальные. Несоответствие той или другой этимологии двум из указанных критериев свидетельствует о том, что всего более разумнее отказать от данной этимологии. Но есть еще один первостепенной важности критерий, который оставался, к сожалению, в тени за все время существования сравнительно-исторического языкознания” (с. 64). В качестве такого критерия В.И. Абаев называет учет *реалий*, знание которых он считает важнейшим условием подлинно научной этимологии. Именно невнимание к реалиям со стороны этимологов прошлого В.И. Абаев считает главным недостатком их работы. При этом термин “реалии” он употребляет в самом широком смысле как совокупность всех конкретно географических, материальных, социальных и культурных условий, в которых рождаются и развиваются слова и которые налагают на них свой оттенок. Ученый приводит ряд ярких примеров, показывающих, к каким неточностям может привести игнорирование реалий. Вместе с тем даются блестящие образцы этимологий, полученных благодаря знанию и учету реалий, т.е. объективных условий появления и развития этих слов. Высшей ступени

достигает этимология, когда она становится наукой не только о словах, но и о скрытых за ними реалиях, заявляет В.И. Абаев. И далее: “Отсюда вытекает еще один важнейший вывод: ни один лингвист не должен быть в такой степени вооружен разнообразнейшими сведениями по истории, культуре, этнографии, фольклору, археологии и пр., как лингвист-этимолог”. И далее: “... в области этимологии особенно желательно и плодотворно сотрудничество языковеда с представителями смежных общественных наук” (с. 67).

В заключительной части своей программной статьи по вопросам этимологии В.И. Абаев обосновывает еще одну чрезвычайно интересную идею. Он замечает, что статья по истории отдельных слов, если они хорошо написаны, читаются с захватывающим интересом даже не языковедами. Так почему же этимологические словари, которые, казалось бы, должны быть не чем иным как собранием подобных статей, кажутся читателю сухими и малоинтересными? Объясняется это явление отчасти тем, что в словаре составитель стремится к максимальной сжатости, чтобы дать в наименьшем объеме побольше сравнительного материала. Естественно поэтому, что в словарной статье трудно поместить весь тот оживляющий исторический материал, который можно свободно развернуть в специальной работе, посвященной отдельному слову. Но не в этом только дело. Главная причина “сухости” существующих этимологических словарей, продолжает В.И. Абаев, в оторванности от реалий. И здесь перед нами встает соблазнительная мечта о создании этимологического словаря нового типа. В такой словарь должны найти широкий доступ разнообразные исторические сведения, связанные с рождением и судьбой отдельных слов (с. 68). Такой словарь, по Абаеву, не был бы достоянием только узкого круга специалистов. Он мог бы стать настольной книгой любого образованного человека, каждого интеллигентного рабочего и крестьянина, так как в нем можно было бы найти не только ряды лексических соответствий, но обширный и разнообразный познавательный материал, освещающий через историю слов различные стороны прошлой жизни народа, его материальной и духовной культуры, его связей и сношений с другими народами. Подобный словарь нужен именно у нас, в России, где вопросы языка интересуют самые широкие круги людей и где языкознание становится одной из самых популярных наук.

Исключительно оригинальны взгляды В.И. Абаева на так называемые фонетические законы. Он пишет: “Я сказал бы так: исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены” [Абаев 1933: 7–8].

Отдельные методологические высказывания В.И. Абаева разбросаны по многим его работам. Их сбор, приведение в систему и осмысление – дело будущего. Сейчас же перед нами стоит более ограниченная задача – показать общую направленность методологических принципов ученого, их глубину и научную значимость. В этом плане, пожалуй, наибольший интерес вызывают две статьи ученого. Первая из них [Абаев 1960б] написана на материале выступления автора в лингвистической дискуссии 1957 г., состоявшейся в Институте языкознания АН СССР по некоторым вопросам методики и методологии советского языкознания. Это было первым открытым выступлением ученого против крайностей лингвистического структурализма, так сказать, разведка боем...

В.И. Абаев сразу же дает методологическую оценку проходящей дискуссии. Он заявляет: “Вопрос о разграничении синхронии и диахронии в изучении языка и связанный с ним вопрос об историзме в описательном языкознании – чрезвычайно важный теоретический вопрос, от решения которого во многом зависят пути дальнейшего развития теоретического языкознания.

Историзм может оказаться той основной водораздельной линией, по которой пройдет размежевание между двумя главнейшими направлениями в развитии общественных наук вообще и в языкознании – в частности.

Будучи величайшим завоеванием науки XIX века, – продолжает далее ученый, – историзм полностью сохранил свое значение и несколько не устарел. Всякая

жизнеспособная наука будущего всегда будет подымать на щит принцип историзма, совершенно так же, как антиисторизм будет всегда знаменем любой деградирующей и вырождающейся науки”.

Историзм означает не познание истории, говорит В.И. Абаев, а познание статики через историю. При этом чисто синхронное описание относится к описанию с учетом истории не как два равноценных, равноправных, независимых и разноплановых способа познания, а как менее совершенное познание относится к более совершенному. Познание статики через чисто синхронное описание – это лишь ступень, этап на пути к более совершенному, более глубокому, более ценному познанию статики – через историю.

В 1963 г. В.И. Абаев публикует статью “Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке” [Абаев 1963]. Это – одна из самых блестящих полемических работ В.И. Абаева, факт, который признают все – и сторонники концепции автора и ее противники. Работа, несомненно, внесла и все еще вносит неоценимый вклад в решение общеметодологических проблем филологии и, можно сказать без преувеличения, обогащает методологический арсенал и других гуманитарных наук. Рисуя широкий социологический фон появления и развития структурализма, В.И. Абаев останавливается на истории “модернизма”, который не связан специально с языкознанием. Как отмечает ученый, модернизм “охватывает все области культуры, начиная от модной философии и кончая модными танцами. Слово “модернизм” этимологически связано со словом “мода”, и на этот раз (что не всегда бывает) этимология попадает в точку. Когда общество вступает в полосу духовного кризиса, оно начинает судорожно хвататься за все *новое*. Но так как это делается в условиях идейной опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преимущественно по линии *формы*, формальных средств, формальных приемов, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть модернизм» [Абаев 1963: 24].

Отмечая далее, что модернизм не является характерной особенностью только современной культуры, ученый говорит о том, что он периодически возникает в эпохи духовного кризиса и распада. При этом в каждую новую эпоху модернизм выступает в новом идейном облачении, характерном именно для этой эпохи. Характерной чертой нового модернизма является открытый или завуалированный *антигуманизм*, охотно облекаемый в форму стандартных восторгов по поводу успехов техники, физики, математики. Мания абстрактных формалистических схем и построений, в которых нет места для живой и трепетной человеческой души, – вот самый общий признак современного модернизма в литературе, искусстве и науке.

Обосновывая свое методологическое кредо, В.И. Абаев пишет, что дать оценку тому или иному направлению в общественных науках – это значит прежде всего уяснить, отвечает ли это направление восходящей или нисходящей кривой развития духовной культуры в целом, философии, общественных наук, литературы, искусства. Все эти области, в которых находит выражение общественная идеология, в каждом обществе, в каждую эпоху тесно между собой связаны и образуют один комплекс, который автор называет *гуманитарным сектором*. Кто хочет подойти к оценке состояния какой-либо гуманитарной науки, в том числе языкознания, серьезно, объективно и глубоко, тот ни в коем случае не должен вырывать эту науку из “контекста” всего гуманитарного сектора и рассматривать ее изолированно. Любое направление в одной общественной науке следует рассматривать в неразрывной связи с синхронными направлениями в других общественных науках: в философии, литературе, искусстве, а также в свете общих закономерностей развития всего гуманитарного сектора.

В семидесятые годы В.И. Абаев выступил с рядом теоретических работ, содержащих также отдельные методологические идеи автора. Так, обратила на себя внимание лингвистов-теоретиков и философов статья “Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка” [Абаев 1970]. В.И. Абаев подчеркивает тесную связь лексики с человеческим сознанием. Если бы, пишет он, мы могли

восстановить историю слов от первых зачатков человеческой речи, это была бы вместе с тем история общественного сознания от первых проблесков человеческой мысли в палеолите и до нашего времени. Язык и сознание на протяжении всей истории человеческого рода образуют нераздельное единство.

Из методологических идей интересно отметить характеристику автором научной гипотезы. В.И. Абаев пишет, что не всякая гипотеза хороша, что научная гипотеза оправдывает себя тогда, когда она является оптимальной. Под оптимальной мы понимаем такую гипотезу, которая:

- 1) исходит из правильных общетеоретических предпосылок,
- 2) лучше согласуется с доступными эмпирическими данными, дает им наиболее удовлетворительное объяснение.

В работе делается интересная попытка уточнить вопрос о происхождении языка. Как указывает автор, процесс очеловечивания начинается с “сознания того, что человек живет в обществе”. Но то, что было первым объектом сознания, было и первым объектом наречения. Стало быть, вопрос о том, что означали первые слова, решается с большой долей уверенности: они могли быть только названиями социально-производственных групп. Прежде чем стать символами вещей, они были символами нарекающих коллективов. Они были сигналами о принадлежности к определенным, более или менее устойчивым социальным группам. Во главе гуманитарных наук, по мнению ученого, должен стоять человек.

К методологическим изысканиям В.И. Абаева непосредственно примыкает статья “Общегуманитарные аспекты теоретического языкознания” [Абаев 1973а]. Статья эта также носит полемический характер, а по стилю изложения публицистична, в чем, кстати, порой упрекают автора. Как это нередко бывает в теоретических работах В.И. Абаева, автор рассматривает конкретные лингвистические вопросы на широком социологическом и методологическом фоне. Существенным недостатком опубликованных в последнее время дискуссионных статей по теоретическому языкознанию В.И. Абаев считает как раз то, что в них лингвистические проблемы обсуждаются в отрыве от общей идеологической ситуации и идеологической борьбы нашего времени. Как отмечает автор, не будет ошибкой сказать, что на первый план в современной идейной борьбе выступает проблема гуманизма.

Борьба за человека и созданные им ценности, пишет В.И. Абаев, – вот сущность современного гуманизма. Наш век оправдает себя, если он войдет в историю не только как век атома и космонавтики, но также как век гуманизма и духовного обновления. В противном случае и атом, и космонавтика неизбежно обернутся для человечества катастрофой и самоуничтожением. Техника – слепая сила, которая принесет жизнь или гибель в зависимости от того, будут ли зрячими или слепыми владеющие ею люди. Угрозу человечеству несет не атомная эра, а духовное состояние людей в атомную эру. Сделать людей духовно зрячими – такова задача гуманистического воспитания. И вот тут огромная ответственность ложится на науки, которые по самой своей природе призваны формировать идейный мир человека, – науки общественные. Специфика этих наук состоит, между прочим, в том, что в них познавательные задачи неотделимы от идейно-воспитательных. В наше время последние приобретают особое значение. Участие в гуманистическом воспитании людей становится важнейшим, если не решающим моментом при оценке любой общественной науки. Антуан Экзюпери, замечательный французский писатель, очень хорошо сказал: “Быть человеком – значит сознавать свою ответственность”. Мы бы добавили: быть гуманистом – значит сознавать свою ответственность вдвойне [Абаев 1973а: 525].

\* \* \*

Мы охарактеризовали здесь основные концептуальные идеи В.И. Абаева в области филологии. За пределами обзора, разумеется, остались труды выдающегося ученого в других областях науки, в частности, древней истории и нартоведения, в области которого В.И. Абаев считается непререкаемым авторитетом, патриархом.

Но и сказанного достаточно, чтобы убедиться в абсолютной незаурядности В.И. Абаева в современной гуманитарной науке. Хочется завершить статью словами академика О.Н. Трубачева: «Нужны очень хорошие и самые высокие слова, чтобы достойно почтить Василия Ивановича. По счастью, такое нужное слово есть в его “Словаре скифских слов”, сохранили его и потомки скифов – родные Абаеву осетины, и мы, уважая связь времен, произносим это слово сегодня: *Farn* – “солнечная благодать, благоденствие”. В других языках нет адекватного слова и понятия, порожденного, видимо, древним иранским культом солнца – *Xvar-na* “солнечный”, и мы вынуждены передавать его по-русски иносказательно. Василий Иванович Абаев – ровесник XX века, и это по-своему тоже символично. Я не удивлюсь, если потом будут говорить о *веке Абаева* в иранской и осетинской этимологии, имея в виду время ее наивысшего расцвета» [Трубачев 1980: 7–8].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И.* 1925 – Новое в осетиноведении // Известия СОНИИ. 1. Владикавказ, 1925.  
*Абаев В.И.* 1933 – О “фонетическом законе” // Язык и мышление. 1. Л., 1933.  
*Абаев В.И.* 1935 – Фольклор // Мах дуг. № 12 (на осет. языке). Владикавказ, 1935.  
*Абаев В.И.* 1936 – Еще о языке как идеологии и как технике // Язык и мышление. VI–VII. Л., 1936.  
*Абаев В.И.* 1939 – Из осетинского эпоса. М.; Л., 1939.  
*Абаев В.И.* 1949 – Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.; Л., 1949.  
*Абаев В.И.* 1952 – О принципах этимологического словаря // ВЯ. 1952. № 5.  
*Абаев В.И.* 1959 – Грамматический очерк осетинского языка. Орджоникидзе, 1959.  
*Абаев В.И.* 1960а – Коста и осетинская культура // Известия СОНИИ. Т. XXII. Вып. II. Владикавказ, 1960.  
*Абаев В.И.* 1960б – Об историзме в описательном языкознании // О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960.  
*Абаев В.И.* 1963 – Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке // ВЯ. 1963. № 3.  
*Абаев В.И.* 1965а – О Сека Гадиеве. Писательство как подвиг (к 50-летию со дня смерти) // Советская Осетия. № 26–27. Владикавказ, 1965.  
*Абаев В.И.* 1965б – Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965.  
*Абаев В.И.* 1970 – Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.  
*Абаев В.И.* 1973а – Общегуманитарные аспекты теоретического языкознания // ИАН СЛЯ. 1973. 6.  
*Абаев В.И.* 1973б – О Георгии Малиеве // Малиев Г. Ираф. Орджоникидзе, 1973.  
*Абаев В.И.* 1990 – Избранные труды. Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990.  
*Абаев В.И.* 1958–1995 – Историко-этимологический словарь осетинского языка: Т. 1, 1958; Т. 2, 1973; Т. 3, 1979; Т. 4, 1989; Т. 5, Указатель, 1995.  
*Миллер В.Ф.* 1881–1882, 1887 – Осетинские этюды, Ч. 1, М., 1881; Ч. 2, М., 1882; Ч. 3, М., 1887.  
*Миллер В.Ф.* 1927 – Осетинско-русско-немецкий словарь / Под ред. и с дополнениями А.А. Фреймана. Т. 1. 1927.  
*Рыбаков Б.А.* 1979 – Геродотова Скифия. М., 1979.  
*Салатаева З.М.* 1980 – В.И. Абаев – литературовед // Поэтика жанра. Орджоникидзе, 1980.  
*Трубачев О.Н.* 1980 – От редактора (слово о В.И. Абаева) // М.И. Исаев. В.И. Абаев. Орджоникидзе, 1980.  
*Фадеев А.А.* 1941 – Выступления на юбилее Коста Хетагурова в г. Орджоникидзе 21-го ноября 1939 г. // Коста. Орджоникидзе, 1941.  
*Шегрен А.* 1844 – Осетинская грамматика, с кратким словарем осетинско-российским и российско-осетинским. Ч. 1. СПб., 1844.



© 2000 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК

ЛИНГВИСТИКА ПО А. Т. ФОМЕНКО

**Вступительное пояснение.** Настоящая статья написана, как это прямо указывается в тексте, отнюдь не для читателя-лингвиста, а, напротив, для читателя, незнакомого (или слабо знакомого) с основами лингвистики. Соответственно, в ней поясняются (как правило, несколько упрощенно) даже самые обычные лингвистические термины и положения; слегка упрощено также само изложение лингвистических фактов, чтобы сверх меры не затруднять неподготовленного читателя. На страницах “Вопросов языкознания” эта статья публикуется с целью ознакомить лингвистическую общественность с тем, как используются данные языка в получившем ныне прискорбно широкое распространение учении А. Т. Фоменко о глобальной ревизии мировой истории.

“Новое учение” А. Т. Фоменко (далее: А. Т. Ф.) о всемирной истории (изложенное в его единоличных трудах или в соавторстве с Г. В. Носовским)<sup>1</sup> ошеломляет. Одних — невероятной смелостью мысли, не побоявшейся отвергнуть практически всё, что полагало о своей древней истории человечество до сих пор, и открыть миру доселе неведомую — совершенно иную — историю Египта, Греции, Рима, Англии, Европы в целом, России и по сути дела всех вообще стран, других — невообразимым нагромождением нелепостей.

Не скрывая, что я принадлежу к числу вторых, а не первых, я тем не менее считаю целесообразным трактовать (по крайней мере вначале) сочинения А. Т. Ф. по истории так, как он подает их сам, — не как произведение научно-фантастического жанра, или интеллектуальную игру, или пародию, или новое вероучение, а как научную концепцию. В этом случае к ней естественно применять принятые в науке критерии доказательной силы того или иного утверждения.

Ниже я рассматриваю в основном книгу Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко “Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима” (далее эта книга обозначается НХ, ее отдельные тома — НХ 1 и НХ 2); но мои критические суждения в большинстве случаев применимы и к другим работам А. Т. Ф. Я не ставлю своей целью рассмотреть “новое учение” А. Т. Ф. во всех его аспектах, заслуживающих критики. Моя задача ограничена в основном вопросами лингвистики и филологии<sup>2</sup>, т. е. того, что непосредственно относится к моей специальности; в конце

<sup>1</sup> Основоположником этого учения является Н. А. Морозов. Многие, о чем пойдет речь далее, фактически идет от него. Но в своем критическом разборе мы как правило не будем специально выделять вклад Н. А. Морозова, исходя из того, что на нынешнем этапе А. Т. Ф. равно ответствен как за выдвинутые им самим положения, так и за те, где он солидаризировался с Н. А. Морозовым. С другой стороны, мы будем ниже во многих случаях говорить именно об А. Т. Ф., даже если цитируется совместная работа, поскольку основная ответственность за концепцию в целом (выраженную во многих книгах) и за используемые методы лежит именно на нем.

<sup>2</sup> Разграничение терминов “лингвистика” (= “языкознание”) и “филология” не у всех авторов одинаково. Ниже для наших целей достаточно считать, что первое есть изучение языка как такового, а второе — изучение текстов (как литературных, так и прочих), как правило письменных.

статьи я рассматриваю также один вопрос более общего характера — о так называемых “династических параллелизмах”.

Но прежде, чем разбирать работы А. Т. Ф., следует яснее представить себе, к кому адресоваться. Можно выделить несколько различных контингентов читателей А. Т. Ф.

Профессиональных историков, филологов и лингвистов не нужно убеждать в неприемлемости построений А. Т. Ф. Мне не доводилось встречать в их среде его поклонников.

Построения А. Т. Ф. встречают сочувствие у совсем другого круга людей. Многим эти построения нравятся именно своей экстравагантностью и революционностью. Обычно особенно импонирует то, что ниспровергается “официальная наука”, тем более такая замаранная в советское время прислужничеством идеологии, как история (при этом легко упускается из виду, что А. Т. Ф. ниспровергает не советских историков, а по сути дела всех историков всех стран и эпох).

Есть какое-то количество рьяных сторонников А. Т. Ф., в глазах которых он предстает новым Коперником и неприятие его всей “официальной наукой” является лучшим подтверждением его правоты. Для людей подобного сектантского духа аргументы обычно силы не имеют.

Есть также немало читателей, которым просто нравится захватывающая новизна сюжета, бойкость и размашистость изложения, элементы нового жанра, смыкающегося кое в чем с детективом и с научно-фантастическим романом. Вопрос о том, правда ли всё это, для них откровенным образом второстепенен. Для многих притягательна скандальная слава, которую приобретает учение А. Т. Ф., раздуваемая теперь уже и телевидением. Картина крушения всего, что еще недавно было школьной прописной истиной, как всякое апокалиптическое зрелище, возбуждает.

К этим категориям читателей я не обращаюсь.

Наш разбор предназначен лишь для тех, кто видит в работах А. Т. Ф. именно научную концепцию и, следовательно, готов определять свою позицию, взвешивая аргументы за и против, а не на основе общих ощущений типа “нравится — не нравится”. Мы хотели бы также помочь тем, кто встречает с естественным сомнением каскад невероятных новшеств, низвергающихся на читателя из сочинений А. Т. Ф., но не берется сам определить, достоверны ли факты, на которые ссылается А. Т. Ф., и вытекают ли из них в действительности те выводы, которые он делает.

Заметим, что многих из таких читателей озадачивает противоречие между сказочным неправдоподобием того, что, скажем, Лондон раньше стоял на берегу Босфора или что Батый — это Иван Калита, и их представлением о том, что если автор — математик, да еще высокого ранга, то у него все должно быть “математически доказано”. Этим читателей я приглашаю прежде всего осознать, что и сам А. Т. Ф. не претендует на то, что все его утверждения об истории математически доказаны. Вообще, математически доказать можно только математическое утверждение. В любой другой науке, даже в физике, прежде чем встанет вопрос о каком бы то ни было математическом доказательстве, содержательное утверждение данной науки должно быть представлено в математической форме. А само это математическое представление в принципе может быть более адекватно или менее адекватно своему объекту — это уже относится к ведению не математики, а соответствующей конкретной науки.

Занимаясь историей, А. Т. Ф. волей-неволей вынужден действовать как историк. Даже если он хочет произвести какие-то математические операции над историческим материалом, ему приходится, придавая этому материалу математическую

форму, решать содержательные проблемы. Допустим, если он статистически обрабатывает данные по длительностям царствований, то он должен вникать в существо дела всякий раз, когда, например, между историками ведется дискуссия о длительности правления такого-то царя.

В книге НХ в сущности вообще никакой математики нет. Строя новые, нетрадиционные представления о том, когда и как что в истории происходило, А. Т. Ф. действует как самый обыкновенный гуманитарий: выдвигает гипотезы и указывает факты, которые согласуются с этими гипотезами.

У гуманитария же вообще нет возможности что-либо доказать в абсолютном смысле этого слова. Если слово “доказать” и применяется иногда в гуманитарных науках, то лишь в несколько ином, более слабом, смысле, чем в математике. Строгого определения для этого “доказательства в слабом смысле”, по-видимому, дать невозможно. Практически имеется в виду, что предложенная гипотеза, во-первых, полностью согласуется со всей совокупностью уже известных фактов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, во-вторых, является почему-либо безусловно предпочтительной из всех прочих мыслимых гипотез, удовлетворяющих первому требованию. В отличие от математического доказательства, “доказательство в слабом смысле” может и рухнуть, если откроются новые факты или будет выяснено, что автор не учел каких-то принципиально мыслимых возможностей. Всё это не значит, однако, что утверждения гуманитарных наук вообще не могут претендовать ни на какую точность и надежность и что в этой области любая гипотеза не хуже и не лучше, чем любая другая. В гуманитарных науках, так же, как, например, в естествознании, долгим опытом выработаны критерии, позволяющие оценивать степень обоснованности того или иного утверждения даже при условии невозможности доказательства в абсолютном смысле.

Взявшись за построение гипотез в области истории и лингвистики, А. Т. Ф. должен быть судим ровно тем же судом, что и обыкновенные историки и лингвисты. Для него не возникает решительно никаких привилегий из того, что он математик (и даже математический академик). В частности, он не вправе ожидать от критиков каких-либо скидок на его непрофессионализм в данной науке, коль скоро он принимает ревизию именно этой науки.

В связи с этим не могу не осудить аннотацию к книге НХ и вынесенные на обложку сведения об авторах. В аннотации говорится: «Предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в гуманитарных науках». Это дезинформация: в книге используются обычные гуманитарные методы. Еще не раскрыв книгу, читатель узнаёт также о многочисленных заслугах и рангах А. Т. Ф. в области математики. Это прямое давление на читателя с тем, чтобы он перенес свой запас доверия к математике на книгу, которая к математике уже отношения не имеет и которая одним лишь своим содержанием у него доверия не вызвала бы.

### **Любительская лингвистика как орудие перекройки истории**

В ранних работах А. Т. Ф. лингвистические и филологические вопросы занимали скромное место. В дальнейшем их роль возросла. В книге НХ их роль уже настолько велика, что эту книгу вполне можно рассматривать как сочинение не только по истории, но и по лингвистике и филологии. Та или иная апелляция к языку возникает у авторов почти по каждому обсуждаемому вопросу.

Следует различать два вида соприкосновения с филологической и лингвистической проблематикой в работах А. Т. Ф.: открытое (когда непосредственно обсужда-

ются какие-то слова или тексты) и скрытое. Второе имеет место во многих случаях, когда читателю кажется, что речь идет просто о тех или иных вычислениях. Например, когда А. Т. Ф., вслед за Н. А. Морозовым, изучает даты затмений и показывает нам, что данные астрономии в ряде случаев не сходятся с сообщениями древних историков и летописцев, читатель часто не осознает, что сравниваемые колонки данных (астрономических и летописных) имеют совершенно разную природу. Астрономические данные объективны (или, если угодно, стоят близко к самому верху признаваемой ныне человечеством шкалы объективности), тогда как вторая колонка — это результат филологического анализа определенных древних текстов, и ее надежность полностью зависит от того, насколько успешно проведен этот анализ.

Установление точного смысла некоторого древнего сообщения — операция далеко не простая. Прежде всего, филолог должен непременно иметь перед собой текст этого сообщения в подлиннике: любой перевод — не только литературный, но даже буквальный — в силу разницы в структуре языков неизбежно вносит в смысл текста некоторые малозаметные модификации, какая-нибудь из которых может впоследствии оказаться причиной ложного истолкования.

Яркий пример ошибки такого рода у А. Т. Ф. разбирают Е. С. Голубцова и В. М. Смирин [Голубцова, Смирин 1982] и вслед за ними А. Л. Пономарев [Пономарев 1996]. Рассказывая о затмении 431 г. до н. э., Фукидид сообщает о том, что солнце стало месяцевидным, а также о том, что появились кое-какие звезды. А. Т. Ф., исходя из литературного русского перевода Фукидида, понимает это так, что сперва солнце стало месяцевидным, а позднее (когда затмение достигло полной фазы) появились звезды. Тем самым А. Т. Ф. видит здесь сообщение о полном солнечном затмении. Однако, как показали названные авторы, такое толкование возможно только для использованного А. Т. Ф. перевода. Подлинный текст Фукидида такой возможности не дает: он может быть понят только так, что указанные события одновременны: солнце стало месяцевидным (т. е. затмилось неполностью) и при этом появились кое-какие звезды.

А. Т. Ф. исходит из презумпции, что ни при каком частном солнечном затмении никакие звезды видны быть не могут. А. Л. Пономарев указывает, что такие яркие звезды, как Вега, Денеб и Альтаир, могут быть и видны (замечу, что при затмении на небе почти всегда должна быть и Венера, которая еще много ярче, а в части случаев также и Юпитер). Таким образом, даже если рассказ Фукидида о появлении кое-каких звезд совершенно точен, вывод А. Т. Ф. о том, что затмение было полным, оказывается необоснованным.

Но и в том случае, если бы презумпция А. Т. Ф. была верна, его вывод всё равно не был бы единственно возможным. Чтобы понять это, здесь следует вновь обратиться к филологической стороне проблемы. Анализ древнего сообщения не ограничивается собственно лингвистическими вопросами; должны быть рассмотрены и вопросы литературоведческого характера. Какова литературная манера данного автора? Не имеет ли он обыкновения смещать или переставлять свои рассказы об отдельных событиях для большей эффектности композиции? Склонен ли он описывать повторяющиеся события с помощью однотипных формул? И так далее. Фукидид — писатель, а не протоколист. Его сочинения обладают многими художественными достоинствами, невозможными при чисто протокольной фиксации фактов. Описывая затмение, тем более уже несколько отдаленное во времени, писатель, конечно, может для усиления художественного эффекта добавить от себя какие-то детали (типа появления звезд), известные по другим затмениям. В летописях детали подобного рода могли появляться также при позднейшем редактировании.

Из расхождений между списком затмений по данным астрономии и по данным древних источников естественно сделать вывод, что некоторые древние сообщения о затмениях либо неточны (или дошли до нас с искажениями), либо неправильно нами истолкованы. А. Т. Ф. делает совершенно другой вывод: просто мы в корне заблуждаемся относительно того, в какую эпоху произошло описанное в источнике затмение. Так, согласно А. Т. Ф., описанное Фукидидом затмение произошло не в 431 г. до н. э., а в 1039 г. нашей эры (поскольку по астрономическим данным затмение 431 г. до н. э. в Афинах было не полным, а частным); соответственно, надо “передвинуть” весь древний мир на много веков ближе к нам. Более того, он представляет читателю этот вывод почти как математическую очевидность. Между тем в действительности вывод А. Т. Ф. целиком покоится на следующих скрытых от читателя презумпциях: 1) Фукидид описал затмение протокольно точно; 2) автор вывода (т. е. А. Т. Ф.) правильно решил стоявшую перед ним филологическую задачу, а именно, истолковал текст сообщения Фукидида безошибочно. Как мы видели, первое необязательно верно, а второе определенно неверно.

Этот пример может служить также хорошей иллюстрацией того более общего положения, что, вопреки расхожему представлению, активно эксплуатируемому авторами НХ, использование математических методов в некоторой науке само по себе еще вовсе не гарантирует какого-либо реального прогресса в этой науке. Как мы уже говорили, математик может применить свои методы, скажем к истории, не раньше, чем он решит для себя целый ряд частных вопросов содержательного характера, возникающих у него уже на этапе отбора материала для последующей математической обработки. Если этот предварительный этап своей работы (не математический!) он провел неквалифицированно (не говорим уже о том катастрофическом случае, если предвзято), то полученный им в дальнейшем математический результат, пусть даже совершенно безупречный, останется не более, чем математическим упражнением, из которого, ввиду недоброкачества исходных данных, для реальной науки истории не следует ровно ничего.

В ответ на критику его лингвистических и филологических построений А. Т. Ф. заверяет читателей, что эти построения не имеют принципиального значения для его теории, никогда не используются для доказательства чего-либо важного и предназначены лишь для выяснения отдельных деталей в рамках теории, принципиальные положения которой якобы уже независимым образом доказаны математически. Судите сами, насколько эти заверения соответствуют действительности, если, например, даже одна лишь та филологическая ошибка А. Т. Ф. (в интерпретации текста Фукидида), которая описана выше, означает развал “астрономического доказательства” новой хронологии, поскольку новая датировка указанного затмения — это один из главных столпов такого доказательства. Поверить, что ценность математических результатов, достигнутых А. Т. Ф. при анализе сообщений древних письменных памятников, не зависит от правильности интерпретации текста этих памятников, могут только те, кто полагает, что математика — это такая волшебная наука, которая умеет получать верные выводы из неверных исходных данных.

Далее я уже буду рассматривать открытые обращения А. Т. Ф. к вопросам лингвистики и филологии. К сожалению, здесь я вынужден сразу же прямо и безоговорочно заявить: лингвистические и филологические построения А. Т. Ф. находятся на уровне самого примитивного и невежественного дилетантизма. Лингвистические ошибки, которые допускает А. Т. Ф., столь грубы, что в математике им соответствовали бы, например, ошибки в таблице умножения.

Полупопулярный характер книги НХ не может здесь служить никаким оправданием: в популярном изложении позволительны определенные упрощения, но никак не грубые ошибки.

Язык — обманчивая материя. “Человеку с улицы”, владеющему с детства некоторым языком, в большинстве случаев не приходит в голову, что он еще не всё знает об этом языке. Он решительно не понимает, зачем существует еще такая наука лингвистика. Как это ни поразительно, А. Т. Ф. находится в этом отношении именно на уровне рядового “человека с улицы”.

Рассматривать весь легион лингвистических абсурдов А. Т. Ф., разумеется, бессмысленно. Ограничимся лишь немногими.

Вот рассуждение, которым авторы НХ подкрепляют свой тезис о том, что Лондон прежде стоял на Босфоре: «Мы считаем, что первоначально “рекой Темзой” назывался пролив Босфор... По поводу Темзы добавим следующее. Это название пишется как Thames. События происходят на востоке, где, в частности, арабы читают текст не слева направо, как в Европе, а справа налево. Слово “пролив” звучит так: sound. При обратном прочтении получается DNS (без огласовок), что может быть воспринималось иногда как TMS — Темза» [НХ 2: 108].

Человек, знакомый хотя бы с начатками науки о языке, конечно, просто не поверит, что эта галиматья может быть написана всерьез. “Это пародия? Для капустаника?” — спросит он<sup>3</sup>.

Для недостаточно знакомых следует дать пояснения. Кстати, уже на одном этом примере мы познакомимся сразу с несколькими фундаментальными лингвистическими принципами, которыми пользуются авторы НХ, как то: “существенны только согласные”; “на востоке слова читают задом наперед”; “письменная форма слова исходна, устная — вторична” и др.

Что касается принципа “существенны только согласные”, то сами авторы дают по этому поводу следующее разъяснение: «В древних текстах названия и имена сплошь и рядом употреблялись “без огласовок”, т. е. без гласных — лишь в виде “костяка” из согласных. В то время, в прошлом, гласные при чтении текста добавлялись по памяти. Естественно, с течением времени гласные путались, забывались, заменялись на другие и т. п. Согласные, записанные на бумаге, были устойчивее» [НХ 1: 19].

Из этого пассажа ясно, что авторы кое-что знают о письменностях семитских народов — таких, как финикийская, древнееврейская, арабская. В этих письменностях действительно в наиболее употребительном варианте письма записываются именно согласные (что находится в определенной связи с особенностями структуры семитских языков, ср. ниже сноску б), хотя всё же наряду с некоторой частью гласных. Уточним, что это касается всех вообще слов, а не только названий и имен, и происходит отнюдь не только в древних текстах, но и теперь. Однако главное то, что к другим письменностям, например, греческой, латинской, русской, английской и т. д., этот принцип не имеет никакого отношения (условные сокращения, типа *kg* = килограмм, разумеется, не в счет). Без этой существеннейшей оговорки формулировка “в древних текстах” вводит в жестокое заблуждение. Между тем авторы совершенно свободно применяют этот принцип к любым языкам, например, как мы видели, к английскому. Мы находим у них даже следующее прямое заявление:

---

<sup>3</sup> Признаюсь, я сам не могу до конца отделаться от мысли, что для А. Т. Ф. его сочинения на гуманитарные темы — это забавный, хотя и изрядно затянутый, фарс, мефистофелевская насмешка математика над простофилями гуманитариями, наука которых так беспомощна, что они не в состоянии отличить пародию от научной теории. Если это так, то главные кролики этого изысканного эксперимента — его (А. Т. Ф.) последователи.

«Например, древнеславянский текст, это тоже цепочка согласных, иногда даже без “огласовочных знаков”...» [НХ 2: 84]. Это заявление, мягко говоря, не имеет ничего общего с действительностью<sup>4</sup>: во всех древних славянских памятниках гласные регулярно пишутся (условные сокращения не в счет), а “огласовочные знаки” славянскому письму вообще неизвестны. Заметим, что одного такого заявления в книге лингвиста было бы достаточно, чтобы и книга и автор сразу же попали в категорию не заслуживающих доверия. Но авторы НХ, к счастью, не лингвисты.

Сведёние слова к “костяку из согласных” — один из постоянных лингвистических приемов А. Т. Ф. Вот, например, о Литве: «Скорее всего, термин Литва происходит от “латиняне” = ЛТН (Литуания)» [НХ 1: 269]. А вот о турках: «... слово “турки” очень близко к слову “троянцы” и “франки” (один и тот же корень ТРК, ТРН)» [НХ 2: 207]. Ни литовцы, ни латиняне, ни турки, ни троянцы, ни франки к семитским языкам не имеют отношения. То, что А. Т. Ф. позволяет себе называть “корнем”, никоим образом не соответствует действительным корням упомянутых слов в соответствующих языках. На игнорировании гласных основано также приводимое в НХ десятки раз сопоставление, на котором держится одно из центральных положений “нового учения”: *монголы* — греч. ‘великие’ (по А. Т. Ф. — МЕГАЛИОН; в действительности *μεγάλοι*). В средневековом греческом языке ‘монголы’ — *μουούβλιου* (*ου* = [y])<sup>5</sup>. Но в греческом языке невозможно родство двух слов, различающихся тем, что одно содержит гласные *ε* – *α*, а другое *ου* – *ου*. Одно этого достаточно, чтобы данное сопоставление стало невозможным (отвлекаемся от того, что оно невозможно также и по ряду других лингвистических причин).

Рассуждение о том, как читают “на востоке”, особенно сильно заставляет подозревать, что авторы над нами просто смеются. По А. Т. Ф., если имеется последовательность букв SND, то араб читает ее как DNS.

Если так, то, наверное, *Москва* у арабов — *Авксом*, *Новгород* — *Дорогвон*. Видимо, арабы пишут в одном направлении, а читают в противоположном. Нет, пожалуй, не так: они, наверное, все-таки и пишут и читают справа налево. Но дело в том, что некоторые арабы знают русские или английские буквы. А то, что их надо читать слева направо, им в голову не приходит. Видят надпись НОВГОРОД, ну и читают, как привыкли: ДОРОГВОН. И пошло гулять новое слово. Дойдет и до России, и там тоже, глядишь, многие начнут называть Новгород Дорогвоном.

Читатель ошибется, однако, если сочтет весь этот эпизод за случайный ляпсус. Свое открытие, что на востоке выворачивают слова наизнанку, А. Т. Ф. использует многократно (причем применяет его к любым словам любых языков, а отнюдь не только восточных). Вот, например, о Самаре: «Само название “Самара”, в обратном (арабском) прочтении — “А-Рамас” означает “Рим”, “столица»» [НХ 1: 361]. Кстати, вы ведь уже понимаете, что *А-Рамас* и *Рим* — это одно и то же, потому что “костяк согласных” здесь РМ (конечно, пришлось еще отбросить С в *А-Рамас*; но

---

<sup>4</sup> Вообще в НХ много фактических ошибок разной степени серьезности. Но мы не считаем нужным каждый раз на них останавливаться, поскольку на фоне всего остального они уже не имеют большого значения.

<sup>5</sup> Поясним, что для рассматриваемых слов (или их частей) мы приводим, как это принято в лингвистике, их письменную форму курсивом, их фонетическую транскрипцию (т. е. запись звучания) — в квадратных скобках, их значение — в одинарных кавычках (‘ ’). В книгах А. Т. Ф., которые мы цитируем, естественно, в точности по оригиналу, всё это оформляется иначе, но, к сожалению, совершенно непоследовательно.

поскольку тождество Самары и Рима всё равно уже очевидно, то неужели нельзя пренебречь одной буквой?).

Далее. Приведенные нами выдержки из НХ демонстрируют также полное непонимание того, как соотносятся письмо и звуковая речь. Это непонимание характерно едва ли не для всех лингвистов-любителей и составляет их заметнейшую отличительную черту. Прописная истина языкознания состоит в том, что язык существует независимо от того, есть для него письменность или нет. И поныне в мире множество бесписьменных языков, а уж о древней эпохе нечего и говорить. Язык передается от поколения к поколению через устное общение. Принцип А. Т. Ф. (“элементы звукового состава слова, не фиксируемые на письме, путаются, забываются”) применим только к мертвому письменному языку, т. е. такому, на котором сохраняются (и, возможно, даже создаются) письменные тексты, но нет общенародного устного общения. Неслучайно А. Т. Ф. ссылается в этой связи именно на мертвый (до его “воскрешения” в XIX в.) язык — иврит [НХ 2: 83–85]. К живым языкам этот принцип не имеет никакого отношения. Если бы он был верен для живого языка, то бесписьменный язык вообще не имел бы никаких шансов сохранить сходство со своим древним состоянием. В действительности же, например, лужицкие языки, не менее пяти веков прожившие в бесписьменном состоянии в немецком окружении, сохранили тесное сходство с другими славянскими языками; цыганский язык до сих пор в существенных чертах сходен с индоевропейскими языками Индии, из которой некогда вышли его носители; и вообще родственные бесписьменные языки сохраняют сходство между собой ничуть не хуже, чем письменные.

У А. Т. Ф., в противоположность всему накопленному лингвистикой опыту наблюдения над функционированием и изменением языков, приоритет всегда принадлежит письменной форме слова, а не устной. Например, по его представлениям, люди всегда знакомятся с новым словом в его письменном виде; кто-то неправильно его прочел — и пожалуйста: слово изменилось. Над тем, как функционирует бесписьменный язык, ему, по-видимому, вообще не доводилось задумываться. Принцип приоритета письменного (и в особенности печатного) слова, между прочим, позволяет А. Т. Ф. выдвинуть следующий замечательный тезис, революционизирующий всю историческую географию: «Еще раз повторяем одну из главных наших мыслей: в средние века (до начала книгопечатания) географические названия и имена народов перемещались по карте, следуя при этом за перемещающимися документами (народы же, в основном, оставались на тех же местах, где они и жили, и где живут сегодня). С места на место перемещались лишь воинские отряды, владетельные князья, их двор и т. д. Они не могли существенно изменить этнический состав тех мест, куда они приходили... Но (и это важно!) они везли с собой архивы, книги, документы, а именно они давали потом названия народу, месту, городу, реке и т. п. Древние названия забывались. Те, которые мы помим сейчас, возникли в 15–17 веках ИЗ ДОКУМЕНТОВ (в той их локализации, в какой их застала книгопечатная эпоха). С распространением печатных карт названия более или менее застыли» [НХ 1: 183–184; ср. также [НХ 2: 28, 195–197]].

Надеюсь, читатель теперь уже понимает, что Темза переехала к Мраморному морю не по безумию, а по новой науке. В самом деле, представьте себе, например: живет неграмотный рыбак у реки, называет ее, допустим, Дон. Ну откуда же его сын будет знать, как ее называть, если он никогда не видел ее названия в записанном виде (да он еще вдобавок тоже неграмотный)? Но вот в их краях появился



новый, пришлый правитель. Местных жителей он, правда, не согнал, своими людьми не заменил, но прислал чиновника с документами и с картой, который им разъяснил: это река Москва. Трудность, конечно, в том, что рыбак неграмотный, а со слуха как запомнишь? Наверно, приходилось много лет подряд посылать чиновника снова и снова.

“Ну хватит уже придумывать нелепости”, — скажете вы. Тогда послушайте самих авторов, которые рассказывают нам историю названия *Монголия*. Это название «покинуло свое первоначальное место в Русско-Ордынской империи и двинулось, — лишь на бумаге, — то есть на романовских картах, — на далекий восток. При этом существенно уменьшаясь в размерах. Наконец, оно остановилось над территорией современной Монголии. Исконные жители этой области и были (на бумаге!) назначены, тем самым, “быть монголами”» [НХ 1: 401–402]. Эх, кабы китайцам в свое время познакомиться с учением А. Т. Ф.! Не надо было бы строить Великую Китайскую стену — сотни миллионов человеко-лет труда бы сэкономили: ведь никаких страшных монголов вблизи от них, оказывается, не было!

Огромную роль в построениях А. Т. Ф. играют сближения слов (т. е. сопоставления с целью показать их родство или какую-то иную историческую связь). Этот род лингвистической деятельности мы встречаем чуть ли не на каждой странице. Имеется в виду, что каждое такое сближение подтверждает какую-нибудь из идей ревизии истории (многие из этих идей ничем, кроме таких сближений, и не подкреплены). К сожалению, в подавляющем большинстве случаев эти сближения элементарно неверны.

Начнем с того, что, говоря о словах, авторы НХ обычно не уточняют, о словах какого языка (и тем более какой эпохи) идет речь. Дело не в том, что они не сообщают этого читателю. Они и сами об этом не задумываются и, как это ни дико для лингвиста, явно не считают это особо существенным. Язык выглядит в их построениях как некая более или менее однородная субстанция, разлитая по всем странам и эпохам. Такому впечатлению сильно способствует и то, что слова любых языков, кроме английского, обычно записываются в НХ без особых церемоний русскими буквами и внешне выглядят пусть как диковинные, но русские.

Разумеется, в русской транскрипции как таковой никакой беды нет, особенно в книге с популярным уклоном. Но за ширмой упрощенной транскрипции авторы сами не видят того, что в действительной фонетике соответствующего языка дело иной раз обстоит и не так, как в русском. Вот яркий пример. В рассуждении о библейском термине *Рош* авторы пишут: «Средневековые византийцы были уверены, что в этом месте книги Иезекииля речь идет о РУССКИХ и писали не “князь Рош”, а прямо — “князь Рос”» [НХ 1: 149]. Как мы видим, замена *ш* на *с* является в глазах авторов сильным аргументом в пользу их идеи. Увы, перед нами элементарная лингвистическая безграмотность. В греческом языке, на котором написаны упоминаемые сочинения, вообще нет звука [ш]! Никакого иного способа передать звук [ш] других языков, скажем древнееврейского, как в данном случае, кроме как через *σ* (в русской транскрипции — *с*), у греков нет. Например, древнееврейское имя *Šalōmōn* (š = [ш]) ‘Соломон’ заимствуется греками в виде *Σολομών*, древнееврейское *Yēšūa* ‘Иисус’ — в виде *Ἰησοῦς*, аккадское (ассиро-вавилонское) название *Aššur* ‘Ассирия’ — в виде *Ἀσσυρία*.

Надо признать, что при английском слове А. Т. Ф. иногда дает помету “английское”, но это не мешает тому, что английские слова — разумеется, в современном произношении, отнюдь не в средневековом — у него неким недоступным банально-

му уму образом оказываются актуальными для жизни любых стран и эпох, скажем, для средневековой России, Византии, Аравии. Так, например, когда авторы заявляют о связи библейского слова *Рош* со словом *Русь*, то они считают относящимся к делу и то, что «слово Россия пишется, например, по-английски как *Russia* и читается как *Раша*, т. е. это все тот же *Рош*» [НХ 1: 149]. А вот что говорится про мусульманскую эру — хиджру, или геджру (авторы называют ее “геждра”): «По-арабски название звучит так: *hiġra*, по-английски: *hegira* или *hejira*». Далее авторы обсуждают происхождение этого слова и, в частности, пишут: «Кроме того, слово “*hegira*” может быть слиянием двух: *Гог* и *эра* (напомним: *эра* = *era*), т. е. могло просто означать “эра Гога”, или “эра Готов”, эра “Монголов”» [НХ 1: 208]. Как видите, без английского языка арабам не удалось бы даже как-то назвать свое летосчисление. Поясним, что с точки зрения тех арабов, которые еще не знают учения А. Т. Ф., *hiġra* (*ġ* = [дж]) ‘переселение пророка Мухаммеда (Магомета) из Мекки в Медину’ — это обычное арабское слово *hiġra* ‘переселение, эмиграция’ (от корня *HĠR* ‘расставаться’, ‘переселяться’<sup>6</sup>) в специализированном значении и так же, как переселение пророка, обозначается и сама мусульманская эра, началом которой является это переселение.

Нужно ли говорить, что вездесущность английского языка всё же бледнеет по сравнению с вездесущностью русского. Русские слова — иногда в открытой, иногда в замаскированной форме — просто пронизывают весь Старый Свет. Например, А. Т. Ф. открыл, что библейское *Черное море* (т. е. Красное море: в древнерусском и церковнославянском *чермный* значит ‘красный’) — это Черное море [НХ 2: 161]. На всех других языках названия этих двух морей звучат совершенно по-разному; но ведь по-русски-то почти одинаково! Согласно А. Т. Ф., *скот(ты)* (жители Шотландии) — то же, что *скифы*; как он нам объясняет, свидетельством в пользу этого является то, что скифы разводили *скот* [НХ 2: 110]. А. Т. Ф. сообщает нам, что в эпоху папы Григория VII «в Риме появляется некий патриций по имени Иоанн Кресцентий — явное видоизменение евангельского имени Иоанн Креститель» [НХ 2: 252]. Конечно, по-латыни между *Joannes Crescentius* и *Joannes Baptista* ‘Иоанн Креститель’ общего мало, но кто же мешал им в Риме читать евангелие по-русски?

Все-таки есть кое-что и приятное в постоянстве законов истории: вот, например, сейчас нормальному человеку из языков, если говорить честно, ничего, кроме русского и английского, не требуется — и в прежние времена в общем-то так же было.

Значение слова у А. Т. Ф. тоже не привязано так уж жестко к какому-нибудь определенному языку. Если, например, по-гречески *βασιλεύς* значит ‘царь’, то какое может быть сомнение, что и по-русски слово *Василий* значит то же самое: «Само слово “Василий” означает попросту “царь” (= базилевс)» [НХ 1: 294]. Это дает А. Т. Ф. возможность разгадать то, что фальсификаторы надеялись скрыть навеки: *Василий Блаженный* — это *Блаженный Царь*; это был вовсе не московский юродивый, а так именовался в конце жизни не кто иной, как Иван Грозный (точнее, первый из тех четырех царей, которые, как открыл А. Т. Ф., в сумме составляют Ивана Грозного). А, например, *туркмены* — это, конечно, просто ‘турецкие мужчины’, ‘турецкие люди’: *турк-мен-ы* [НХ 1: 407].

Короче говоря, не смущайтесь, если вы не поняли, в каком именно языке происходили все те замечательные явления, которые привели к превращению пролива

<sup>6</sup> В арабском языке (и других семитских) корень состоит из согласных (обычно из трех), а гласные выражают различные грамматические значения.

(*sound*) в Темзу, — в английском или в “восточном”. Авторы не придают этому пустяку решительно никакого значения.

Обратимся теперь к технической стороне сближений. Созвучия слов обладают могучей силой эмоционального и эстетического воздействия. Это один из строевых элементов поэзии. Если два слова по звучанию похожи, значит, между ними должна быть какая-то связь — это наивно-поэтическое ощущение бывает у каждого ребенка, а многие сохраняют его и во взрослом возрасте. Древние тексты содержат множество примеров наивно-поэтического осмысления слов, в особенности собственных имен. Ср., например, в Библии: «И нарек Адам имя жене своей: Ева (по-древнееврейски *Ḥawwā*), ибо она стала матерью всех живущих (*hāy*)» (Бытие, 3, 20); «Не потому ли дано ему имя: Иаков (*Ya'aqōb*), что он запнул меня (*ya'qavēni*) уже два раза?» (слова Исава, которого Иаков дважды перехитрил, — Бытие, 27, 36) и много другого подобного.

Занятия наивной этимологизацией, т. е. поисками происхождения слова, при которых человек даже не задумывается о необходимости каких-то специальных знаний, а просто “вслушивается” в звучание слова, — вещь довольно распространенная. Для большинства тех, кто этим увлекается, это просто игра, но есть и немало лингвистов-любителей, которые принимают это свое занятие всерьез; некоторые из них даже пишут пухлые сочинения на эту тему. Контакт с профессиональными лингвистами эти люди как правило не любят.

Как это ни прискорбно, авторы книги НХ неотличимы от этой категории любителей. Они с детской наивностью убеждены, что если два слова (неважно, того же языка или разных) сходны по звучанию, то можно без всяких предварительных проверок смело утверждать, что одно из них произошло из другого или что по крайней мере они связаны родством или какой-то иной неслучайной связью. Авторы НХ не знают или не хотят знать, что уже двести лет существует научная дисциплина, разрабатывающая методы отличения родственных слов от случайно созвучных, — сравнительно-историческое языкознание.

Здесь не место пересказывать учебники. Но всё же укажем, хотя бы упрощенно, то, что принципиально важно. Фонетический облик слов изменяется не хаотически и не в индивидуальном порядке для каждого слова, а путем регулярных фонетических изменений. Регулярность изменения, скажем, звука [б] в звук [в] состоит в том, что если оно вообще происходит, то оно охватывает все [б] во всех словах данного языка. Каждое конкретное фонетическое изменение ограничено определенным языком и определенным периодом его истории. Родственные языки, вследствие того, что они испытали разные наборы регулярных фонетических изменений, оказываются связаны между собой регулярными фонетическими соответствиями, например: англ. *th* — нем. *d* (*this* — *dies*, *then* — *denn*, *feather* — *Feder*, *bathe* — *baden* и т. д.). Родство двух слов из родственных языков проявляется не в том, что они звучат одинаково, а в том, что различия в их звучании подчинены правилам фонетических соответствий.

От отношения родства двух слов лингвисты отличают отношение заимствования. Заимствование возможно как из родственного языка (скажем, слово *ксьндз* заимствовано из польского), так и из неродственного (скажем, слово *харакири* заимствовано из японского). Фонетические соотношения между словом языка-источника и словом языка-восприемника подчиняются иным правилам, чем при родстве, но и здесь это не просто совпадение звучаний.

Проверяя возможность сближения слова *a* (языка *A*) и слова *b* (языка *B*), лингвист прежде всего обязан сделать выбор между гипотезой о родстве *a* и *b* и гипотезой о заимствовании. Если принята гипотеза о родстве, то проверяется, соблюдены ли правила фонетических соответствий, связывающих *A* и *B*. Если принята гипотеза о заимствовании, то сперва должно быть определено направление заимствования. Допустим, это направление из *A* в *B*. Тогда для каждой из фонем<sup>7</sup> слова *a* проверяется, должна ли она при наложении на систему фонем языка *B* быть заменена именно той фонемой языка *B*, которую мы видим в слове *b* (излагать техническую сторону этой проверки здесь неуместно); исследуется также вопрос о том, не подверглось ли слово *b* в ходе истории языка *B* специфическим дополнительным преобразованиям, характерным для заимствованных слов. Во всех случаях, когда из истории соответствующих языков для слова *a* и/или *b* известны их более ранние формы, объектом проверок служат именно эти ранние формы, а не современные. В случае, если значения слов *a* и *b* различны, необходимо, кроме того, произвести дополнительную семантическую проверку с целью установить, могло ли одно значение развиться из другого (или оба — из некоторого третьего). Если гипотеза о связи *a* с *b* прошла все эти проверки успешно, необходимо сравнить ее со всеми теми конкурирующими гипотезами, которые тоже успешно выдерживают такие проверки, с тем, чтобы установить, имеются ли у данной гипотезы преимущества перед остальными и насколько они весомы.

В книге НХ не обнаруживается никаких следов знакомства с этими основными принципами исторической лингвистики.

“Этимологическим словарем русского языка” М. Фасмера ныне уже научились пользоваться тысячи русских людей самых разных профессий, интересующиеся происхождением русских слов. Но не наши авторы. Предлагая свои дикие этимологии, они, за исключением одного-двух случаев, просто игнорируют М. Фасмера: чем, в самом деле, М. Фасмер со всеми его рутинными параллелями из других языков, ссылками на памятники, словари, специальные исследования и т. п. так уж надежнее их самих?

Иногда под свое нежелание считаться с существующей лингвистикой авторы даже пытаются подвести некую теоретическую базу. Так, в связи с вопросом о заимствованиях они пишут: «Вообще, вопрос о том — “кто у кого заимствовал слова”, в современной лингвистике определяется исключительно на базе принятой сегодня традиционной хронологии. Ее изменение сразу меняет и точку зрения на происхождение и направление заимствования тех или иных слов» [НХ 1: 387]. Понятно, что существующую историческую лингвистику можно не принимать во внимание, коль скоро ее выводы опираются на нечто иллюзорное. К сожалению, перед нами не более, чем очередное столь же невежественное, сколь и высокомерное заявление. В действительности в лингвистике направление заимствования вообще не определяется на базе какой бы то ни было абсолютной хронологии. Оно определяется на основе того, в каком из двух языков слово является, образно говоря, инородным телом и в каком — естественным. Ср. латинское *october* и древнерусское *октябрь*: в латыни это прозрачное производное от *octo* ‘восемь’ — ‘восьмой месяц (по счету от марта)»; в древнерусском же в этом слове нельзя выделить никакого понятного корня и вдобавок сочетание *кт* на том этапе истории языка в собственно славянских словах еще не встречается; вывод: направление заимствования было из латыни.

<sup>7</sup> Для нашего изложения достаточно считать, что лингвистический термин “фонема” есть просто некоторое уточнение понятия “звук языка”.

Точно таким же путем устанавливается направление заимствования, например, в паре «русск. кашне — франц. *cache-nez* (буквально: 'спрячь нос')» или в паре «русск. закуска (где легко выделяются понятные приставка, корень и суффикс) — франц. *zakouski*».

Как мы уже говорили, используемый в профессиональной лингвистике способ сближения слов книге НХ чужд. Вместо этого используется бесхитростный критерий “внешнего сходства”. Посмотрим же, в каких случаях авторы готовы считать два слова внешне сходными. Чтобы не критиковать каждое из приводимых ниже сближений по отдельности, сразу же предупредим, что лингвистически правильного среди них нет ни одного.

В некоторых примерах из НХ внешнее сходство действительно велико, скажем, *Батый* — *батя*, *Мамай* — *мамин*. Но если бы авторы ограничивались только такими примерами, их лингвистическая деятельность быстро остановилась бы. В подавляющем большинстве случаев они удовлетворяются весьма приблизительным сходством. Не мешают сходству, в частности, любые различия внутри следующих “групп сходства”: *с – з – ш – ж*; *б – в*; *в – ф*; *ф – т*; *т – д*; *к – х – г*; *к – ц – с*; *г – з – ж*; *ч – ш – щ*; *р – л*; *н – м* (список в действительности еще неполон). Например: *гуз* (тюркское племя) — *гусь*; *Сибирь* — *север*; *враг* (*ворог*) — *варяг* — *фряг*; *Щек* — *чех*; *кир* — *сир* — *царь*; *улус* — *Русь*. Гласные вообще большого значения не имеют. Приятно, конечно, когда и гласные похожи, но если нет, то для А. Т. Ф. никакой проблемы тоже нет: в этом случае надо просто рассматривать только “костяк согласных”, о котором уже шла речь выше.

Для авторов не имеет никакого значения, относится ли сравниваемая часть слова к корню или к суффиксу. Например, *Irish* ‘ирландский’ (корень *Ir-* + суффикс *-ish*) и *Russia, Russian* — согласно НХ, одно и то же: у них одинаковый “костяк” RSH [НХ 2: 114]. И этого замечательного сравнения для А. Т. Ф. достаточно, чтобы Россия и Ирландия (в названиях которых, если не считать *-ия*, совпадает одно только *p*) оказались одной и той же страной (в прошлом). Еще один пример (доказывающий на сей раз тождество Египта и Рима): если верить А. Т. Ф. [НХ 2: 218], в Библии Египет называется по-древнееврейски *Миц-Рим*, что вслед за Н. А. Морозовым А. Т. Ф. переводит как ‘высокомерный Рим’ (нас уже, конечно, больше не должно удивлять, что сравнение здесь опирается на русское название *Рим*, а не на латинское *Roma*). В действительности библейское название имеет вид *Miṣrayim*, где *Miṣr-* — ‘Египет’, а *-ayim* — окончание двойственного числа: первоначальный смысл названия — ‘два Египта’ (Нижний и Верхний).

Всё-таки трудно не вспомнить из Гоголя: «Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай». Здесь ведь уже есть всё: и сама грандиозная идея отождествления разных стран, и, главное, метод, которым оно достигается.

Если даже все указанные степени свободы, вместе взятые, всё-таки не дают желаемого результата, то авторы НХ могут еще прочесть слово задом наперед. Это будет называться “в арабском прочтении”: см. выше *Самара* = *А-Рамас*. Можно, вообще говоря, и комбинировать: часть букв переставить, а часть нет, например, *Хорезм* — это, согласно А. Т. Ф., не что иное, как *Кострома*. Отдельными согласными можно при нужде и пренебречь. Возможны и другие вольности сверх всех указанных.

Для наглядности приведем еще несколько иллюстраций, где можно видеть разнообразные сочетания описанных выше механизмов сопоставления: «Рюрик — это

просто другая форма старого русского имени Гюргий, т. е. Георгий — Юрий» [НХ 1: 196]; Хан Хулагу — «это снова имя Георгий — Гургу, видимо, весьма распространенное среди потомков Чингиз-Хана Георгия» [НХ 1: 224]; «Но само слово “еврей” — это церковно-славянское слово и означало оно, как показывает анализ его употребления в средневековых текстах, — “жрец”, “священник”. Это просто одна из форм слова “иерей”» [НХ 2: 204–205]; «Кстати, имя Ахилл может означать противник французов: А-ГАЛЛ» [НХ 2: 293]; «Английское слово остров сегодня пишется так: island. Но что означало оно в древности? Что если это Asia-Land, т. е. азиатская страна, т. е. страна, расположенная в Азии? Без огласовок мы имеем: asialand = SLND, island = SLND, т. е. это — одно и то же слово!» [НХ 2: 95]; «Anglo-Sax — Angel Isaac» [НХ 2: 126] (имеется в виду византийский император Исаак Ангел); «“герцог” = “Ксеркс”» [НХ 2: 208]; «Имеются яркие звуковые соответствия: КРИШНА — ХРИСТОС, КРИШНА ХАРЕ РАМА (молитва кришнаитов) — ХРИСТОС КИР (ЦАРЬ) РИМСКИЙ...» [НХ 2: 239].

Иногда (очень редко) авторы считают уместным пояснить, почему они приравнивают один звук к другому. Например, они пишут [НХ 1: 102]: «Не есть ли “город Теребовль” попросту искажение “города Тверь”? Звук “Б” часто переходит в “В” и тогда без огласовок, имеем: ТРБ – ТВР». (О том, что перестановка согласных — законная операция, мы уже знаем; часть *-овль* в данном случае авторам не понадобилась). Нет даже нужды уточнять, в каком языке. Просто: “часто переходит”.

Заметим от себя: в русском языке [б] вообще никогда не “переходит” в [в]. Фонетическое изменение [б] в [в] имело место, в частности, в истории греческого языка; соответственно, буква β читалась в древнегреческую эпоху как [б], а в византийскую — как [в]. В определенных позициях такое же изменение произошло в истории, например, французского и итальянского языков. Авторы скорее всего опираются в своем утверждении на соотношение типа русск. *Варвара* — англ. *Barbara*, русск. *алфавит* — англ. *alphabet*, которое определяется тем, что в западноевропейских языках в словах, заимствованных из греческого (в данном случае через латинское посредство), отразилось древнегреческое произношение буквы β, а в русском — ее византийское произношение. Если западноевропейское слово заимствовано в русский, то уже в рамках русского языка может возникнуть соотношение типа *варвар* — *барбаризм* (лингвистический термин). Но к исконным русским словам (и вообще любым русским словам, не восходящим к греческому) всё это не имеет никакого отношения.

Приведенный пример (как, впрочем, и ряд других, уже рассмотренных выше) может служить наглядным образцом всей фоменковской научной логики в сфере лингвистики и истории. “Явление *P* в примерно таких, как у нас, случаях иногда бывает, не правда ли? Почему бы не предположить, что оно имеет место и в нашем случае?” Соответствующая научная дисциплина давно выяснила, при каких именно условиях имеет место *P*. Но А. Т. Ф. не желает об этом знать: это бы лишило его свободы мысли.

В арифметике это выглядело бы, например, так: “Квадрат числа часто оканчивается на ту же цифру, что и само число, не правда ли? Вот,  $1 \times 1 = 1$ ,  $5 \times 5 = 25$ ,  $6 \times 6 = 36$ . Почему бы не предположить, что  $7 \times 7 = 47$ ?”

Читателям, чувствительным к математической стороне любой проблемы, предлагаю самим посчитать, хотя бы приблизительно, сколько произвольных последовательностей русских букв должно быть признано по фоменковской методике сходными, допустим, со словом *Русь*. Напомню, что при установлении сходства разрешается: 1) отбрасывать все гласные; 2) переставлять согласные; 3) отбрасывать одну

согласную; 4) приравнять одну согласную к другой в рамках перечисленных выше “групп сходства”. (Читатель легко может убедиться в том, что выше в материале из НХ встречались примеры всех названных преобразований). Число получится внушительное, не правда ли? Конечно, в реальном языке далеко не всякая последовательность букв образует слово. Но всё-таки слов в любом языке очень немало — если считать и имена собственные, то сотни тысяч. А ведь можно брать слова для сопоставления не из одного языка, а из самых разных. Вот и оцените теперь, сколько примерно слов (разных языков) А. Т. Ф. имеет право при своей методике связать со словом *Русь*.

Он воспользовался этим правом очень скромно, а именно, связал со словами *Русь*, *русский* слова: *улус* [НХ 1: 163] (согласно А. Т. Ф., из этого слова слово *Русь* и произошло); *Рош* (название страны в Библии) [НХ 1: 138]; *Irish* (англ.) ‘ирландский’ [НХ 2: 114]; *Роф* (нем.) ‘конь’ («Мгновенно возникает ассоциация слова *Ross* с русскими: руссы = люди на конях, всадники, казаки!» [НХ 1: 135]); *Пруссия*, *прусы* (по А. Т. Ф. *Пруссия* = *П-Россия* [НХ 1: 402]); *Сар-* (в составе названий *Сарай*, *Саранск*, *Саратов*, *Чебоксары* и др.) и *царь* («Скопление названий типа *САР*, или *РАС*, *РОС* в обратном прочтении, мы видим сегодня ИМЕННО В РОССИИ, И ИМЕННО ВОКРУГ ВОЛГИ: Саранск, Саратов и т. п. По-видимому, имя *САР*, т. е. *РОС*, зародилось именно здесь, а затем превратилось в *ЦАРЬ* и распространилось в 14 веке на запад и на юг... А потом попало и на страницы Библии» [НХ 1: 404]).

Как всё-таки жаль, что такое большое количество не менее достойных кандидатов на родство с Русью оставлено (по крайней мере в НХ) без внимания! Например, *гис* (лат.) ‘деревня’. Правда, это сближение уже произвел А. С. Пушкин (“Евгений Онегин”, эпиграф к главе второй), но он ошибочно полагал, что это шутка, поэтому как научный конкурент он не в счет и плагиата тут не было бы. А еще: *русый*, *Руса*, *Руза*, *русалка*, *рысь*, *russus* (лат.) ‘красный’, *rosse* (франц.) ‘кляча’, *ours* (франц.) ‘медведь’, *Ruß* (нем.) ‘сажа, копать’, *rosvo* (финск.) ‘разбойник’, *Руслан*, *Руссо*, *Руссильон*, *суровый*, *сэр*, *Сура*, *Саар*, *Сирия*, *Ассирия*, *Уссури*, *эт-руск*, *зу-лус*, *Г-Рузия*, *Пе-Рсия*, *Ие-Русалит*, *Та-Руса*, *ту-русы*...

А сколько других отождествлений, которые так и просятся в “новое учение”, А. Т. Ф. всё-таки упустил! Почему бы не предположить, например, что Венеция — это Винница, Парма — это Пермь, Лукка — это Великие Луки, Кёльн — это Клин, Глазго — это Глазов, Верден — это Бородино...

Сближения слов, переполняющие страницы НХ, служат авторам для того, чтобы по-новому объяснить происхождение того или иного слова, т. е., говоря техническим языком лингвистики, предложить для него новую этимологию. К сожалению, все эти этимологии носят ярко выраженный любительский характер; в частности, все приведенные выше из НХ примеры сближений, как мы уже предупреждали, попросту неверны. “Но почему вы беретесь так категорически судить? — может спросить читатель. — Разве не является любое суждение о происхождении слова всего лишь гипотезой? Чем же одна гипотеза так уж хуже другой?”

Едва ли не самое существенное отличие любителя от профессионального лингвиста состоит в том, что для любителя каждый факт языка существует по отдельности, без связей с остальными; например, с каждым словом может происходить что-то свое. Напротив, для лингвиста каждое слово — это член многих классов слов; например, русское слово *завод* входит в класс слов с начальным [з], в класс слов с постоянным ударением на корне, в класс существительных мужского рода, в класс слов, образованных по такой-то морфологической модели, в определенный

семантический класс и так далее. Строя гипотезу о происхождении конкретного слова, лингвист ставит ее в зависимость от того, какими свойствами обладают целые классы слов, куда данное слово входит, и что с ними происходило в ходе истории. Поэтому в своих предположениях он неизмеримо более ограничен, чем любитель. Любитель же совершенно свободен: в его счастливом неведении ничто не мешает ему предложить для слова первое пришедшее ему в голову объяснение (ср. выше очаровательное по простодушию «Мгновенно возникает ассоциация...»).

Попытаюсь на примерах показать тем, кто далек от лингвистики, чем отличается лингвистически обоснованная этимология от любительского угадывания по принципу “а почему бы не предположить и такое?” Разумеется, я буду вынужден упрощать: полное лингвистическое обоснование рассматриваемых этимологий включало бы еще анализ показаний древних памятников и родственных языков и многое другое.

В НХ [1: 226] читаем: «Вот откуда пошли МУСУЛЬмане — от названия города Мосул в Малой Азии». Тем, что Мосул находится в Месопотамии, а не в Малой Азии, пренебрежем. В НХ не объясняется, что значит часть *-мане*, но судя по указанию, что *туркмены* — это ‘турецкие мужчины’, за ней стоит всё тот же МЭН, т. е. это ‘мосульские мужчины’. Сравним эту смелую новую этимологию с традиционной. По-арабски ‘мусульманин’ — *muslim(un)* (окончание *-un* может в определенных условиях отпадать). В арабском языке это слово несомненно исконно, поскольку для араба оно совершенно прозрачно: *mu-* — приставка, *SLM* — корень, *i* между *L* и *M* — носитель определенного (довольно сложного) грамматического значения. Буквальное значение — ‘покорный (подразумевается: Богу)’, ‘вручающий (Богу) свою целостность и невредимость’. Корень *SLM* ‘быть целым и невредимым’, ‘быть в безопасности’ — тот же, что, например, в *salām(un)* ‘мир’, ‘безопасность’, *islām(un)* ‘ислам’ (буквально: ‘покорность’). Добавим к этому, что арабское название Мосула — *al-Mawṣil(u)* (буквально: ‘узел, точка связи’, от корня *WṢL* ‘связывать’) — содержит другое “С”, чем *muslim(un)*, а именно, фонему *ṣ*, а не *s*, так что фонетическое совпадение здесь происходит только в русской передаче, но не в самом арабском. Арабское *muslim(un)* было заимствовано, в частности, персидским, где оно получило (с присоединением персидского суффикса *-ān*) вид *musilmān*, *musulmān*; отсюда татарское и казахское *musulman* и далее русское *мусульмане*. В русском языке *-ан-* было осмыслено как тот же суффикс, что в *горожане*, *молдаване*, *христиане* и т. п.; отсюда окончание *-е* во множ. числе и форма *мусульманин* в единств. числе.

Еще один пример: «Само название Яро-славль, вероятно означало когда-то “Славный Яр”. Яр — это название места с определенным рельефом. Это было “Славное Место”, где торговали. Естественно, здесь возник крупный город, наследовавший имя “Яро-Славль”» [НХ 1: 158]. Сравним и здесь с традиционной этимологией. *Ярославль* — первоначально притяжательное прилагательное мужского рода от имени *Ярослав*, т. е. это ‘Ярославов’ (подразумевается: город). По этой модели образованы названия многих древнерусских городов, например, *Переяславль*, *Мстиславль*, *Ростиславль* (ныне *Рославль*). Предположение, что слово *Ярославль* могло первоначально обозначать ‘славный яр’, лингвистически безграмотно: словообразовательная модель “основа существительного + основа прилагательного, от которой отсечен суффикс *-н-*, + суффикс *-ль*” не представлена в русском языке ни единым примером. Более того, она противоречит общим принципам образования сложных слов в русском языке — как древнем, так и современном (но чтобы точно сформулировать эти принципы, необходим некоторый лингвистический аппарат, который нет смысла здесь приводить). Напротив, сложное слово *Ярослав* (имя) построено в полном соответствии с принципами древнерусского словообразования



(но *яр-* здесь не от *яр* 'крутой берег, круча, обрыв', а от прилагательного *ярый*). Первоначальное значение этого имени — 'обладающий яркой (мощной) славой'. По этой модели построено значительное число других старинных русских слов, в том числе имен, например: *Ярополк* (первоначально: 'обладающий ярым (яростным) войском'), *пустодом* 'тот, у кого дом пустой', 'плохой, незапасливый хозяин', *златоуст* 'красноречивый человек' (буквально: 'обладающий золотыми устами') и т. п. Такая этимология имени *Ярослав* активно поддерживается также тем, что обе части этого имени хорошо представлены и в других древних славянских именах, ср. *Ярополк*, *Яромир*, *Ярогнев* и др., *Святослав*, *Доброслав*, *Вячеслав*, *Мстислав* и др.

Разбирать далее поштучно этимологическую продукцию А. Т. Ф. незачем. Скажу коротко: с точки зрения серьезной лингвистики ее ценность равна нулю.

Ту же цену, естественно, имеют и все те построения исторического характера (например, отождествление некоторых двух стран, народов, городов и т. п.), которые целиком опираются на лингвистический аргумент — сходство соответствующих названий. Лишаясь лингвистического прикрытия, эти построения предстают в своем подлинном виде — как чистое гадание. К научному исследованию они имеют примерно такое же отношение, как сообщения о том, что автор видел во сне.

Не следует думать, впрочем, что лингвистические открытия А. Т. Ф. касаются только таких частных вопросов, как происхождение того или иного слова. Как и при ревизии истории, в вопросах лингвистики он предпочитает действовать с подлинным революционным размахом, не мелочась. В мясорубку фоменковской научной революции идут целые языки и целые письменности.

Мы узнаём, например, что еврейским (= древнееврейским) языком называлось прежде не что иное, как греческий язык, записанный египетскими иероглифами. Цитируем: «Итак, наша гипотеза состоит в следующем: 1) "Еврейский язык", упоминаемый в церковных текстах — это просто иероглифическая система записи греческого языка. Это — письменность, а не устный язык. При переходе с еврейского языка на греческий изменилась лишь система письменности. Устный язык остался, естественно, прежним. 2) Множество текстов на исходном еврейском языке было высечено на камне и сохранилось до сих пор. Это — египетские иероглифы, которыми покрыты огромные площади стен древнеегипетских храмов (т. е., по нашей гипотезе, нудо-христианских и христианских храмов 10–15 веков)» [НХ 2: 199].

Шампольон, расшифровавший — как мы думали до А. Т. Ф. — египетские иероглифы, не заметил, что за этими иероглифами стоит просто греческий язык. Не заметили этого за двести лет и все последующие египтологи: составляли толстые словари и грамматики, корпели над переводом текстов — а всего-то надо было взять с полки греческий словарь! А. Т. Ф., конечно, не изучал сколько-нибудь серьезно ни египетских иероглифов, ни древнеегипетского языка, ни древнееврейского, ни древнегреческого (во всяком случае в НХ нет никаких следов такого изучения). Но зато ведь он открыл, как мы уже видели, что слово *еврей* — это то же, что *иерей* (разумеется, в русском языке, сфера действия которого, как известно, с успехом покрывает и Египет, и Палестину, и Грецию); а отсюда уж рукой подать до слова *иероглиф*. Какое же после этого иероглифическое письмо, как не еврейское?! Разве один этот аргумент не перевешивает всей традиционной рутини? И вообще, разве один абзац А. Т. Ф. не перевешивает пуды трудов всех этих копошащихся в мелочах филологических муравьев?

Позволим себе не входить в обсуждение этого великого переворота одновременно в египтологию, гебраистику и эллинистику. Выразим лишь восхищение скром-

ностью авторов НХ, которые, имея такие беспредельные возможности, ограничились отменой (или склеиванием воедино) всего нескольких языков, а множество других на радость традиционалистам оставили как есть.

### Тезис о вселенской фальсификации письменных памятников

Рассмотрим теперь некоторые проблемы (лингвистические и иные), связанные с фоменковской концепцией происхождения древних письменных памятников.

Согласно А. Т. Ф., на Руси нет ни одного списка ни одной летописи, который был бы написан раньше знаменитой Радзивилловской летописи, — по той простой причине, что все прочие списки прямо или опосредованно списаны с нее; сама же Радзивилловская летопись изготовлена кенигсбергскими немцами к моменту проезда Петра I через Кенигсберг.

Правда, Радзивилловская летопись написана на бумаге с водяными знаками (филигранями) 80–90-х годов XV в. Но А. Т. Ф. это не смущает. По его мнению, немцы могли просто взять запасы старой бумаги, чтобы подделка была правдоподобнее [НХ 1: 48]. А главное, объясняет он нам, датировки филиграней привязаны к традиционной (“скалигеровской”<sup>8</sup>) хронологии, следовательно, филигранные вообще нельзя использовать для датирования в ситуации, когда вся традиционная хронология поставлена под сомнение.

Мы не будем здесь распутывать весь этот клубок нелепостей всерьез. Отметим лишь немного.

«Насколько нам известно, — пишут авторы НХ, — летописей, написанных на пергаменте, вообще не существует (во всяком случае, нам не удалось найти упоминания о таких летописях в литературе)» [НХ 1: 45]. Для аргументации авторов это обстоятельство существенно, поскольку на пергаменте писались русские книги XI–XIV вв., а в течение XV в. он постепенно почти полностью выходит из употребления, уступая место бумаге; отсутствие пергаментных летописей должно подтверждать их версию о позднем происхождении всех русских летописей.

Действительно, авторам известно не всё: Синодальный список Первой новгородской летописи и Лаврентьевская летопись написаны-таки на пергаменте. Но самое впечатляющее свидетельство степени научной добросовестности авторов и их уважения к читателю мы находим на стр. 391 того же тома их собственной книги, где в цитируемых авторами выдержках из Н. А. Морозова, посвященных Лаврентьевской летописи, значится: «Это рукопись на пергаменте». Да ведь и то сказать: откуда же в самом деле авторы могли знать, когда они писали 45-ю страницу, что они напишут на 391-й?<sup>9</sup>

Авторы не сообщают читателю о том, что филигранные XV в. стоят не только на Радзивилловской летописи, но и на ряде других летописных списков, а филигранные XVI и XVII вв. — уже на десятках таких списков. Выходит, что многочисленные писцы, переписывавшие Радзивилловскую летопись (в XVIII в., как говорит нам А. Т. Ф.), тоже были не так просты: прежде, чем начать писать, они обзаводились несколькими сотнями листов бумаги 200-летней давности (а уж где ее взять, это бы-

<sup>8</sup> По имени ученого XVI в. Ж. Ж. Скалигера, разработавшего приемы пересчета различных древних летоисчислений на юлианский календарь.

<sup>9</sup> Вообще книга НХ написана очень небрежно: изложение все время перескакивает с одной темы на другую, масса повторений, полный беспорядок в форме подачи разбираемых слов, приводимые названия нередко перевраны (например, вместо *Хольмгард* дается *Хольмград*, пишется то *Кенигсберг*, то *Кенигсберг*, вместо *геджера* регулярно пишется *геждра*, вместо *тамга* — обычно *тагма* и др.). Но смешно говорить о таких мелочах, когда речь идет о революции в науке.

ло их дело). А ссылка на “скалигеровскую” хронологию, из-за которой филигрании якобы вообще непригодны для датирования, — это, увы, элементарная подтасовка: ведь речь здесь идет не о древнем мире, а о XV–XVIII веках, а даже по собственным словам А. Т. Ф. после XIV в. датировки событий в Европе “стали достоверными”.

Что касается тезиса о том, что все прочие летописи списаны с Радзивилловской, то он мог родиться только у человека, никогда не имевшего дела с серьезной текстологией. А. Т. Ф. в очередной раз высокомерно игнорирует существование целой научной дисциплины — в данном случае текстологии. Между тем эта дисциплина располагает чрезвычайно скрупулёзной методикой установления филиации рукописных списков (т. е. последовательности, в которой одни списки списывались с других). Серьезная текстология с полной надежностью показывает, что Радзивилловская летопись является лишь одной из ветвей более ранней летописной традиции. Абсолютная непрофессиональность утверждений А. Т. Ф. на эту тему проявляется, в частности, в том, что он путает “Повесть временных лет” (доходящую лишь до 1110-х годов) с полным содержанием Радзивилловской летописи (доходящей до 1206 г.). О списывании, скажем, Ипатьевской летописи с Радзивилловской вообще не может быть и речи (даже если забыть о том, что в Ипатьевской летописи филигрании примерно на 70 лет старше, чем в Радзивилловской), поскольку на протяжении XII в. их сообщения совершенно различны — по выбору упоминаемых событий, объему (Ипатьевская летопись подробнее) и стилю.

Понятно, что с отменой “первородства” Радзивилловской летописи рухнет и вся фоменковская картина русского летописания. Имеет смысл, однако, отдельно разобрать следующий общий тезис, провозглашаемый А. Т. Ф. и кардинально необходимый для всех его построений: в истории как России, так и многих других стран имела место массовая фальсификация памятников письменности.

По концепции А. Т. Ф., сколько-нибудь достоверная история России начинается только с XIV в. Всё, что было до этого, практически неизвестно: это “темные” века. Люди, которые, согласно летописям, жили в эти века, в действительности никогда не существовали. Правители — это “дубликаты”, т. е. фантомы, литературные тени, реальных правителей, живших на четыре века позже, прочие лица — чистая выдумка. Из событий, которые мы привыкли относить к этой эпохе, малая горсточка — это тоже “дубликаты” позднейших событий русской истории, вся масса прочих — плод либо аберрации, либо сознательной фальсификации со стороны тех, кто в XVII–XVIII веках сочинял русские летописи.

Но как быть с древними актами и книгами, где выставлена дата, а нередко еще и имя правящего князя? Например, в Остромировом евангелии указана дата 6565 (“от сотворения мира”; это 1057 г. нынешнего летосчисления) и имя князя: Изяслав. В Святославовых изборниках указаны даты 6581 (1073 г.) и 6584 (1076 г.) и имя князя: Святослав. Ведь эти записи согласуются с летописью, где сказано, что в 1054–73 гг. правил Изяслав, а в 1073–76 гг. — Святослав. Для XI–XIII вв. таких записей не очень много, но некоторое количество всё же есть. “Что за проблема? — с легкостью ответит нам А. Т. Ф., — откуда мы знаем, что все эти даты истинны? Всё можно подделать, а уж выставить ложную дату — проще всего”.

Идея фальсификации (прямой подделки или тенденциозной переделки уже существующего текста) является, наряду с идеей всеобщего беспамятства народов, одним из двух главных рычагов фоменковского объяснения того, как человечество впало в совершенно ложные представления о своем прошлом. Фоменковский мир населен фальсификаторами, как босховский мир чудовищами. А уж профессия ис-

торика и профессия мошенника — в глазах А. Т. Ф. почти одно и то же. Если верить А. Т. Ф., в XVII–XVIII вв. в России действовала едва ли не целая государственная служба фальсификаторов истории, которые уничтожали или искажали до неузнаваемости сотни и тысячи старых письменных свидетельств и сочиняли фиктивную историю, заказанную властью. И, конечно, по концепции А. Т. Ф., подобное происходило не только в раннеромановской России, но (тогда же или несколько раньше) также и во многих других странах.

Я не берусь здесь обсуждать деликатный вопрос о том, везде ли и всегда ли отношения книжников с властью были таковы, что по указке власти они с готовностью садились за сочинение фиктивной летописи. Меня интересует совершенно другой, вполне технический вопрос: мог ли такой книжник выполнить эту задачу успешно, т. е. так, чтобы его продукция не оказалась потом шита белыми нитками.

Нет никакого сомнения, что практика фальсификации письменных документов существовала и существует. Среди исторических документов ее объектом почти всегда являются акты, дающие право на собственность или на титулы. Как известно, среди старых русских актов выявлено — по разным признакам — некоторое число “подложных” (т. е. поддельных). В отношении некоторых актов ведется дискуссия — подлинные они или подложные. Но коль скоро этот вопрос решается без полной очевидности, то почему не предположить, что акт, который мы считаем подлинным, — это просто более искусная, чем остальные, подделка? Возможно ли это? Да, в принципе возможно — особенно если фальсифицировано только содержание акта (скажем, кому именно даруется нечто), а дата истинная или не очень сильно отличается от истинной (скажем, в пределах полувека). Если же мы имеем дело не с рядовым, а с гениальным фальсификатором, то он может обмануть нас и гораздо сильнее.

Но раз такое всё же возможно, то почему не допустить и версию А. Т. Ф., который предполагает массовую фальсификацию? Почему не допустить, в частности, что имеющиеся ныне памятники XI–XIII вв., т. е., по А. Т. Ф., “темного” доисторического времени, как раз и сфальсифицированы? Попробуем представить себе эту ситуацию несколько яснее.

Прежде всего, фальсификаторы должны были изобрести древнерусский язык XI–XIII вв. Как мы знаем сегодня, этот язык отличался не только от русского языка XVII в., но даже и от языка XIV в. “Да ровно ничего вы, лингвисты, на самом деле не знаете, — скажут фоменковцы, — вы просто принимаете за древнерусский язык XI–XIII вв. именно то, что эти фальсификаторы XVII в. выдумали”.

Такая версия может удовлетворить только людей, никогда не задумывавшихся над тем, какой колоссально сложный и деликатный механизм представляет собой язык. Это верно для любого языка, взятого в определенный момент его существования. И эта сложность еще многократно возрастает, если речь идет о жизни языка на протяжении многих веков. За это время язык испытывает непрерывное постепенное изменение: каждый его элемент проходит определенную эволюцию, сложным образом сопряженную с эволюцией всех прочих элементов. Картина осложняется еще и тем, что внутри языка существуют многочисленные диалектные различия.

Вот единичный пример (для упрощения даем письменные формы, а не фонетическую транскрипцию; даты огрублены): словоформа ‘шлю’ выглядит в новгородском диалекте древнерусского языка в XI и 1 четв. XII в. как *сьлю* (буква ь передает здесь особый редуцированный, т. е. ослабленный, гласный звук); во 2–4 четв. XII и 1 пол. XIII в. как *сьлю* или *сю*; во 2 пол. XIII и 1 пол. XIV в. как *сю* или *шлю*; во

2 пол. XIV в. и позднее — как *шлю*. И таких строк в принципе можно выписать по числу словоформ (которых сотни тысяч), умноженному на число диалектов (разумеется, на деле историки языка пользуются не такими “атомарными” записями, а определенными обобщающими формулами). Приведенный пример иллюстрирует фонетическую эволюцию. Но эволюционирует также и морфология, синтаксис, словарный состав.

По многим десяткам параметров памятники древнерусского языка XI–XIII вв. обнаруживают на протяжении этого периода плавную кривую эволюции (которая продолжается затем в последующие века). В частности, именно в этот период происходит самое важное фонетическое изменение в истории русского языка — исчезновение редуцированных гласных (одним из проявлений которого является, например, приведенный выше переход *сьлю* в *сью*). Некоторые слова, грамматические формы, окончания и т. д. на протяжении этого периода бесследно исчезают, так что человеку не только XVII, но и XIV века они уже неизвестны. Простой пример: древние имена *Изяслав*, *Брячислав*, *Всеслав*, *Ярополк*, *Доманег*, *Ратибор*, *Рожнет* и множество подобных в летописях встречаются только в сообщениях X–XIII вв., но не позднее. (Из этого еще не следует, однако, что фальсификаторы XVII в. могли бы такие слова и формы и такие имена просто выдумать из головы: их реальность подтверждается современным сравнительным языкознанием, учитывающим данные всех древних и новых славянских языков и диалектов).

Еще один непреодолимый барьер для версии о массовой фальсификации составляют начертания букв — предмет палеографии. Формы букв, подобно языку, с течением времени медленно изменяются. Знание этих изменений позволяет датировать документ — обычно с точностью до 50–100 лет. Так, например, палеографический анализ берестяных грамот XI–XV вв. выявил в начертаниях различных букв более 300 элементов, которые проходят за эти пять веков ту или иную эволюцию и тем самым заключают в себе определенную хронологическую информацию. Фальсификатор XVII в., подделывающий рукопись, допустим, XIV в., непременно должен держать перед глазами образец подлинного письма XIV в. и срисовывать каждую букву, причем даже и в этом случае только исключительно талантливые воспроизведут все начертания без искажений. А для “темных” веков он должен сам изобрести более ранние формы всех букв, но так, чтобы эволюция каждой из них при их последующем анализе в XX в. оказалась плавной. При каждой подделке он должен твердо помнить, какой век и какую его половину он подделывает, и пускаться в ход строго определенных начертания из тех, которые он изобрел.

Помимо палеографии, хронологическую информацию несут еще графика (т. е. сам инвентарь используемых букв) и орфография. Например, фальсификатор должен был бы изобрести (и далее уже неуклонно соблюдать в своей практике) правило о том, что буква *ж* (один из способов записи звука [y]) употребляется в рукописях только до начала XII в. и после конца XIV в., а в промежуточное время не употребляется, или о том, что от века к веку определенным образом изменяется характер распределения на письме *оу* (еще один способ записи для [y]) и *у*, букв *о* и *ω*, букв *и* и *і*, и много-много другого в этом роде.

Допустить, что всю эту картину раннего древнерусского языка и его постепенной эволюции от памятника к памятнику, вместе с параллельной эволюцией палеографии, графики и орфографии, могли искусственно создать фальсификаторы XVII в., можно лишь ровно в той же мере, как то, что дети в детском саду, играя детальками и проволочками, могут собрать компьютер.

Ну а теперь напомним, как происходит изготовление Радзивилловской летописи в изложении авторов НХ. «Ее изготовили в Кенингсберге в начале 18 в., по-видимому, в связи с приездом туда Петра I и непосредственно перед этим приездом» [НХ 1: 74]. Кое-что брали из какой-то «действительно старой летописи 15–16 веков», а всё, что требовалось по их замыслу, сочиняли сами. Делали это, естественно, немцы<sup>10</sup>. А что? Почему бы в самом деле немцам не овладеть для такого случая древнерусским языком и палеографией? Времени у них, правда, было маловато. Авторы НХ красочно описывают обстановку их труда: «Кенингсбергские мастера спешно готовили рукопись к приезду Петра в Кенингсберг. Как всегда, в таких случаях объявляется аврал. Петр уже въезжает в город, а они еще не закончили миниатюры! Вбегает разгневанный чиновник, требует прекратить работу с миниатюрами...» и т. д. [НХ 1: 73]. Короче говоря, действовали в типичной немецкой манере. А смотрите-ка, не так плохо получилось: за двести с лишним лет ни один лингвист не заметил никакой ни палеографической, ни орфографической, ни грамматической, ни стилистической фальши — не догадались даже о том, что это вышло из-под руки иностранца!

Представим себе теперь, что вопрос о подделке письменных памятников стоит не для древнерусского языка, а для латыни, и не для трехвекового интервала, а для периода в две тысячи лет — от середины I тысячелетия до н. э., когда появляются первые памятники на латыни, примерно до середины II тысячелетия н. э. За это время живая (народная) латынь развилась в целую группу родственных языков (романских), с множеством диалектов внутри каждого из них. Кроме того, литературная латынь в почти застывшей форме продолжала использоваться в Западной Европе в качестве языка официальных документов, религии, летописания, науки. Эта ее форма тоже не оставалась неизменной, но здесь изменения во времени были не столь радикальны (они в основном касались лишь словарного состава языка). На латыни до нас дошло громадное количество рукописей и надписей, причем значительная их часть относится (разумеется, по традиционным представлениям) ко времени ранее II тысячелетия н. э. Сюда входит как обширная художественная, религиозная и научная литература, например, сочинения Плавта, Цезаря, Горация, Вергилия, Тацита, отцов церкви и бесчисленного количества других авторов, так и официальные и деловые документы всех типов и всевозможные надписи. Ныне усилиями очень большого числа филологов и лингвистов этот громадный материал в наиболее существенных чертах изучен (хотя работы остается еще чрезвычайно много). Открылась картина плавного изменения языка от века к веку по сотням параметров. При этом одна цепочка изменений, прослеживаемых по письменным памятникам, приводит от народной латыни, скажем, к гасконскому диалекту французского языка, другая к кастильскому диалекту испанского языка, третья к венецианскому диалекту итальянского языка и т. д. по всем языкам и диалектам. Особая цепочка изменений отражает движение литературной латыни от классической формы к средневековой.

Бросим взгляд еще и на латинские стихи. В классической латыни стихосложение основано на ином принципе, чем в любых современных европейских языках: для него существенно различие кратких и долгих гласных, например, *a — ā, i — ī, u — ū* (на письме это различие в нормальном случае не отражается). Не зная, какая глас-

---

<sup>10</sup> Вспомним всё из того же Гоголя: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается».

ная во взятом слове долгая и какая краткая, нельзя правильно построить даже и одной стихотворной строки (а до нас дошли тысячи страниц античных стихов). Между тем в ходе эволюции латыни различия гласных по долготе утратились. В романских языках от них остались лишь косвенные следы (в каждом языке свои); например, латинское долгое *i* в итальянском языке превратилось в *i*, а латинское краткое *i* — в *e* (в действительности большинство правил такого рода имеет гораздо более сложную структуру). Чтобы достичь той картины, которую мы сейчас реально наблюдаем, средневековый фальсификатор должен был бы: 1) изобрести для латыни особый принцип стихосложения, отличный от стихосложения всех известных ему живых языков; 2) составить реестр всех латинских слов с указанием долготы или краткости каждой гласной каждого слова и при сочинении стихов уже никогда не отступать от того, что записано в этом реестре; 3) во всех случаях, когда долгота или краткость гласной оставила какой-то след в романских языках, принять для реестра именно то решение, которое согласуется с показаниями романских языков (последнее, конечно, требует ни много ни мало знания сравнительной грамматики романских языков, разработанной в XIX–XX вв., не говоря уже о самих принципах сравнительно-исторического языкознания, открытых в XIX в.).

Не будем повторять сказанное выше о палеографии, графике и орфографии.

Таковы контуры того астрономического объема информации и тех способов ее переработки, которыми должен был бы владеть предполагаемый фальсификатор, чтобы предложить миру выдуманную из головы латынь (вместе с текстами на ней), не противоречащую показаниям реальных романских языков.

Но даже и это еще не всё. Если латынь — это изобретение средневекового фальсификатора, то он несомненно должен был знать сравнительную грамматику не только романских языков, но и всей индоевропейской семьи языков в целом. Дело в том, что, придумывая латынь, он ввел в нее множество слов и грамматических форм, которые не оставили никаких следов в романских языках, зато находят правильные соответствия в том или ином языке из других ветвей индоевропейской семьи. Например, он придумал для латыни весьма непростую систему склонения существительных, включающую шесть падежей и пять типов склонения (с подтипами), с многочисленными чередованиями в основах и с целым рядом индивидуальных отклонений различного рода. В романских языках ничего этого нет: существительные здесь вообще не склоняются (если не считать небольших остатков прежней системы склонения в румынском). Между тем в санскрите (древнеиндийском), древнегреческом, готском, старославянском и других древних индоевропейских языках система склонения организована примерно так же, как в латыни, и очень часто сходится с латинской и в конкретных деталях. При этом совершенно невозможно объяснить такое сходство тем, что изобретатель латыни скопировал эту систему с какого-то одного языка, скажем, с древнегреческого: в латыни обнаруживаются многочисленные элементы, отсутствующие в древнегреческом, но имеющие точные соответствия в каких-то других индоевропейских языках. Из множества возможных примеров ограничимся двумя. В латыни по воле ее изобретателя в винительном падеже единств. числа существительные мужского и женского родов оканчиваются на *-m* (например, *terram* 'землю', *manum* 'руку', *leōnem* 'льва'). Ни в каких других древних или новых языках Европы конечного элемента *-m* в этой форме нет. Зато именно *-m* имеют в этой форме санскрит (например, *vidhavām* 'вдову', *gurum* 'учителя', *rājānat* 'царя') и древние языки Ирана. И тот и другие стали известны в Европе лишь со второй половины XVIII в. Другой пример. Изобретатель латыни, считая за чем-то нужным время от времени приправлять сочиненную им грамматику необъяс-

нимыми исключениями, в качестве одного из таких исключений записал, что слово *fetur* 'бедро' образует косвенные падежи от основы не с *r*, а с *n*: *femin*<sup>11</sup>. И вот оказывается, что есть индоевропейский язык, где чередование "r в исходной форме — n в косвенных падежах" совершенно обычно. Это хеттский — один из языков Малой Азии II тысячелетия до н. э.; например, хеттское *ešhar* 'кровь' образует косвенные падежи от основы *ešhan*-. Этот язык был расшифрован лишь в начале XX в. Нам ничего не остается, как признать за предполагаемым изобретателем латыни поистине сверхчеловеческое всезнание.

А теперь послушаем на эту тему авторов НХ: «... в 12–13 веках было, по-видимому специально, создано два новых письменных языка... — церковно-славянский и латинский. Они предназначались соответственно для стран Восточной и Западной Европы» [НХ 2: 265]; лишь в 13–15 веках в богослужении греческий язык «был заменен на Западе латинским языком — то есть итальянским, смешанным с греческим» [НХ 2: 183]. Вот так, не больше и не меньше. А вот и о латинских авторах: «... любой древний первоисточник, который не сосредотачивает основного внимания на церковном освещении всех описываемых в нем событий, — это, скорее всего, поздняя историческая беллетристика 15–18 веков... Яркие примеры — Истории Тита Ливия и Корнелия Тацита» [НХ 2: 231].

Что сказать на это? Поистине, как сказано в Книге пророка Даниила: взвешен и найден очень легким.

Далее. Согласно фоменковской схеме, даты и упоминания князей в древнерусских рукописях и актах, традиционно относимых к XI–XIII вв., — сплошь поддельные, выдуманные. Выдуманы и многие более поздние записи, например, многочисленнейшие записи в актах и книгах (в том числе печатных!) XVI в., гласящие, что текст писан (печатан) при царе и великом князе Иване Васильевиче (т. е. том самом Иване Грозном, который создан, как мы знаем от А. Т. Ф., фантазией романовских историков).

Допустим на минуту, что А. Т. Ф. прав: все эти даты придумал фальсификатор конца XVII в. Взглянем же на этого анонимного гения и преклонимся перед ним: он сумел согласовать все эти записи в разных книгах между собой и с выдуманной летописью, сумел четко держать в памяти генеалогии всех своих выдуманных героев, со всеми их братьями, детьми и прочими родичами, приписанные им даты жизни, их размещение по городам и волостям, их выдуманные войны и миры, ложные даты основания церквей, имена никогда не существовавших епископов и т. д. Но он один всё-таки физически не мог изготовить всю необходимую массу поддельных документов. Конечно, работало много людей. Были рядовые исполнители и был штаб, который разрабатывал фальшивую историю и следил за тем, чтобы исполнители не отклонялись от Генерального плана фальсификации. Информация, стекавшаяся в штаб, была необъятной. Россией, конечно, дело не могло ограничиваться. Например, в штаб поступали сведения о том, что в исландских сагах в рассказах о событиях XI в. фигурирует русский конунг Ярицлейв, и надо было придумать фигуру Ярослава Мудрого. А во французских хрониках в XI в. значится королева Анна из Руси, и надо было не забыть сочинить для Ярослава дочь Анну. А еще ведь были и венгерские, польские, немецкие, византийские и прочие хроники. Нельзя же было, например, вставлять в сочиняемые русские летописи упоминания венгерских или

---

<sup>11</sup> Мена гласных *u/i*, в отличие от мены *r/n*, здесь не аномальна: она определяется некоторыми общими правилами латыни.



польских королей наобум — приходилось узнавать их имена и годы царствования из этих хроник. Трудная была работа, но штаб работал на совесть. Тут, правда, надо учесть, что во всех этих странах, как учит нас А. Т. Ф., конечно, действовали и свои фальсификаторы. Так почему бы не предположить, что российский штаб просто согласовывал свои действия с ними? Посылали гонцов с просьбой того из летописи убрать, того на сто лет подвинуть. Ну что тут такого в конце концов?

Но всё-таки самое трудное было не с рукописями. Рукопись подделал и ставь на полку. Сложнее было изготавливать надписи на предметах. Надо было, например, рассылать агентов писать надписи с фальшивыми именами и датами на стенах церквей — в Киев, в Новгород, в Смоленск и много куда еще. Хорошо, если просто приехал и нацарапал. А если в церкви старый пол уже перекрыт новым, на метр или два выше? Штаб понимал: если написать на стене, которая видна сейчас, потомки живо разоблачат — это ведь будет на высоте в два человеческих роста от древнего пола. Приходилось разбирать новый пол, залезать под него, лежа, задыхаясь, писать на стене то, что приказано штабом (не забывая, конечно, соблюдать и палеографию и орфографию заказанного века и диалектные особенности), а потом восстанавливать разобранный новый пол — да не как попало, а так, чтобы будущие археологи ничего не заметили. А сколько возни было со штукатуркой! Ведь напиши по новой штукатурке — и подлог ясен. Надо было ее сбить, написать на голой стене и аккуратненько заштукатурить заново. Зато через триста лет реставраторы снимут штукатурку и наивно обрадуются: “Надпись! Эта уж несомненно древняя!”

И уж совсем беда с надписями, зарываемыми в землю, — скажем, на бересте. Возьмем новгородские берестяные грамоты. В них ведь постоянно обнаруживаются совпадения с летописью. Например, в слоях, которые археологи оценивают как 2 пол. XIV — начало XV в., близ древней улицы, именуемой на старых планах Космодемьянней, найдено несколько грамот, адресованных Юрию Онцифоровичу, — и к этому же времени относится, согласно новгородской летописи, деятельность посадника Юрия Онцифоровича; а в записи к новгородскому прологу (сборнику житий) с датой 6908 (т. е. 1400 г.) Юрий Онцифорович назван в числе бояр Космодемьянней улицы. На том же участке раскопок в слоях 1 пол. XV в. найдены письма к Михаилу Юрьевичу, сыну посадничьему. А в слоях середины XIV в. найден ряд писем к посаднику Онцифору — и по летописи посадничество Онцифора Лукиничича (отца Юрия Онцифоровича) приходится именно на этот период. А еще несколько глубже найдено письмо Луки — и по летописи отцом Онцифора был Лука Варфоломеевич. А еще несколько глубже найдено письмо Варфоломея — и по летописи отцом Луки был посадник Варфоломей Юрьевич. Если все эти совпадения обеспечил штаб фальсификаторов, значит, он работал блистательно: подделать берестяные грамоты и закопать их на правильных глубинах было, конечно, куда как нелегко! В XVII в. уже ведь и другие дома стояли на этих местах, надо было иной раз прямо под дом подкапываться (а хозяев, если ворчали, устраивать).

Но тут возникает сомнение: а вдруг это не поддельные грамоты, а подлинные? Вдруг их никто специально не закапывал? Ведь по фоменковской схеме XIV век на Руси — это уже историческое время, а не “темное” доисторическое. Но нет, это невозможно: ведь мы знаем от А. Т. Ф., что истинный Великий Новгород был в Ярославле, а затрапезный городишко на Волхове никакой древней истории попросту не имел, он никогда ни с кем не торговал и вообще лежал вдалеке от всех мыслимых торговых путей (см. [НХ 1: 152–153]). Имя Новгород, как говорит нам А. Т. Ф., этот городишко получил потом — примерно таким же путем, как нынешние монголы название “монголы”.

А всё-таки точно ли, что Великий Новгород — это Ярославль? О, да! В чем-то другом еще можно сомневаться, но не в этом. Ведь авторы НХ прямо говорят [НХ 1: 382]: «... мы не настаиваем буквально на всех перечисленных выше идеях, поскольку наше исследование носит пока предварительный характер. Тем не менее есть несколько основных опорных точек, в справедливости которых, как нам кажется, трудно сомневаться». В число этих опорных точек, наряду с тем, что Батый = Иван Калита, Георгий Данилович (брат Ивана Калиты) = Чингиз-хан, “Иван Грозный” — это “сумма” нескольких отдельных царей, и другими пунктами, входит: Великий Новгород = Ярославль.

Разумеется, агенты подкладывали свои фальшивки не только в слой XIV в., но и глубже. Например, фальсификаторы включили в летописный список новгородских посадников конца XI — начала XII в. Гюряту — и было приказано закопать в соответствующих слоях письмо к Гюряте; оно было найдено в 1999 г. (а каким великолепным древнерусским языком написано! — если не знать, то никогда и не догадаться, что поддельное). Они написали в летописи, что в 1142–48 гг. в Новгороде княжил Святополк — и для правдоподобия в слой середины XII в. была подложена грамота с именем Святополка. Они изобрели фигуры князей-мучеников Бориса и Глеба, которые якобы были убиты в 1015 г., а в 1071 г. якобы провозглашены святыми, — и позаботились о том, чтобы в слоях 2 пол. XI в. лежала грамота с упоминанием святых Бориса и Глеба. Агенты занимались еще и тем, что в избытке закапывали в новгородской земле печати с именами названных в летописи (разумеется, никогда не существовавших) епископов, князей и посадников.

Мы говорим: слой XIV века, слой XI века. Но это просто нынешние археологи так думают. Они, правда, ссылаются на типы находимых предметов и на дендрохронологию (датирование по годовым кольцам деревьев); но об этих пустяках А. Т. Ф. даже и слышать ничего не хочет. Что на какие глубины закапывать — это в свое время решил штаб фальсификаторов. Археологи считают, что в Новгороде культурный слой нарастал в среднем на 1 см в год. А ведь это просто штаб принял именно такую цифру в инструкции для своих агентов: исходя из этого расчета они и должны были закапывать свои фальшивки. И как замечательно рассчитано: ведь прими штаб цифру 2 см в год — и агенты закапывали бы фальшивые грамоты XI века уже не в культурный слой, а в материковый грунт; тогда археологи XX в. сразу догадались бы, что перед ними фальшивки. Но не надо удивляться: мы уже видели, что штаб фальсификаторов располагал объемом информации, ненамного уступающим Интернету.

Конечно, и после всего этого иной раз зашевелится какое-нибудь сомнение, например: а откуда вообще в затрапезном городишке на Волхове восьмиметровый культурный слой? Но всего не угадаешь. В штабе поумнее нынешних люди были. Наверно, откуда-нибудь привозили — из Ярославля, может быть.

Как ни тяжело было штабу российских фальсификаторов, всё же надо честно признать, что их западноевропейским коллегам было еще тяжелее. Им ведь надо было заполнить поддельными рукописями и ложными указаниями дат целое тысячелетие, выдуманное, как мы знаем теперь от А. Т. Ф., Скалигером. Одних только летописей, напичканных датами, сколько надо было сочинить по-латыни, а сколько разных трактатов, посланий, актов, часто с датами! Ведь нынешние западноевропейские книгохранилища и архивы, да и многие старые монастыри просто ломаются от них. А для имитации последних веков этого фальшивого тысячелетия волей-неволей потребовалось уже сочинять и по-древнеанглийски и по-древневерхненемец-

ки и еще на десятке древних языков. Приходилось целые тайные лингвистические академии держать. Да и с подделкой литературных сочинений тоже были проблемы. Оно, конечно, сочинить стихи Катулла, речи Цицерона или там, допустим, “Энеиду” Вергилия — дело нехитрое: ведь на самом-то деле никакого Катулла не было, поэтому что фальсификатор ни сочинит, то и будет считаться Катуллом. Помнится, правда, со стихосложением были какие-то лингвистические зацепки. Ну а лингвистическая академия на что? Вы скажете: “А талант?” Так ведь и наши труженики тоже не лыком шиты были; а главное, очень старались. Беда только в том, что было еще задание всех этих Цицеронов для вящего правдоподобия надежно друг с другом переплести — взаимными ссылками, цитатами, подражаниями, эпистолами от одного к другому и т. п. И нужно было твердо помнить, что, например, в Марциала можно вставлять ссылки на Катулла, а наоборот нельзя, поскольку в Генеральном плане фальсификации выдуманный Катулл был приписан к I в. до н. э., а выдуманный Марциал — к I в. н. э. Да разве с одними только великими приходилось так возиться? А тысячи второстепенных и третъестепенных! Ведь скольких из них упоминает не один античный автор, а два, три, а то и десять. Всем таким персонажам Генштаб фальсификации обязан был придумать даты жизни и биографию. Поэтому даже стишки какого-нибудь Горация (где постоянно упоминаются различные второстепенные лица) кропать, не сверяясь с базой данных Генштаба, было категорически запрещено! А сколько сил уходило на то, чтобы не было разнобоя в описании деталей всей этой вымышленной древнеримской жизни. Нельзя же было допустить, чтобы каждый включаемый в дело спецлитсотрудник начинал по-своему придумывать, скажем, весь древнеримский пантеон с особыми ритуалами в честь каждого божества, или систему древнеримских государственных должностей, или формулы обращения, или правила гладиаторских боев, или названия знаменитых вин, или устройство римских бань — да этому перечню и конца не видно! Нужно было следить, чтобы спецлитсотрудники всё это брали только из базы данных Генштаба. Вообще согласование всех фальсификационных работ в Западной Европе было делом титаническим. Один только орготдел штаба, наверно, сотни людей насчитывал. Ведь одни католики, другие протестанты, одни кальвинисты, другие англикане; одни чтут папу, другие его проклинаят; монархи капризные, один требует одного, другой совсем другого, всё время то там, то тут между ними войны. А дело делать надо!

Ну и, конечно, чудовищные были проблемы с надписями — хуже, чем у русских. Ныне “Корпус латинских надписей” составляет целую полку томов. В нем более ста тысяч надписей. Это сколько же камней надо было изготовить, многие с именами выдуманных консулов и с аккуратно расчисленными датами, да развезти их во все концы якобы существовавшей за полторы тысячи лет до того Римской империи, да вкопать, где надо. А в половине тех мест уже турки, их ведь потруднее уломать, чем домохозяев в Новгороде. А покрыть надписями триумфальные арки, пусть даже и в самом Риме!

Ну а Помпеи! — тут уж ума не приложу, как им удалось под слой вулканического лавы забраться, чтобы покрыть стены надписями. А в этих надписях чего только нет — тут и строчки из Вергилия, тут и непристойности. Уж не сами ли помпеяне писали? Но ведь, как учит нас А. Т. Ф., сочинения Вергилия, как и прочих античных авторов, созданы в средние века, — откуда же тогда его строчки? Впрочем, нет, это не проблема: наверно, и Помпеи засыпало не в 79 г. н. э., а в средние века. Да, но непристойности! Их ведь пишут на уличном языке, а не на древнем поэтическом. Не может быть, чтобы в одно и то же время в Помпеях уличным языком

была латынь, а у Данте во Флоренции — итальянский. Выходит, надписи всё-таки поддельные: иначе ведь пришлось бы учение А. Т. Ф. под сомнение ставить! Видимо, у нас сейчас просто не достаёт воображения, чтобы понять, на какие подвиги были готовы герои Великой фальсификации ради того, чтобы надежнее обмануть потомков.

Не забудем еще и того, что в каких-нибудь отдаленных монастырях, или в горах, или в какой-нибудь Исландии, да мало ли где еще, сидели ведь и не охваченные заговором грамотей, которые могли по простоте писать правду. Могли прямо написать, что-де, скажем, в тысяча двести таком-то году (точную дату знает один А. Т. Ф.) Помпеи засыпало пеплом, — не подозревая о том, что штаб фальсификации записал это событие за 79 годом н. э. Штаб обязан был про все такие сочинения проведать, все разыскать и все экземпляры уничтожить.

Ну да что же мы всё про русских да про западноевропейцев! А мусульманам, например, разве легче было? Одних только генеалогий потомков пророка сколько нужно было сочинить на те 600 или 700 лет, которые отделяют традиционную дату начала мусульманской эры (622 г. н. э.) от той, которую вычислили Н. А. Морозов и А. Т. Ф. И вообще надо ясно понимать: как открыл А. Т. Ф., все без исключения люди и события (в любых странах), относимые по традиции ко времени ранее X века нашей эры, суть фантомы. Так что работы по сочинению наивно принимаемой ныне истории Египта, Месопотамии, Палестины, Индии, Китая и т. д. было поистине невпророт.

Нет, всё-таки славное некогда жило племя! Мы говорим: фальсификаторы. А ведь можно было бы сказать и иначе: святые. Интеллект безмерный, талантов целые плеяды, труд невообразимый — и при всем этом полное смирение с тем, что о твоей гениальности никто никогда не узнает! Ведь ничего не просочилось! Куда там каким-нибудь масонам — об этих понемногу всё стало известно, вплоть до деталей тайных ритуалов. О нынешних секретных службах и говорить нечего — чуть что перебежит во вражеское государство и подробнейше все тайны выложит. Наши герои не так — они и умирали с одной лишь мыслью о нерушимости тайны, не шепнув даже сыну и внуку о своем подвиге. Одних только лингвистических открытий сколько сделали в ходе своей работы, — и тщательнейше уничтожили всякую память об этом, чтобы не оставить улики; пришлось в XIX в. всё это открывать заново. А как свято жили между собой! Никто друг другу не завидовал, никаких не было конкурирующих фракций, которые могли бы, обличая друг друга, проговориться. А какая была международная и межконфессиональная солидарность! Она была выше войн и политики, выше религиозных барьеров. Например, после Варфоломеевской ночи фальсификаторы-католики и уцелевшие фальсификаторы-гугеноты в прежней гармонии друг с другом продолжали свой тайный труд. Напрасно А. Т. Ф. унижает наших героев, полагая, что они действовали из угодничества перед властью. Вот, скажем, Григорий Котошихин перебегает в Швецию, всё о России подробнейше рассказывает, а о подмене документов, о том, что не было никакого Ивана Грозного, — молчит. Власти меняются: в Нидерландах революция, в Англии революция, во Франции революция — а герои-фальсификаторы повсеместно молчат. Нет, тут не то! Тут святость самого дела — Великой фальсификации, грандиозная цель которой заключена в ней самой: обмануть всех!

Вообще А. Т. Ф. основательно помог нам в понимании истинных стимулов интеллектуальной и художественной деятельности человека. Внушенные нам наивные представления о том, что люди науки всегда стремились познать истину, а люди искусства — реализовать свой эстетический идеал в поэмах, картинах и дворцах, ока-

зался чистой маниловщиной. Как выяснилось из трудов А. Т. Ф., практически во всех странах в течение нескольких веков не один и не два, а сотни и тысячи лучших умов и талантов стремились совсем к другому. Филологи выдумывали из головы искусственные языки, чтобы выдать их за древние. Поэты писали на этих языках под чужими именами прекрасные стихи. Математики вычисляли для филологов точное время затмений двухтысячелетней давности, чтобы те могли вставить правдоподобные рассказы о затмениях в свои подделки под древние сочинения. Монетные мастера десятками тысяч чеканили поддельные греческие, римские, древнерусские, арабские и прочие монеты, виртуозно изобретая для них якобы древние изображения и надписи (но не забывая также их наполовину стереть, чтобы было похоже на естественный износ). Архитекторы по взаимному согласию разбивались на бригады, одна из которых проектировала и строила пирамиды, другая развалины Кносского дворца, третья Парфеноны и Колизеи, четвертая готические соборы и т. д. (и только одной из них доставалась приятная задача строить барочные дворцы, которые были по вкусу современникам этих тружеников). И, конечно, мастера глобальной мистификации не останавливались на этом пути ни перед какими затратами труда и средств. В общем, мы теперь узнали от А. Т. Ф., какую безмерную власть над человеческими душами имеет страсть к мистификации. Что ж, пожалуй, ему действительно виднее.

### “Династические параллелизмы”

Коснемся также одной важной темы, которая уже выходит за рамки филологии.

Главным основанием для радикального пересмотра истории разных стран А. Т. Ф. объявляет открытый им “параллелизм династических потоков” (или “династический параллелизм”). Согласно А. Т. Ф., он состоит в том, что на протяжении какого-то хронологического отрезка зафиксированная летописью последовательность правителей определенной страны фактически копирует последовательность правителей той же (а иногда и другой) страны, зафиксированную летописью в совсем другой, более поздний, хронологический период. Из этого А. Т. Ф. делает вывод, что летописная история фиктивна, так как она дважды излагает — под другими именами и с выдуманными вариациями — одни и те же события.

В самом деле, если летопись действительно содержит такое повторение, т. е. длительности правления соответствующих друг другу правителей из двух разных “династических потоков” совпадают и между соответственными царствованиями имеется какое-то хотя бы примерное сходство (в характеристике правителя, его судьбе, происходивших при нем крупнейших событиях), то перед историками, конечно, возникает серьезная проблема: как это объяснить.

А. Т. Ф. постоянно внушает своему читателю, что, в отличие от ряда других его положений, которые суть гипотезы, сам династический параллелизм, открытый им, есть объективный факт. Так, в НХ 1 глава 2, где рассматриваются династические параллелизмы, называется “Два хронологических сдвига в русской истории”, а глава 3 — “Наша гипотеза”. Династический параллелизм выведен, таким образом, из сферы гипотетического. Даже тех, кто ни секунды не верит в фантазмагорическую “ревизованную историю” по А. Т. Ф., проблема династического параллелизма нередко всё же интригует и озадачивает.

Дело, однако же, прежде всего в том, что мало кто дает себе труд рассмотреть “династические параллелизмы”, провозглашенные А. Т. Ф., чуть более пристально.

Следует учитывать, что А. Т. Ф. не требует от провозглашаемых им параллелизмов глубокого и многостороннего сходства между правителем-“оригиналом” и

его “дубликатом”. Например, у них иногда (крайне редко) совпадает имя (А. Т. Ф. такие случаи подчеркнуто отмечает); но в подавляющем большинстве случаев совпадения нет (нет даже сходства), и для признания параллелизма этого совершенно не требуется. Точно в такой же мере принимаются во внимание все прочие возможные параметры сходства (кроме одного) — например, совершенно необязательно, чтобы совпадали место действия, обстоятельства восхождения правителя на престол и его смерти, количество имеющихся у него братьев, жен, детей и т. п., набор главных действующих лиц его правления, история его войн и миров и любые другие важные события, происходившие при нем. Единственное исключение составляет параметр длительности правления: здесь требуется (по крайней мере в идеале) достаточно точное совпадение. Тем самым объявляемый А. Т. Ф. параллелизм фактически основан именно на этом параметре. Все остальные параметры, будучи факультативными, могут лишь изредка добавить какой-то факт, согласующийся со схемой параллелизма, тогда как любые не согласующиеся с ней факты признаются несущественными.

Конечно, крайне трудно, если не невозможно, понять, почему собственно люди, сочинявшие “дубликат” некоторой хроники, которые без всякого стеснения меняли перечисленные выше гораздо более существенные характеристики царствования и свободно придумывали массу дополнительных подробностей самого разного рода, не смели посягнуть ровно на этот единственный параметр. Но ответ здесь заключается не в психологии “дубликаторов”, а в том, что если бы А. Т. Ф. допустил, что и длительности царствований тоже указывались “дубликаторами” по собственному произволу, то его конструкция потеряла бы всякую жесткую (допускающую числовое выражение) опору и превратилась бы в уже ничем не прикрытое гадание. Соответственно, ему пришлось оставить сочинителям-“дубликаторам” в море их вранья островок нерушимой честности — длительности царствований<sup>12</sup>. Примем же эту игру и посмотрим, как обходится А. Т. Ф. с этим единственным жестким элементом его конструкции.

Рассмотрим главный “династический параллелизм”, определяющий, согласно А. Т. Ф., необходимость пересмотра истории Руси. Утверждается, что история Киевской Руси с 945 по 1174 г. (229 лет) является просто “дубликатом” истории Московской Руси с 1363 по 1598 г. (235 лет). По А. Т. Ф., перед нами «хронологический сдвиг примерно на 410 лет»; соответственно, летописные персонажи X–XII вв. — это просто “дубликаты” реальных персонажей XIV–XVI вв. Приводим звенья этого параллелизма [НХ 1: 97–107] (цитируемые из НХ соответствия помечаем знаком « »).

«Святослав 945–972 (27 лет) — Дмитрий Донской 1363–89 (26 лет)».

«Владимир 980–1015 (35 лет) — Василий I 1389–1425 (36 лет)».

Соответствия выглядят впечатляюще. Но только между Святославом и Владимиром правил еще Ярополк (972–980), который из этой схемы соответствий просто выкинут, поскольку справа ему не соответствует вообще никакого правителя. Мы узнаём, таким образом, что при методике А. Т. Ф. некоторых правителей разрешается и пропускать.

---

<sup>12</sup> В сущности это лишь частное проявление более общего принципа, ясно выступающего из работ А. Т. Ф.: любое сообщение о любом событии в прошлом в общем случае не заслуживает доверия (из-за забывания, ошибок, намеренной лжи); соответственно, никакое количество сообщений о том, что именно происходило в такой-то стране в таком-то веке, не мешает ему рассматривать этот период данной страны как *tabula rasa*, которую он может свободно заполнять своими догадками. Безусловное исключение составляют, однако, те сообщения, которые удобны для концепции А. Т. Ф.: в них, напротив, заслуживают полного доверия даже мелкие детали.

«Святополк 1015–19 (4 года) — Юрий Дмитриевич 1425–31 (с перерывами 6 лет)».

«Ярослав Мудрый 1019–54 (35 лет) — Василий II Тёмный 1425–62 (37 лет)».

Заметим, что Святополк в действительности правил около года, а затем, через два года, еще около года; но это, конечно, мелочь. Небезынтересен также способ подсчета лет, примененный здесь А. Т. Ф.: годы правления Юрия Дмитриевича посчитаны дважды: один раз для него самого, другой — в составе лет правления Василия Темного. Такое из ряда вон выходящее событие, как ослепление Василия II, не имеющее уж решительно никакого сходства с блистательной судьбой Ярослава Мудрого, всё же немного смущает А. Т. Ф. И он находит ему соответствие — правда, со сдвигом уже не в 410 лет, а в 350 и не среди правителей государства, а среди их второстепенных родственников: оно состоит в ослеплении князя Василька Тербовльского в 1097 г. Мы видим, что методика А. Т. Ф. при необходимости может проявлять завидную гибкость: оказывается, важнейшие события из жизни правителя могут быть скопированы в рассказе вовсе не о его “дубликате”, а о третьем лице.

«Всеволод 1054–93 (39 лет) — Иван III 1462–1505 (43 года)».

Здесь методика поднимается до новой степени свободы, которая производит поистине сильное впечатление. “Всеволодом” названа совокупность следующих княжений четырех разных князей: Изяслав 1054–68, Всеслав 1068–69, Изяслав 1069–73, Святослав 1073–76, Всеволод 1076–77, Изяслав 1077–78, Всеволод 1078–93. Ну просто ни дать ни взять копия правления Ивана III.

«Владимир Мономах 1093–1125 (32 года) — Василий III 1505–33 (28 лет)».

После этой строки идет нечто, где реализована уже совершенно невиданная степень свободы. Согласно летописи, справа здесь следующим должен идти Иван Грозный 1533–84 (51 год). Кто же ему соответствует слева? Вот список из НХ (опускаем даты): «Братья Мстислав и Ярополк (14 лет), Всеволод (7 лет), Изяслав (9 лет), Юрий Долгорукий (9 лет), Изяслав Давыдович и Мстислав Изяславич (в сумме 12 лет)». Но в НХ справа стоит не Иван Грозный: правая часть здесь разбита, как и левая, на пять периодов. Первый из них — “семибоярщина”, а четыре других — это четыре разных лица, которые, как догадался А. Т. Ф., были впоследствии историками романовского периода из политических соображений заменены во всех летописях выдуманным образом единого царя — Ивана Грозного. После этого идет последнее соответствие: «Андрей Боголюбский (17 лет) — Федор Иоаннович (14 лет)».

Итак, методика дошла до своего логического завершения: если данные летописей не обнаруживают ровно никакого параллелизма, то тем хуже для летописей! Значит, просто неверны летописи и надо догадаться, что в них стояло до того, как их исказили. Ведь параллелизм-то уже открыт, не отменять же его теперь! Надо лишь его восстановить, заменив, например, неудобного Ивана Грозного нужным числом изобретенных самим А. Т. Ф. царей — естественно, удобных. Нам остается лишь порадоваться за Ивана III: ведь методика вполне могла бы расчленить также и его, но А. Т. Ф. его помиловал, заменив четвертование Ивана III намного более гуманной акцией — склеиванием четырех князей в одного.

Что уж после этого вспоминать о таких пустяках, как весьма приблизительное равенство длительностей соответственных царствований даже в относительно удачных случаях.

Полезно заметить также следующее. В цепочке чисел, выражающих длины царствований, не все числа одинаково информативны (в математическом смысле). Наименее информативны числа, близкие к средней длине поколения — около 25–30 лет. Это просто наиболее вероятный срок правления отдельного лица. Самыми информативными являются самые длинные сроки — такие, как, скажем, 72 года цар-

ствования Людовика XIV или 64 года царствования королевы Виктории. (Менее информативны малые сроки — в частности, потому, что в периоды смут и междоусобиц они появляются с резко повышенной частотой). Посмотрим с этой точки зрения на приведенный выше “династический параллелизм”. В большинстве благополучных сравнений мы видим именно числа, близкие к 25–30. Как только появляется относительно большое число (43 у Ивана III, 51 у Ивана Грозного), конструкция А. Т. Ф. терпит крах: чтобы ее спасти, ему приходится объявлять летопись фальсифицированной (как в случае с Иваном Грозным) или самому ее фальсифицировать (как в случае со Всеволодом). Не надо быть математиком, чтобы понять, что означает этот факт для оценки достоверности всей конструкции.

Для наглядности сведем воедино реальные, т. е. соответствующие летописям, длительности рассмотренных выше древнерусских правлений (ради упрощения закроем уж глаза на то, что у А. Т. Ф. в первой из цепочек иногда указано по два князя на одно звено, и на некоторые другие детали).

X–XII вв.: 27 – 8 – 35 – 4 – 35 – 14 – 1 – 4 – 3 – 1 – 1 – 15 – 32 – 14 – 7 – 9 – 9 – 12 – 17.

XIV–XVI вв.: 26 – 36 – 6 – 37 – 43 – 28 – 51 – 14.

Соотношение этих двух цепочек чисел мало напоминает равенство, даже приблизительное, не правда ли? Сравните хотя бы количество звеньев в этих цепочках. Вы можете теперь одним взглядом оценить весь масштаб совокупного искажения реальных летописных данных, которое потребовалось авторам НХ, чтобы преподнести нам в своей книге эти две цепочки в виде почти одинаковых. И именно эта достигнутая ловкостью их рук одинаковость ныне служит в учении А. Т. Ф. главным “объективным основанием” всей новой хронологии Руси.

Из других “династических параллелизмов”, провозглашенных А. Т. Ф., видно, что при их построении возможны и некоторые вольности сверх уже отмеченных. В частности, встречается еще и перестановка правителей. Так, согласно А. Т. Ф., в летописном перечне английских королей, — который, как открыл А. Т. Ф., есть не что иное, как дубликат перечня византийских императоров, — должны быть представлены Aethelwulf и Aethelberht [НХ 2: 56]. Чрезвычайно существенна также следующая вольность, объявленная самим А. Т. Ф.: «В том случае, когда для правления какого-либо царя имеется несколько вариантов, мы указываем только один из них, наиболее хорошо укладывающийся в параллелизм» [НХ 1: 95]. Этот принцип отлично помогает найти именно то, что удобно: например, если некто в таком-то году фактически пришел к власти, через 7 лет стал официальным соправителем, еще через 6 лет — официальным единовластным правителем и правил 5 лет, после чего был отстранен от реальной власти и через 2 года умер, то вы имеете полную возможность выбирать для его правления срок от 5 до 20 лет (см. разбор примеров этого рода в построениях А. Т. Ф. в статье [Голубцова, Смирин 1982: 190–191]). Наконец, дополнительные возможности для маневрирования открываются благодаря тому, что, согласно А. Т. Ф., два или более “династических параллелизма” могут накладываться друг на друга: некоторый правитель  $R_1$  оказывается в этом случае, с одной стороны, “оригиналом” правителя  $R_2$ , с другой — “оригиналом” правителя  $R_3$ . Недостаток сходства между  $R_1$  и  $R_2$  может как бы компенсироваться сходством между  $R_1$  и  $R_3$  (в зародышевой форме эту механику можно было наблюдать выше на примере сходства между Василием Темным и Васильком Теревовльским).

Для желающих могу предложить развлечение. Возьмите из книг по истории какие-нибудь два списка правителей (желательно подлиннее) — допустим, египетских фараонов и французских королей. Выпишите длительности царствований. Разброс



чисел будет не слишком велик; в большинстве случаев это будут числа примерно от 10 до 40, особенно часто — от 25 до 30. Конечно, вы без всякого труда сможете найти какую-нибудь пару “фараон — король” с похожим числом. Разницей в 3–4 года (если очень захочется, то и больше) смело пренебрегайте. “Поползав” немного по спискам вверх и вниз, вы непременно найдете и четверку  $\Phi_1 - \Phi_2, K_1 - K_2$  (отец — сын среди фараонов, отец — сын среди королев), которая удовлетворит этим не слишком обременительным требованиям. Если “поползать” более основательно, то на каком-нибудь расстоянии от четверки вам попадется еще одна удовлетворительная пара  $\Phi_3, K_3$ , а то и целая четверка. Хорошо бы, конечно, чтобы в обоих списках это расстояние было примерно одинаково, но за чрезмерной точностью уж не гонитесь. После этого дистанцию между  $\Phi_1, K_1, \Phi_2, K_2$  и  $\Phi_3, K_3$  смело обрабатывайте по уже известным вам принципам: неудобных выбрасывайте, кого требуется — соединяйте, кого требуется — расщепляйте, кого требуется — переставляйте. Ваша задача не труднее, чем та, которую только что на ваших глазах решил А. Т. Ф. Результат можете публиковать: “династический параллелизм”, пусть для начала и плохонький, но готов. А дальше уж, конечно, объявляйте всех египетских фараонов выдуманной копиями французских королев.

Сухо резюмируем: вопреки тому, что внушается читателю, фоменковский “династический параллелизм” — это вовсе не объективная констатация изоморфизма между реальными летописными данными по двум разным историческим периодам. Параллелизм (и то весьма нестрогий) возникает лишь после того, как А. Т. Ф. произведет над летописными данными ряд специальных предварительных операций. Иначе говоря, это параллелизм между летописными данными, исправленными согласно гипотезе о наличии параллелизма. При этом, как видно из нашего разбора, в число допустимых предварительных операций входят и столь сильные, как пропуск, перестановка, объединение и “расщепление” правителей. Ясно, что методика, допускающая такое количество степеней свободы, не имеет ничего общего с объективностью: с ее помощью можно получить почти любой результат при почти любых исходных данных.

Совсем коротко: в подлинных летописных данных об истории Руси никакого “династического параллелизма” попросту нет.

Обсчет “династических параллелизмов” составляет одну из тех операций, которые дают А. Т. Ф. возможность заверять публику, что его результаты достигнуты математическими методами. А. Т. Ф. подсчитывает вероятность случайного совпадения тех двух цепочек чисел, которыми у него представлены два разных “династических потока”, и совершенно справедливо показывает нам, что она исчезающе мала, иначе говоря, случайное совпадение практически исключено. Этот факт производит неотразимое впечатление на тех, кто легковерно воспринимает всю операцию как прямое сравнение двух рядов исторических данных. В действительности же между историческими данными и якобы отражающими их цепочками чисел, как мы видели, лежит этап интенсивного целенаправленного препарирования этих данных. Так что математически безупречно А. Т. Ф. доказал только одно: что вышедшая из его творческой мастерской цепочка чисел *A* неслучайно совпадает с вышедшей из той же мастерской цепочкой чисел *B*.

Судя по тому, что А. Т. Ф. вполне удовлетворен рассмотренным выше “династическим параллелизмом” (он нигде не говорит, что этот параллелизм чем-нибудь несовершеннее остальных), прочие “династические параллелизмы” отражают ту же самую степень требовательности автора к себе. Мы позволим себе ограничиться этим одним. Если читатель захочет сам заняться проверкой прочих “династических

параллелизм” А. Т. Ф., он во всяком случае должен помнить, что все исходные данные следует брать только из самих традиционных источников, но не из их изложения у А. Т. Ф.

Нетрудно заметить, что у А. Т. Ф. отношение к фактам при установлении “династических параллелизмов” и при сближениях слов по существу одинаково. В обоих случаях факты очень часто не укладываются в предлагаемую А. Т. Ф. схему. Тогда он действует по принципу “тем хуже для фактов”, а именно, в обеих операциях позволяет себе всё большее и большее количество степеней свободы, пока его процедура не становится практически безотказной. Методика А. Т. Ф. — бесценная находка для всех желающих произвести революцию в какой-нибудь, которую не жалко, науке.

### Заключение

Фоменковское “новое учение” об истории никогда бы не привлекло к себе столько внимания, если бы его автор не был именитым математиком. Оно мало чем выделялось бы среди публикуемых ныне во множестве вольных сочинений по российской или иной истории, авторы которых перекраивают “традиционную историю” — каждый в свою сторону, сообразно с вдохновляющей его идеей — нередко с не меньшим размахом, чем у А. Т. Ф., и, кстати, непременно используют рассуждения о происхождении слов — совершенно такого же уровня, как у А. Т. Ф.

Но когда автор — академик-математик, это воспринимается читателями как гарантия того, что в данном случае проблема будет разобрана и решена если и не математически, то во всяком случае в соответствии с теми высшими критериями логичности, обоснованности и доказательности, которые привычно ассоциируются в общественном сознании с математикой.

Реальность, как мы видели, в точности противоположна. В своих исторических и лингвистических построениях А. Т. Ф. не только не проявляет этих достоинств математического мышления, но, наоборот, производит впечатление человека, вырвавшегося из стеснительных уз доказательности, в которых его держала его основная профессия. Как прямое издевательство над читателем звучат слова: «... мы надеемся, что непредвзятый читатель уже убедился, что нами руководит неумолимая логика научного исследования. Мы вынуждены двигаться далее по этому пути, если хотим оставаться на почве здравого смысла и строгой научности» [НХ 2: 102]. Степень бездоказательности утверждений А. Т. Ф. превосходит всё, с чем можно встретиться даже в очень плохих филологических или исторических сочинениях. Утверждения “А вытекает из В”, “А следует из В”, которые уже одним своим звучанием должны гипнотизировать доверившегося автору читателя, употребляются в смысле, от которого логик впал бы в шок. Так, например, по заявлению А. Т. Ф., и то, что Батый — это Иван Калита, и то, что Великий Новгород — это Ярославль, и то, что в русской истории имеется династический параллелизм со сдвигом в 410 лет, «непосредственно и недвусмысленно вытекает из средневековых русских документов» [НХ 1: 382]; «... отождествление Ирландии в определенный исторический период с Россией... однозначно следует из древних английских хроник» [НХ 2: 114]. Самого крохотного и ненадежно засвидетельствованного факта, который в принципе допускает десять разных объяснений, но в том числе и согласующееся с идеей А. Т. Ф., ему достаточно, чтобы эту идею провозгласить, а через несколько страниц уже трактовать ее как нечто установленное и на нее опираться (не говорим уже о бесчисленных случаях, когда аргумент А. Т. Ф. просто вздорный, типа *Irish = Russian*

или *еврей = иерей*). Но часто даже и столь ничтожного аргумента А. Т. Ф. не считает нужным подыскивать: он просто сообщает, каково его мнение.

Послушайте, например, исполненное величия заявление об исламе: «Вообще история Мусульманской церкви совсем не проста, но мы не можем пока сказать ничего определенного по этому поводу, так как обстоятельного исследования арабских источников мы пока не проводили» [НХ I: 373]. Сотни книг на эту тему на десятках восточных и западных языков не значат ничего, пока А. Т. Ф. сам не займется первоисточниками. Приведенное заявление вовсе не означает, однако, что А. Т. Ф. не может уже сейчас сказать, что все представления мусульман о своей истории в корне неверны, сколько бы книг они про это ни написали, тогда как на самом деле «раскол между мусульманством и православием... произошел... лишь в 15 веке... И лишь потом (когда все это было забыто), отделение мусульманства от христианства отнесли в далекое прошлое примерно на 600 лет назад» [НХ I: 226]. Всё это А. Т. Ф. понял и без «обстоятельного исследования» источников; но со временем он и его коллеги подучат арабский язык, возьмутся за все эти источники и извлекут из них, если кому-то это так уж необходимо, еще и подтверждения своего знания.

Читая А. Т. Ф., испытываешь непроходящее чувство изумления: «Ну хорошо, представим себе, что А. Т. Ф. действительно установил, что традиционное представление об истории противоречит таким-то и таким-то непреложным фактам и, следовательно, неверно. Но откуда же он, кроме того, еще смог узнать — в тысяче подробностей! — что вместо этого было в действительности!?” В самом деле, учение А. Т. Ф. включает две отчетливо различные части: критическую и, так сказать, конструктивную. Если в критической части он еще считает необходимым выдвигать какие-то аргументы, которые хотя бы могут быть сформулированы на языке науки, то в рассказах о том, что же всё-таки, с его точки зрения, реально происходило в разных странах в прошлые века, он уже чувствует себя свободным от необходимости сколько-нибудь серьезно что-либо аргументировать. Здесь он фактически действует не как исследователь, а как ясновидец. «Нам кажется, что», «по нашему мнению», «что если», «наша гипотеза» — эти формулы повторяются как рефрен по несколько раз на страницу. «Гипотезы» бьют фонтаном; их не сосчитать. Любая из них столь фундаментально переворачивает прежние представления о предмете, что для ее обоснования в обычной научной практике потребовалась бы как минимум обстоятельная статья. А. Т. Ф. в этом не нуждается; у него текст того, что подается как обоснование «гипотезы» (если таковой вообще есть), обычно занимает не больше места, чем ее изложение. Последователь учения должен просто уверовать в мощь интуиции А. Т. Ф., позволяющую ему всё угадать; аргументы после этого излишни. Это позиция пророка, гуру, главы религиозной секты, но только не ученого.

Заметим, что ошибочность утверждений А. Т. Ф. сама по себе, конечно, еще не означает, что с традиционной хронологией у историков нет никаких проблем. Частные проблемы этого рода безусловно есть и, вероятно, будут возникать и в дальнейшем, но они будут решаться в ходе нормального исследовательского процесса. В своем нынешнем виде учение А. Т. Ф. не может исполнить даже роль полезного стимулятора, который подтолкнул бы серьезных историков к наведению порядка в темных углах традиционной хронологии. Это учение давно проскочило ту стадию, когда оно могло претендовать на такую роль. Нагромоздив на собственно хронологическую проблематику горы дилетантской чепухи и фантазмагорических вымыслов, игнорируя профессиональную науку и апеллируя вместо этого к неподготовленной широкой публике, А. Т. Ф. столь прочно поставил себя вне науки, да и просто вне здравого смысла, что будущий исследователь хронологии уже не станет

раскапывать всю эту гору абсурдов, чтобы проверить, не скрывается ли в ее недрах какое-нибудь рациональное зерно.

Что А. Т. Ф. предлагает ошибочную концепцию истории — не главное. Это малый грех. Дело в другом: в нынешнюю эпоху, когда классический научный идеал и без того находится под неслышанным натиском иррационализма всех видов, включая ясновидение, гадание, суеверия, магию и т. п., А. Т. Ф., беззастенчиво используя всю мощь традиционного авторитета математики, внедряет в молодые души представление о том, что в гуманитарных науках нет в сущности никакого позитивного знания, зато есть масса сознательных подлогов, и можно, свысока относясь к пыльным и тенденциозным традиционным сочинениям, смело противопоставлять любому утверждению этих наук свою интуитивную догадку. «Я уверен, что слово *Москва* происходит из МОСС (англ. 'мох') + КВА, т. е. 'лягушка во мху'»; «По моему мнению, первоначальное население Южной Америки составляли русские»; «Нам кажется, что Петр I был женщиной»; «Моя гипотеза: Николай Второй и Лев Троцкий — одно и то же лицо». Ни одно из этих утверждений не хуже и не лучше тех, которые сотнями преподносит нам А. Т. Ф. Любое из подобных утверждений ныне, вдохновляясь примером А. Т. Ф., молодой честолюбец может смело выдвигать в качестве «научной гипотезы», объявляя возражающих рутинерами.

Как человек, глубоко почитающий математику, я должен сказать, что едва ли кто-либо когда-либо наносил столь тяжкий урон престижу математики и математиков в общественном сознании, как А. Т. Фоменко. Еще недавно представители гуманитарных наук судили о возможностях плодотворного участия математиков в решении их проблем по замечательным работам А. Н. Колмогорова. Ныне им придется судить по А. Т. Фоменко.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Голубцова Е. С., Смирин В. М. 1982 — О попытке применения «новых методов статистического анализа» к материалу древней истории // «Вестник древней истории». 1982. № 1.
- НХ — Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Изд. 2-е. Т. 1–2. М.: Издат. отдел Учебно-научного центра довузовского образования МГУ, 1996.
- Пономарев А. Л. 1996 — Когда Литва летает или почему история не прирастает трудами А. Т. Фоменко // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 18. 1996.

© 2000 г. Ю.В. МОНИЧ

**АМБИВАЛЕНТНЫЕ ФУНКЦИИ РИТУАЛА  
В ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ\***

0.

В предлагаемой статье производится попытка обосновать ряд положений, прямо или косвенно связанных с проблемами становления языковой системы на базе предшествующих ей в эволюционном плане систем коммуникации.

По ряду объективных причин, раскрываемых несколько ниже, в качестве основного опорного материала в данном исследовании выступает содержательная сторона знака, тогда как отдельные формальные его характеристики только в редких случаях могут быть привлечены для анализа, и то лишь в роли вспомогательного материала весьма гипотетического характера.

Таким образом, в центре внимания здесь оказываются такие явления, как семантические универсалии, семантические изменения и семантическая эволюция в целом. Последнюю, по нашему мнению, было бы целесообразно определить как ряд структурных трансформаций в содержательной сфере языковой системы, обусловленных качественными изменениями условий существования, – и прежде всего – усложнением социальной структуры человеческого сообщества.

Хотя предлагаемое исследование не может быть названо собственно этимологическим, все же, поскольку нам регулярно приходится взаимодействовать с семантическими реконструкциями праиндоевропейских этимонов, проблематика этимологического анализа выдвигается здесь на одно из центральных мест.

В ситуации, сложившейся в данной области языкознания, можно наблюдать значительный перекося в характере исследования сфер означающего и означаемого: в то время как формальный анализ осуществляется в соответствии с жесткими критериями и полученные результаты отличаются высокой степенью точности, в семантическом анализе исследователь чувствует себя несопоставимо вольнее, вследствие чего очень часто появляется множество несогласующихся или взаимоисключающих этимологий, что, разумеется, далеко не лучшим образом сказывается на целостности и устойчивости картин языкового прошлого. В.И. Абаев отмечает: «Семантические аспекты этимологии весьма сложны и с трудом поддаются регламентации. Никакого "закона", который можно было бы сопоставить со звуковым законом, в семантическом развитии слов установить не удастся. Здесь приходится опираться не на необходимость, а на возможность в рамках здравого смысла» [Абаев 1986: 20].

Одним из пиков актуальности затрагиваемой проблематики может быть названа точка столкновения двух противоположных потоков языкового развития, в русле которых рождаются явления синонимии и омонимии. И особенную остроту приобретает данная проблематика на уровне праязыковых реконструкций: в частности, по данным "Indogermanisches etymologisches Wörterbuch" Ю. Покорного [Pokorny 1959], более трети всего состава праиндоевропейского словаря находится в отношениях омонимии, а некоторые наиболее распространенные значения типа 'бить', 'вертеть' и

\* Работа выполнена при финансовой поддержке грантом РАН для молодых ученых.

т.п. выражаются многими десятками различных форм. Такое положение дел, казалось бы, вступает в очевидное противоречие с одной из самых фундаментальных функций языка – хранить и передавать информацию максимально экономичным способом. Однако отмеченное противоречие, как это вытекает из рассматриваемой ниже специфики функционирования ритуального знака, является только кажущимся, тогда как в действительности именно сходные по наборам значений, но формально различающиеся знаки сыграли, на наш взгляд, важнейшую роль в становлении первичной языковой системы, – и именно благодаря их способности передавать самую актуальную информацию наиболее экономичным путем. Это мы и попытаемся обосновать в дальнейшем изложении, руководствуясь следующими предпосылками, которые с позиции эволюционного мышления представляются вполне уместными для специфики предлагаемого здесь исследования.

Во-первых, мы исходим из того, что звуковой язык не мог возникнуть независимо от других средств общения. Он зародился в недрах более древней знаковой системы, которая обслуживала все насущные коммуникативные потребности человеческого предка. В дальнейшем язык постепенно отвоевывал себе все большее и большее жизненное пространство и, в конечном счете, выдвинулся на передний план.

Во-вторых, как это отчасти вытекает из первой предпосылки, первичные слова в период своего возникновения не создавали для себя какие-либо особые значимые зоны, но наследовали их от своих предшественников – невербальных и/или довербальных знаков, и только в последующем развитии приобретали способность трансформировать исходную семантику в соответствии со своей системной спецификой.

В-третьих, подобно тому, как в сравнительно-историческом языкознании подвергаются сравнительному анализу различные хронологические пласты, соответствующие различным ступеням языковой эволюции, предметом подобного анализа может стать и сама языковая система, сопоставляемая с теми системами, на базе которых она выросла.

Учитывая существенные отличия в способах выражения, практикуемых в коммуникативных системах, сформировавшихся на различных ступенях эволюционного процесса, в качестве базового материала для сопоставительного анализа целесообразнее избрать те содержательные аспекты коммуникативных актов, выражение которых всегда остается обязательным для любой сложившейся естественным путем знаковой системы.

## **1. РИТУАЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ. ПРОТОТИП ЗНАКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

В любом естественном языке имеются определенные группы слов, которые, с точки зрения действующих в языковой системе законов, отличаются в той или иной мере "отклоняющимся" поведением. Не раз уже отмечалось, например, что некоторые категории слов весьма неохотно подчиняются действию фонетических законов [Абаев 1986: 16]. Этимологи зачастую склонны приписывать подобным словам оноματοпоэтическое происхождение или же объяснять наблюдающиеся в них аномалии особой экспрессией. Однако фонетические отклонения у таких "незаконно-послушных граждан языкового государства" хотя и не редки, но вовсе не обязательны, и – тем более – их наличие обычно незаметно для непосвященного наблюдателя. Более явные отклонения от нормы чаще всего лежат в других измерениях, с которыми приходится сталкиваться прежде всего лексикографам, когда они вынуждены по стилистическим соображениям маркировать соответствующие слова или отдельные их значения специальными пометами типа "просторечи.", "вульгарн." и т.п., или же искать критерии для установления границ между омонимией и многозначностью. Однако одну категорию слов, – хотя и представленную всего лишь несколькими производящими основами, но обладающую поистине уникальной

гибкостью в словообразовании и не менее уникальной способностью соотноситься с самыми различными аспектами реальности, – исследователи предпочитают громко не обсуждать. Речь, как можно догадаться, идет об obscene лексике. Оговоримся, что мы также не намерены каким-либо образом оперировать ею. Нас интересуют только причины ее словообразовательной и семантико-референтной плодовитости. Такой интерес обуславливается тем, что динамика развития отмеченных явлений, рассматриваемая под определенным углом зрения, в значительной мере изоморфна конфигурациям некоторых процессов, обнаруживающих себя на уровне праязыковых реконструкций. Поэтому, как нам кажется, есть основания говорить о том, что подобные явления свойственны начальным стадиям языкового развития.

Отмеченную словообразовательную и семантико-референтную "агрессивность" obscene лексики во многом можно было бы объяснить тем, что она непосредственно апеллирует к наиболее эмоционально-нагруженным реалиям, ассоциируемым с личным оскорблением или с нарушением социального "табу", т.е. с разрушением культурно-обусловленных перегородок. Вероятно, именно такая эмоциональная база становится катализатором словообразовательной и семантической деривации, распространяющейся на реалии, которые каким-либо образом попадают в соответствующий аффективный фокус<sup>1</sup>.

По степени наличия эмоциональных коннотаций можно было бы градуировать весь лексический состав, и тогда стало бы очевидно, что отмеченные способности в какой-то мере сохраняются и у ряда вполне нейтральных слов. Например, *рвать, драить, дергать* свободно реализуют значения 'бежать', 'убегать'; *пороть, гнать, загнать, нести* и т.п. могут употребляться для обозначения неадекватных речевых актов; *мочить* способно проявлять себя в значениях 'бить', 'убивать' и т.д. В целом же нетрудно заметить, что интенсивность использования эмоционально-окрашенных и табуированных слов возрастает по мере приближения к сфере жизненных ситуаций, которые отличаются ярко выраженной, ничем не замаскированной конфликтной напряженностью, способной сорвать с выведенного из равновесия индивида все культурные покрывала. В таких ситуациях человек как бы возвращается к своим истокам, где во всей остроте обнажаются общебиологические проблемы внутривидовой конкуренции, группообразования и становления естественной иерархии.

Как показывают данные этологии – науки о поведении животных – именно в регулировании отношений между особями одного и того же вида развиваются особые структуры, предназначенные специально для производства знаков. Однако не только в этологии заостряется отмеченная проблематика. По многочисленным данным этнологии и культурологии отчетливо прослеживается нить символизации, берущая начало непосредственно от "поля брани" наших первобытных предков. В связи с этим следует особо отметить работу известного нидерландского историка культуры Й. Хейзинги "Homo ludens", где автор отводит первостепенную роль в становлении культуры элементу "состязательности", особому "агональному инстинкту", ткущему на грубом полотне конфликта биологических потребностей тонкие узоры высокоритуализованных форм поведения. Отмечая повсеместную распространенность состязаний в хуле и похвальбе, являющихся ритуализованной прелюдией к настоящему сражению [Хейзинга 1992: 81], автор показывает, как эта символическая форма, замещающая физическую агрессию вербальной, отделяется от своего исходного контекста и получает самостоятельное существование в различных сферах человеческой деятельности. Состязания в хуле и похвальбе, разнообразные поединки и единоборства глубоко укореняются в правовой деятельности, в свадебных обрядах и т.д. В конечном счете, структура состязания, поединка, пронизывает все уровни организации социума и лежит в самых сокровенных его основах.

<sup>1</sup> Ср. теорию изменения значений Г. Шлербера, где в основу семантических сдвигов кладется эмоция, аффект [Степанов 1966: 242].

К тем же результатам приводит и структурный анализ основополагающих религиозных ритуалов, где в истоках и мотивациях практически всякой церемонии опять-таки вскрывается физическое единоборство, закономерно эволюционирующее по семиотической шкале к сложным символическим формам, как, например, облеченные в форму загадок и отгадок словесные поединки жрецов-поэтов в архаичных индоевропейских культурах [Елизаренкова, Топоров 1997; Топоров 1997].

В последнее время в лингвистике все более и более утверждается мнение о том, что человеческий язык развивался в русле ритуала (см., например, [Топоров 1988: 21]). Значительное место занимает ритуал в работах М.М. Маковского (см. [Маковский 1996а; 1996б]). Однако следует подчеркнуть, что ритуал – очень многогранное явление. В отмеченных работах акцентируются прежде всего религиозный и магический аспекты ритуала и рассматриваются преимущественно те его формы, которые возникли на относительно поздних ступенях эволюции. Мы же в данной статье стремимся оттенить другую его грань: линию, идущую от исходных мотиваций знакового поведения, которую детально осветили этологи, и которую первым среди лингвистов встроил в единую с проблемами глоттогенеза концепцию Ю.С. Степанов [Степанов 1971]. Эту ветвь ритуала в противопоставление магической и религиозной можно было бы охарактеризовать как социальную коммуникативную. Подчеркнем еще раз, что ее самые ранние истоки, как явственно показывает этология, лежат в действиях, нацеленных на распределение границ жизненного пространства между особями одного вида.

Итак, акцентируя отмеченную грань, мы выходим как на исходные на те ритуализованные формы, часть из которых оказалась табуированной в высокоразвитой человеческой культуре<sup>2</sup>. В русле этого табуирования вербальные действия человека, вышедшего из-под контроля культурной нормы, обычно характеризуются такими общими терминами, как *ругань*, *брань*, *оскорбление* и т.п. Именно на "ругани-оружии", "брани-обороне", "оскорблении-покорении", а также на "оборотных" – позитивных – сторонах этой семантики, мы будем ставить акцент в следующих разделах настоящей статьи.

1.1. Нередко нам приходится сталкиваться с фактами вроде англ. *swear* или русск. *клясть*, *клясться*, когда одно слово обслуживает две семантические зоны, далеко не всегда пересекающиеся в сознании современного человека. В одних контекстах посредством таких слов обозначаемый акт оценивается как 'проклятие, сквернословие, ругань', в других – как 'сакральный акт клятвы, присяги', как 'торжественное обязательство осуществить действием то, что предварительно сформулировано в словесной или какой-либо иной знаковой форме'. Хотя в подобных случаях очевидным образом оцениваются различные типы жизненных ситуаций, в них все же усматривается нечто общее, что не позволяет исследователям и носителям языка различать такие факты как омонимы. Однако в данном случае исследователю не выходит за рамки компетенции носителя языка и ограничивается констатацией некоего прототипа только на интуитивном уровне, избегая более тщательного анализа прототипических отношений. Подтверждением этому могут служить многочисленные факты этимологических решений, где совершенно не учитывается закономерная на уровне прототипа многозначность, стоит ей только выступить в несколько иначе оформленном виде, чем в рассматриваемом случае. В качестве характерного примера можно привести попытки этимологизировать русск. диал. *хаять* 'заботиться' и *хаять* 'ругаться, осуждать'. Эти значения, объединенные одной формой, почти безоговорочно разводятся как этимологически не связанные, т.е. данные омонимы рассматриваются как следствие формальной конвергенции, а если и производится попытка возвести их к одному источнику, то при условии их развития из общего гипотетического источника

<sup>2</sup> В данной статье мы не затрагиваем проблемы влияния табу на формальную и семантическую стороны слова. Здесь можно отметить недавно вышедшую в свет работу М.М. Маковского [Маковский 2000], где эта проблема детально рассматривается на богатом фактическом материале.



независимо друг от друга [Фасмер 1996, IV: 227–228]. По нашему мнению (о чем свидетельствует и ряд семантических параллелей), для прототипических отношений связь этих значений не менее естественна, чем в случае 'проклинать' и 'давать обязательство', и вполне может рассматриваться как исходно заданная (подробнее см. 1.4). Однако, чтобы не быть голословными, постараемся определить биологические истоки и роль клятвы в становлении звукового языка, и далее рассмотрим прототип знакового взаимодействия более детально с целью выявить его основные семантические параметры.

Понятие "клятва" онтологически неотделимо от понятия "ритуал". Для того, чтобы раскрыть эту зависимость, нам придется сделать небольшое отступление и осветить фрагмент из области тех эволюционных процессов, которые в конечном счете привели к возникновению высокодифференцированных знаковых систем, обслуживающих коммуникативные потребности человека.

Основную тенденцию естественного отбора можно коротко охарактеризовать как стремление к максимальной экономии, к предельному сокращению энергозатрат и времени на пути к достижению цели, или – в иной формулировке – к удовлетворению потребности. Поэтому отбор, естественно, предпочитает те координации движений и последовательности выполнения действий, которые тот или иной биологический вид оказывается способным усовершенствовать в указанном направлении. В зависимости от уровня таких способностей и осуществляется естественное распределение экологических ниш.

Исходя из презумпции, что вид *Homo Sapiens* занял наиболее высокую и выгодную нишу, следует считать, что какие-то из жизненно важных способностей, приводящих к господствующему положению, проявились у человека в большей мере, чем у других биологических видов. Перебирая все естественные потребности и сопоставляя человека с другими видами на предмет способности к их удовлетворению (разумеется, учитывая только то, что достигаемо без использования артефактов), мы неизбежно приходим к выводу, что по любому показателю существуют виды, значительно превосходящие человека, кроме одного – способности к детальному взаимориентированию в процессах коммуникации, к детальному согласованию совместной деятельности и конструированию новых ситуаций из отдельных элементов опыта.

Нет необходимости углубляться в вопрос о соотношении языка и мышления, для того чтобы с достаточной степенью уверенности сказать по крайней мере о том, что способность "выкраивать" отдельные фрагменты из целостно воспринимаемых и переживаемых образов сама по себе является семиотической, т.е. находится в ряду способностей и предпосылок к знакообразованию, поскольку целенаправленное "выкраивание" части из целого не состоялось бы, не имей эта часть определенной ж и з н е н н о й з н а ч и м о с т и, которая и создает потребность в о б о з н а ч е н и и. Под давлением этой потребности и рождаются знаковые системы, и можно констатировать, что виду *Homo Sapiens* удалось удовлетворить эту потребность самым экономным способом: вместо серий стереотипизированных движений, исполняющихся в природе для коммуникативных целей, человек стал производить серии стереотипизированных звуков, заменив таким образом ритуал на слово<sup>3</sup>.

Для создания всех практикуемых теми или иными видами способов удовлетворения жизненных потребностей эволюция использует только один метод. Осуществляет она это посредством жесткой фиксации определенного порядка действий, приводящих к возникновению каких-либо преимуществ у практикующих эти действия особей, и закрепления этого порядка в памяти: генетической (наследственные коорди-

<sup>3</sup> Фундаментальное единство "мысли", "слова" и "дела", т.е. полная взаимообусловленность процессов категориального (=знакового) восприятия и указанных типов моторных реакций, наглядно демонстрируется с точки зрения эволюции семиозиса в [Allott 1994: 259–267]. В целом, в последние годы в семиотике можно наблюдать некоторое оживление интереса к проблеме, поднятой еще Пирсом, ставившим вопрос о зависимости знака ("знаковости") от феномена восприятия. Этот вопрос подробно рассматривается, например, в [Stjernfelt 1992] и так или иначе затрагивается в ряде других работ.

нации, безусловные рефлексy) и биографической (условные рефлексy, а также знания, хранимые традицией). В потоке таких преобразований рождаются, наконец, и "сублимированные" координатии, призванные обслуживать коммуникативные потребности: это ритуал – далее – как венец, коронующий эту фундаментальную для всех природных процессов тенденцию к упорядочиванию, – слово. Но данная тенденция – только одно из двух основных звеньев цикла развития. Она регулярно сменяется противоположной ей тенденцией к изменчивости, которая вновь дает материал для отбора более экономных вариантов поведения.

При переходе от биологического ритуала к слову отчетливо выделяемо промежуточное звено, ключевой момент которого мы будем без всяких кавычек обозначать словом *к л я т в а*. Это – угрожающе-предостерегающий звуковой сигнал, который, выделяясь из ритуализованного взаимодействия и абстрагируясь от него в процессе дальнейшего развития, задает образец для всех функциональных единиц новой знаковой системы – языка.

1.2. Несколько забега вперёд, скажем, что рассматриваемая ниже прототипическая ситуация – гораздо более важное явление, чем просто фрагмент внеязыковой действительности, описываемый словами типа "клятва", "брань" и т.п. Как прямо вытекает из данных, полученных этологами путем кропотливейших наблюдений над особенностями поведения животных и человека, именно в таких ситуациях эволюционные процессы вырабатывают особые структуры, предназначенные специально для производства знаков.

Таким образом, далее мы будем рассматривать ситуацию, где функционирует прототип человеческой клятвы – угрожающе-предостерегающий звуковой сигнал, обычно выступающий в сочетании с принятием позы боевой готовности. В таких ситуациях стимулом, побуждающим вступить в коммуникацию, является момент, когда некоторая особь воспринимает действия другой особи как вторжение в область ее "права" (территориального или обусловленного социальным рангом) (ср. [Kuiper 1960]).

В данном контексте термин ситуация в самых общих чертах совпадает с рамками тех неделимых поведенческих процессов, которые обычно описываются схемой "стимул – реакция – завершающий акт". Таким образом, стимул – "особь, расцениваемая как конкурент, который переступает критический предел" – здесь будет первым знаком, открывающим коммуникативную ситуацию. Что же в данном случае следует принимать за значение?

Сделаем небольшое отступление в область межвидовых отношений и рассмотрим эту проблему на конкретном примере. Известно, что зеленые мартышки (один из видов обезьян) используют три различных сигнала тревоги, соотносящихся с различными типами опасности. Предлагалась интерпретация этих сигналов как обозначающих различные классы хищников, что по существу эквивалентно процессу именованию в человеческой речи. Однако против этого существует справедливое возражение, настаивающее на том, что такие сигналы обозначают не классы хищников, а ответные реакции, вызванные появлением хищника и состоящие из действий, посредством которых данная опасность избегается [Csányi 1992 : 39]. Действительно, исследователи обычно так и описывают значения этих сигналов, например: "сигнал тревоги, спровоцированный появлением орла (an eagle alarm), о з н а ч а е т (разрядка наша. – Ю.М.), что нужно бежать с вершины дерева и укрываться в гуще ветвей" [Preuschoft S., Preuschoft H. 1994 : 78]. Тот факт, что молодые особи, еще не имеющие опыта встречи с орлами, издают нужный сигнал тревоги даже при виде падающего листа, говорит о том, что у них нет знания класса хищных орлов, но есть врожденное знание о том, как правильно реагировать на стимул "нечто, опускающееся по воздуху сверху". Это знание фокусируется на нужном классе объектов уже в процессе обучения.

Очевидно, что с точки зрения целесообразности для выживания необходимо знать и источник опасности, и то, посредством чего она избегается. Также очевидно, на наш

взгляд, что сигнал в отличие от слова обозначает не класс объектов в смысле парадигматического противопоставления другим классам, а класс ситуаций, где вполне могут фигурировать и различные источники опасности, тогда как объединение ситуаций в один класс производится на основе сходства или тождества реакций, "приписанных" к этим объектам. Этому можно привести примеры и из человеческой практики.

Экстраполяция данного вывода на все типы сигналов, существующих в животном мире, вряд ли будет противоречить каким-либо данным этологии и психологии. Поэтому в рассматриваемом здесь случае под семантикой стимула "особь, в своем поведении переступившая допустимую грань" мы будем прежде всего понимать определенные поведенческие программы, или – в терминах когнитивной лингвистики – скрипты, существующие в системе знаний особей одного вида и предписывающие им те или иные ответные реакции. Учитывая неразрывность поведенческой цепи "стимул – реакция – завершающий акт", а также то, что ментальные структуры, обозначаемые термином "скрипт", репрезентируют ситуативную динамику, можно считать, что в семантику данного стимула входит вся последующая ситуация.

Естественно предположить, что сама возможность целесообразной реакции здесь базируется на том, что в памяти вступающих в контакт особей существует определенное представление о жизненно важном пространстве, которое следует оборонять от конкурентов. Это представление можно было бы считать эквивалентным тому, что в лингвистике принято называть понятием или сигнификатом. Однако в связи с рассмотренной выше спецификой семантики сигналов здесь более уместными представляются термины "ценность" и "жизненная значимость" (об их различии см. 1.4). Таким образом, под значением в дальнейшем будет пониматься прежде всего то, что способствует выживанию, размножению и улучшению условий обитания биологического вида (ср. [Sharov 1992: 350, 354–357]). Таким образом, кроме предписанной указанным стимулом поведенческой программы в его значение входит врожденное или основанное на предшествующем опыте знание жизненной значимости ситуации, на фоне которой эта программа реализуется.

1.3. Если учесть, что нарушающая границы особь вовсе не обязательно вкладывает в свое поведение знаковое намерение, то в рассматриваемой ситуации стимул является знаком только с точки зрения воспринимающего аппарата. Однако данный стимул предписывает прежде всего реакцию посредством того, что можно назвать знаком уже с точки зрения производящего аппарата. Здесь это будет простейший ритуал угрожающего предостережения, представляющий собой упомянутую выше демонстрацию боевой готовности.

Целесообразность этого символического действия заключается в том, чтобы предотвратить нанесение физического ущерба собрату по виду. Соответственно, такой знак образовывается посредством трансформации того поведения, которое в изначальной своей функции направлено на осуществление подобных действий. То есть вместо того, чтобы направить определенные действия на нанесение физического ущерба, особь предварительно демонстрирует эти действия другой особи. Вследствие такой функциональной переориентации соответствующая поведенческая программа в ходе эволюции претерпевает определенные изменения (редукция, утрирование наиболее показательных деталей, строгое упорядочивание последовательности демонстрируемых действий и т.п.) и превращается в особые двигательные координации. На другом полюсе этого превращения осуществляются противоположнонаправленные изменения, приводящие к появлению координаций, уравновешивающих первые (см. 1.5).

Итак, учитывая данные этологии, можно сказать, что на рассматриваемом этапе развития коммуникативной ситуации знак "угрожающий ритуал" имеет денотатом те действия, которые существуют пока только в намерении отправителя и которые будут осуществлены при условии, если со стороны адресата не будет получено соответствующего знака, тормозящего запуск этих действий.

1.4. Как отправитель, так и получатель знака ясно представляют себе обозначаемые действия, т.е. денотат един для обоих. Последнее можно постулировать и для ценности данного знака – она "безучастна" по отношению к вступающим в коммуникацию конкретным индивидам. Ценность – общевидовое достояние. Она всегда положительна с точки зрения выживания и процветания вида. В данном случае ценность заключается в преодолении препятствий, в предупреждении столкновения, наносщего ущерб сообществу. Предостережение же в онтологическом плане – всегда за прет и условие, или – на более абстрактном уровне – граница и договор.

Однако в рассматриваемом знаковом акте кроме абстрактной ценности, доступной, пожалуй, лишь отстраненному наблюдению, существует и нечто, что отправитель и получатель оценивают по-разному. По отношению к такой индивидуальной оценке мы будем использовать термин "жизненная значимость", или просто "значимость". В отличие от абсолютности, свойственной ценности, значимость – величина переменная, т.е. она непосредственно связана с функцией. С точки зрения отправителя, угрожающий ритуал всегда выполняет положительную функцию. В рассматриваемом случае посредством обозначаемой агрессии отправитель защищает свою ценность – жизненное пространство. В эмоциональном восприятии получателя в зависимости от его социального ранга этот знак интерпретируется либо как препятствие, ограничивающее личную свободу, либо как оскорбление. Отрицательное для адресата значение функции ритуала обусловлено ассоциацией с возможным наказанием за нарушение границ чужого "закона".

По нашему мнению, именно различная с позиций отправителя и адресата значимость одного и того же знака обуславливает отмеченную в 1.1 энантиосемию слов типа *клясться*, *хаять* и т.п. В контексте наличной ситуации знак для обоих коммуникантов практически всегда однозначен, но по-разному оценивается ими. Можно постулировать, что многозначность в таких случаях – это главным образом достояние отстраненного наблюдателя, и – соответственно – отвлеченной от речи языковой системы. То есть возможность различной интерпретации возникает прежде всего тогда, когда знак используется не участниками ситуации, а для описания этой ситуации со стороны.

Если по отношению к рассматриваемому здесь случаю наблюдатель употребит фразу "особь А посылает знак угрозы особи Б", то ее можно интерпретировать в зависимости от эмпатии либо как "особь А защищает себя или свою территорию от особи Б", либо как "особь А наносит оскорбление (бросает вызов) особи Б". К подобным интерпретациям, как мы думаем, и восходят вышеупомянутые значения русск. диал. *хаять*, трактуемые как омонимы. Если объект глагола *хаять* – нечто, являющееся ценностью для субъекта, то реализуется значение 'заботиться', т.е. 'оберегать, защищать'. Если же объект – адресат вербального действия, то значение 'порицать, ругать'.

Характерной чертой ритуальных актов является их одновременная двунаправленность – к "своему" и к "чужому" адресатам (см. 2.1). Поэтому в ритуальном мышлении подобные значения сосуществуют неразрывно. *Нехай* – производное от *хаять* – исследователи возводят к *хаять* 'заботиться'. Однако значение этого производного 'пусть', т.е. 'не мешай, не препятствуй', или – ближе к рассматриваемой теме – 'не возбраняй' (=не препятствуй бранью-обороной), говорит и о противоположной возможности. Аналогичную энантиосемию можно наблюдать в сербохорв. *kâp* 'укор, наказание' и 'забота' (см. также 3.3), близки к этому употреблению англ. *charge* в значениях 'обвинение', 'атака' и 'забота, ответственность', а также многие другие модификации основывающейся на данном принципе энантиосемии, для характеристики которых у нас недостаточно места.

1.5. Поставленное посредством угрожающего ритуала условие требует ответного знака. Вариации сюжетов дальнейшего развития ситуации в зависимости от выбранных критериев можно свести к двум, трем и более типам. Однако для завершенности

контура взаимодействия и, соответственно, для охвата основных семантических параметров ситуации вполне достаточно остановиться на самых редуцированных вариантах, которые можно обобщить как "акт умиротворения". В отличие от ритуала, демонстрирующего угрозу, "гасящие" ее жесты и позы более разнообразны как в формальном, так и в содержательном плане, что, очевидно, связано с особенностями господствующих у тех или иных видов способов построения социальной иерархии. Руководствуясь социальным критерием, акты умиротворения можно свести к трем основным типам: если адресат хочет избежать столкновения или наказания, он должен в зависимости от существующих между ним и адресантом отношений либо предъявить последнему свои мирные намерения (член другой группы), либо выразить покорность его воле (младший по рангу), либо обозначить уважение к его естественному праву (равный, – а в сообществах с развитым этикетом, как, например, у волков и человека, – здесь возможен также и старший по рангу).

В противоположность демонстрации боевой готовности умиротворяющие ритуалы денотируют не агрессивное поведение, а позы и двигательные координации, свойственные различным состояниям пассивности или "обезоруженности". Видосохраняющая ценность этих знаков – торможение агрессии, или ее отвод в безопасное для сообщества русло. Значимость для отправителя здесь преимущественно отрицательна, так как он принимает чужие условия, и, соответственно, – положительна для адресата, восстанавливающего или расширяющего границы своего жизненного пространства.

Здесь пока не затрагивается завершающий ситуацию акт, который, как нам показалось, удобнее представить в анализе межгрупповых отношений (см. 2.2).

Итак, мы вкратце рассмотрели коммуникативную ситуацию, где функционируют простейшие знаки-ритуалы – угрозы и умиротворения. Рисунок взаимодействия этих ритуалов представляет собой типичный регулирующий контур, предназначенный в данном случае для поддержания равновесия в системе внутривидовых или внутритрупповых отношений.

1.6. Исходя из самых общих закономерностей протекания психических процессов, можно постулировать, что рассматриваемая коммуникативная ситуация представлена в психике каждого из участников как целостное психическое образование, отражающее процесс собственного взаимодействия с другим участником. Этот процесс сопровождается качественно единым эмоциональным состоянием и протекает на непрерывном временном интервале от момента возникновения конфликтного напряжения до момента его снятия. Принимая естественное допущение, что особи одного вида имеют сходный (по крайней мере, в основных аспектах взаимодействия с реальностью) жизненный опыт и в процессе взросления проходят тот или иной путь по иерархической лестнице, можно постулировать, что у каждой особи такая ситуация, в зависимости от ролевого участия, представлена как минимум в двух основных вариантах: позитивном (защита ценности) и негативном (наказание, принятие чужих условий).

Таким образом, если абстрагироваться от наличной ситуации, то – согласно семиотическому правилу обращения планов выражения и содержания – каждый фигурирующий в наличных ситуациях знак, если его использовать для целей описания таких ситуаций, способен репрезентировать как всю ситуацию в целом, так и любой ее значимый фрагмент, в том числе и другой знак со всеми его значениями.

1.7. Подводя итог описанию прототипической ситуации на уровне взаимодействия отдельных особей, рассмотренный контур взаимодействия можно в самых общих чертах представить в следующем виде. У каждой особи существует свое жизненное пространство, границы которого определяются, согласно К. Лоренцу, "исключительно равновесием сил" [Лоренц 1998а: 87]. Таким образом, граница – это исходно чисто психическая сущность, критическая линия, активизирующая знак о ее поведение. Можно сказать, что граница – это универсалия для всей природы, порождающая знак и сама же им являющаяся, так как ни знак, ни граница не существуют раздельно (разумеется, речь идет не только о территориальных границах, но и о тех

"пограничных знаках", которые существуют в психике в виде аффективных следов, полученных в процессе формирования поведенческой нормы). Факт, что особям свойственно быть озабоченными не только охраной и обороной своих границ, но также стремлением к их расширению, в немалой мере способствует регулярности и частотности "знаковых" столкновений и держит в постоянном напряжении соответствующие психические структуры, отражающие предшествующий аналогичный опыт.

## 2. СИМВОЛ ГРУППЫ. КЛЯТВА И БОЕВОЙ КЛИЧ

2.1. Подлинно революционные изменения в знаковых системах происходят тогда, когда внутривидовые отношения осложняются межгрупповыми, т.е. когда появляется новая функциональная единица – группа. Взаимодействия между группами ничем принципиально не отличаются от взаимодействий между отдельными особями. Однако внутри группы рождаются особые отношения, которыми можно найти параллели разве что только на уровне строения и функционирования организма отдельной особи.

Группообразование, или – в предельном случае – образование брачных пар, становится возможным благодаря явлению, которое этологи называют "переориентированным движением нападения" [Лоренц 1998а : 176]. На знаковом уровне это отображается в том, что особь, исполняющая ритуал, производит переориентацию демонстрируемой угрозы с одного адресата на другой, зачастую отсутствующий в наличии. За счет этого элементарного пространственного сдвига, исполняющего здесь те же функции, что и жесты пассивного умиротворения, угрожающий ритуал приобретает дополнительную смысловую нагрузку, которая несет сообщение о том, что демонстрируемая агрессия служит общим для отправителя и исходного адресата целям. Этим актом отправитель как бы берет на себя обязательство защищать исходного адресата в совместном противостоянии внешнему миру [Лоренц 1998а : 179]. Данная модификация угрожающего ритуала имеет уже двух адресатов – "своего" и "чужого", – что самым естественным образом объясняет сосуществование полярных значений в словах типа русск. диал. *халть*<sup>4</sup>. Отражение подобной двойственности мотиваций в незамутненном какими-либо иными коннотациями виде можно наблюдать в др.-инд. *hāryati* 'любит, желает, хочет' и 'требует, грозит, угрожает' [Кочергина 1996 : 77i].

Итак, угрожающий ритуал, используемый описанным выше образом, ложится в основу тех социальных связей, которые в конечном счете приводят к образованию всех сложных форм организации человеческого социума. С точки зрения глоттогенеза здесь знаменателен тот факт, что одна и та же стереотипизированная серия движений, т.е. одна и та же форма, обязательно включает в себе противоположные смыслы. И такие знаки-ритуалы, извлеченные из агрессивной формы поведения и превращенные в общегрупповые символы, становятся "завязью" фундаментальных концептов, лежащих в основе человеческой культуры.

2.2. Важной особенностью ритуала на данном этапе становления является то, что он выходит за пределы наличной ситуации и успешно функционирует при отсутствии внешней угрозы. И даже более того, при длительном отсутствии такой угрозы, – что закономерно влечет за собой возрастание внутренних конфликтов, – он функционирует чаще и интенсивнее, стремясь удержать группу от распада. Эта восстанавливающая единство функция не раз подчеркивалась исследователями ритуала в человеческой культуре (см., например [Тэрнер 1983:112; Топоров 1988:48]). Факты отсутствия реального "врага" в ситуациях исполнения ритуала говорят о возросшей его символичности. Его детонатором являются уже прошлые ситуации, в которых группа совместными усилиями достигала каких-либо значимых завоеваний. В человеческой

<sup>4</sup> Разумеется, такая амбивалентность сигналов не ограничивается только уровнем характеризующих здесь церемоний, но пронизывает практически весь зоосемиозис, начиная с элементарной маркировки "запахом" (scent marking), где реализация какого-либо из амбивалентных значений ('безопасность' или 'угроза') зависит от групповой принадлежности адресата ('свой' или 'чужой') [Noth 1994: 53].

культуре это отразилось в противопоставлении мифического сакрального времени текущему профанному, – в облеченных в ритуальную форму описаниях деяний богов, первопредков и культурных героев, задающих парадигму существующему миропо-рядку.

Начало процесса абстрагирования ритуала из контекста наличной ситуации, как мы уже отмечали [Монич 1998: 116], коренится в динамике протекания психических процессов. В этологии конечный этап единого поведенческого цикла обозначается термином "завершающий акт" [Лоренц 1998б: 319]. В рассматриваемом нами цикле взаимодействия завершающий акт заключается в том, что те же ритуализованные действия, с которых начинается столкновение с противником, спонтанно воспроизводятся сразу после благополучного разрешения конфликтной ситуации. Это со всей очевидностью прослеживается в динамике употребления боевого клича, – прямого наследника прототипического ритуала-группового символа (см. 2.3). Вы-ражая угрозу во время атаки, тот же боевой клич символизирует победное торжество. Таким образом, торжественная и праздничная атмосфера ритуала во многом восходит к психическим эффектам, возникающим при резком снятии сильного эмоционального напряжения в победе над опасным противником. Потребность в переживании этих ощущений делает ритуал с а м о ц е л ь ю, в чем и коренится отмеченное еще Б. Малиновским различие между двумя типами ритуалов: магическим и религиозным [Малиновский 1998: 39–40]. Если магический ритуал как инструмент прямого воздействия на враждебные силы исполняет функции боевого клича-угрозы, то религиозный – боевого клича-торжества<sup>5</sup>. В конечном счете процесс символизации угрожающего ритуала приводит к тому, что "чужой" его адресат предельно обобщается и постепенно превращается в сверхестественный мир духов и богов.

Характерно, что в моменты, когда ритуал в своей религиозной ипостаси становится катализатором совместного торжества, связующим центром социума, он уничтожает то, что его магическая и социально-коммуникативная ипостаси создают кропотливым трудом в промежутках между праздниками. Он размывает все границы, разрушает все преграды и табу. Регулирующий контур двух рассмотренных выше типов ритуалов с утратой умиротворяющего ритуала с его отрицательным знаком закономерно превращается в цикл с положительной обратной связью. В результате этого иерархически структурированная группа становится единой массой. В создаваемом ею аф-фективном резонансе космос – упорядоченный мир группы – вырывается из своих пределов и сливается с хаосом в единообразном ритме, задаваемом участниками ритуального действия.

Как видно, ритуал, становясь групповым символом, привносит особые значения в динамику знакового поведения. В соответствии с выделенными выше денотативным, эмоциональным и ценностным уровнями семантики их в самом общем виде можно определить как 1) группа-масса, 2) торжество-праздник, свобода, 3) связь как лишен-ное границ мистическое единство и – с другой стороны – связь как упорядочивание, согласование совместной деятельности, подчинение единому закону-клятве, что в про-тивоположность семантике свободы рождает семантику необходимости, рока, судьбы.

<sup>5</sup> Разумеется, такое разграничение между магической и религиозной сферами касается только определяющих их глубинную мотивационную сущность полюсов, в то время как в средней части эти сферы существенно интерферируют (см., например [Токарев 1990: 405–407]), что со всей очевидностью просматривается в том, что такие элементы религии, как молитва, хвалебный гимн и жертвоприношение, восходящие преимущественно к умиротворяющей ветви ритуала, так же, как и магические акты, рассчитаны на *воздействие*, только направленное на божество с целью задобрить или испросить у него какие-либо блага, тогда как магия использует методы, продолжающие линию активной обороны, агрессии или обмана противника (об осторожной роли ритуального обмана см. [Толстая 1995: 109]). В целом же, есть основания говорить о том, что магия покоится на разграничивающей функции ритуала, отвечающей за противостояние и вражду, в то время как религия – на объединяющей, нацеленной на сглаживание противоречий.

2.3. Как было отмечено в 2.2, в наши дни еще сохраняются ритуалы, функционирующие на уровне прототипа межгрупповых взаимодействий. Это воинские ритуалы, центральным звеном которых является боевой клич. Попробуем вычленить основные ситуации употребления боевого клича.

1) Столкновение двух враждебных воинских подразделений. Атака. Здесь очевидным образом представлено исходное значение угрожающего предупреждения-требования.

2) Принадлежащие двум различным, но дружественным или нейтральным армиям, подразделения приветствуют друг друга. Здесь боевой клич символизирует союзные обязательства или мирный договор.

3) Войско приветствует своего военачальника или свое подразделение, вернувшееся после выполнения задания. Здесь символизируется единство войска.

4) Праздник. Торжественное настроение. Некоторые случаи особо торжественных церемоний приветствия. Эти типы ситуаций восходят к трем первым типам, или – по крайней мере, вместе с ними питаются из одного аффективного источника, – и совершенно не нуждаются ни в контексте реальных боевых действий, ни в принадлежности участников к разряду военнослужащих. Подобного рода связь положительных эмоций с боевыми действиями запечатлелась, например, в др.-инд. *raṇa* – 'радость' и 'борьба', *ratha* – 'колесница; воин, сражающийся на колеснице, герой' и 'радость, наслаждение'.

Тот факт, что значения боевого клича жестко обусловлены не языковыми, а ситуативными контекстами, – отчего они слабо рефлексированы теми, кто его употребляет, – говорит о его прямой связи с естественной спонтанностью ритуала, функционирующего на "докультурном", биологическом уровне. На примере охарактеризованных ситуаций можно видеть, что знак "клятва-боевой клич", относясь к знаковой системе явно не языкового типа, все же обладает развитой способностью функционировать при полном отсутствии внешних стимулов, – т.е. в прямом смысле соотноситься с прошлыми и будущими событиями. Как видно, только в одном типе ситуаций боевой клич может рассматриваться как прямой ответ на внешний стимул. Это ситуации непосредственного боевого столкновения, атаки (и отчасти, пожалуй, естественно примыкающие к ним ситуации победного торжества, которые, впрочем, уже можно рассматривать как чисто символические). В остальных же случаях – праздник (праздничное, торжественное настроение), церемонии торжественного приветствия и т.п. – употребление боевого клича уже явно диктуется внутренними (эндогенными) стимулами, которые исходят от потребности переживания эйфории, восходящей филогенетически к резкой эмоциональной разрядке при атаке и ее победном завершении, производящем эффект "освобождения", "расширения-увеличения" (подробнее см. 5.4).

Соотнесенность ритуального знака с "будущим" отчетливо просматривается, например, в брачных церемониях у многих видов животных, где самец, исполняя угрожающий ритуал перед самкой, адресует ей сообщение о том, что он намерен в будущем ее защищать, на что недвусмысленно указывает так называемая "переориентированная" направленность ритуального акта в сторону предполагаемого или воображаемого "врага".

Отмеченная способность клятвы-боевого клича соотноситься с прошлыми и будущими событиями, практически отсутствующая у других естественных сигналов, делает ее наиболее удобным "сырьем" для создания конвенционального языкового знака (см. 4.4).

### 3. ФУНКЦИИ КЛЯТВЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ

При наблюдении за семантическими структурами и родственными связями слов, соотносящихся с понятием клятвы, становится очевидным, что это понятие регулярно возникает в окружении реалий и иных понятий, прямо (или опосредованно через



определенные культурные инновации) связанные с теми семантическими параметрами, которые были охарактеризованы в предыдущих разделах.

В приводимых ниже примерах мы не затрагиваем вопроса о первичности тех или иных мотиваций, или о направлении семантического развития, поскольку этот дискуссионный вопрос требует особого рассмотрения. В данной статье он затрагивается лишь вскользь в отдельных пунктах (см., например, 3.2).

Начнем данный раздел с пункта, от языковых иллюстраций которого мы предпочли воздержаться.

3.1. В прототипической коммуникации исходная (сигнальная, по К. Лоренцу) функция угрожающего ритуала проявляется в том, что он замещает требующую больших энергозатрат и небезопасную "контактную" агрессию ее символическим изображением. В семиотике процесс символизации агрессивного поведения характеризуется как "жест вместо акта" [Степанов 1998: 135]. Даже при поверхностном взгляде становится очевидным, что в человеческой культуре наиболее несублимированный вариант этой древнейшей функции ритуала закрепился за обценной, или "матерной", лексикой, а также за некоторыми сопутствующими ей жестами и позами. Базовая денотация этих вербальных и невербальных знаков говорит об определенных особенностях способов построения социальной иерархии. Подобный "сексуальный" план выражения межранговых отношений наблюдается в отнюдь не табуированном виде у многих видов приматов. По отношению к динамике конфликтного взаимодействия денотируемые рассматриваемым способом акты занимают место завершающих актов, которые производят самец над самкой после того, как сломлено сопротивление последней. Это "постситуативное" положение символически обобщается и распространяется на прочие типы отношений, обозначая позиции власти и подчинения уже независимо от сексуальной подоплеки.

Невзирая на подобные коннотации, исходная функция знакового поведения сохраняется у табуированной лексики в довольно неприкрытом виде. Непосредственно жизненный опыт показывает, что бранные слова спонтанно рождаются в условиях, когда возникает потребность в наступательно-оборонительных реакциях. Разумеется, мы имеем в виду в первую очередь те случаи, когда брань направлена на конкретного адресата или его действия. Использование бранной лексики для холостого "сотрясания воздуха" имеет более сложные мотивации. Есть все основания полагать, что такая потребность коренится в тех же слоях психики, где покоятся магические представления, и, таким образом, безадресатная брань родственна актам заклятия пространства, магическому кругу и прочим продуктам деятельности магических ритуалов.

3.2. Семантика вербальной агрессии закономерно фиксируется лексикой, в связях которой без труда вскрывается типичный для такого типа знакового поведения ситуативный контекст. В историческом плане здесь показательна связь между *брань* (др.-русск. *боронь*), *оборона* и *бороться*. Характерно, что др.-русск. *боронь* фиксируется только в общем значении 'борьба, препятствие'. Употребление заменившего эту древнюю форму старославянизма *брань* в качестве родового термина для обозначения вербальных актов, не вписывающихся в рамки культурной нормы, вероятно, – явление относительно позднее. Однако значение 'бранить' наблюдается также в литов. *bãrũ, barũ*. Другие индоевропейские соответствия фиксируют значения не вербальной, а физической агрессии: др.-исл. *beria* 'бить', лат. *ferire* 'бить, рубить, колоть' и др. Независимо от того, имелось ли значение 'брань, ругань' у данной группы слов в древности, или же оно впоследствии отдельно развилось в русском и литовском (что представляется более вероятным), сам факт его появления говорит о том, что вербальная агрессия является неотъемлемым элементом ситуаций, с которыми регулярно соотносились рефлексы соответствующего индоевропейского архетипа. В таких случаях сознание носителя языка, конкретизируя фоновое значение ситуации, естественно фокусируется на каком-либо значимом ее акте: вербальном (бранить), физическом (бить), или, как в чеш. *braň* и польск. *broń* 'оружие', – на

материальных посредниках действия. В русск. *броня*, в противоположность семантике 'оружие', фокус внимания фиксируется на материальных средствах защиты.

3.3. Не менее показательна в плане иллюстрации прототипических связей и функций клятвы группа слов, родственных др.-русск. *корь* 'оскорбление, брань'. Наиболее акцентирована в этой группе функция возмездия, наказания: в жесткой форме – русск. *кара*, польск. *kara*, словен. *koríti* 'наказывать', польск. *korzyć* 'унижать, смирать', русск. *покорять*; в более мягкой форме – русск. *укорять*, болг. *коря* 'порицаю', словен. *karati* 'порицать, делать выговор', чешск. *karati* 'упрекать, укорять'. Весьма симптоматичны в плане указания на прототипические связи такие факты, как болг. *карам* и сербохорв. *каp*. В болг. *карам* 'погоняю, привожу в движение, управляю движением' заметна утрата конкретной семантики наказания и замена ее более фоновым значением, соотносимым с прототипическими мотивами властного контроля за территорией. Подобная семантика часто возникает на еще более общем фоне охранно-оборонительных мотиваций, который обнаруживает себя в сербохорв. *каp* 'укор, наказание' и 'забота' (ср. русск. диал. *халть* 'ругать, порицать' и 'заботиться'). Естественность развития затронутых семантических тем из одного источника можно проиллюстрировать множеством фактов, например, и.-е. \**g<sup>h</sup>en-* дает русск. *гнать*, латышск. *ganīt* 'стеречь, пасти', *dzīt* 'защищать', ирл. *gonim* 'раню', др.-инд. *hānti* 'бьет', др.-исл. *gunnr* 'борьба'.

За пределами славянских языков продолжения и.-е. \**kar-* обнаруживают закономерное для уровня межгрупповых взаимодействий значение 'войско', наблюдающееся в литов. *kāriasis*, ирл. *cuire*, др.-перс. *kāra-* (также 'народ'), гот. *harjis* (ср. др.-инд. *vārūtha* 'доспехи, щит, охрана, войско, множество' при литов. *varyti* 'гнать'). Некоторые исследователи сомневаются по поводу включения этих слов в рассматриваемую группу (см., например [Черных 1994, I: 378]). Однако, на наш взгляд, вполне очевидно, что значения типа 'защищать' и 'прогонять', отражающие природные функции клятвы-угрозы, относятся здесь к значению 'войско, народ' так же, как имена действий относятся к именам деятелей. Это можно наглядно продемонстрировать непосредственной связью между лат. *agere* 'гнать, вести; соблюдать, сохранять; действовать; говорить; жить' и *agmen* 'войско, толпа, вереница', в отношении к которым *ager* 'земля, надел' может рассматриваться как принадлежащая *agmen*'у и охраняемая им территория, а *agināre* 'вертеться, изворачиваться' – как одно из самых характерных для соотносимых с ритуалом слов обобщений охранно-оборонительного аспекта существования (подробнее см. 3.6–3.7).

3.4. Связь клятвы еще с одним важным аспектом защиты – ее материальным воплощением в виде "огороженного пространства" – можно отметить в др.-греч. ἄρκος 'клятва' и ἔρκος 'ограда, преграда'. Кажется несколько странными слова Э. Бенвениста о том, что в "мировоззданиях древних греков нет ничего, что благоприствало бы такой интерпретации" [Бенвенист 1995: 338], в то время как воды Стикса, в греческой мифологии неоднократно прямо отождествляемые с клятвой, являются не чем иным, как г р а н и ц е й, п р е г р а д о й, отделяющей мир живых от мира мертвых. Параллелью этому является фрагмент древнеиндийской космологии, где божество Варуна олицетворяет как водную стихию, окружающую мир и защищающую его от хаоса, так и жестокое возмездие за клятвopреступление. Очевидно, что и то и другое покоится на представлениях о границе, преграде, запрете.

Петля Варуны – суровый символ клятвы-обязательства (ср. др.-русск. *вервь* 'община, принадлежащий общине земельный надел' и *вьрвь* 'веревка' (опредмеченная клятва), которые, как и др.-инд. *Vāruṇa-* восходят к и.-е. \**uer-u-*). Здесь мы видим один из вариантов материального воплощения уже другой базовой функции ритуала. Однако и для др.-греч. ἔρκος мотивация от связующе-объединяющей функции не менее законна, чем от защитной. В подобных случаях обе мотивации сосуществуют неразрывно, так как связь здесь служит защитным целям. В процессе строительства

искусственного укрепления связующе-упорядочивающая функция ритуала материализуется так же, как в результате этого процесса – будь то ограда или дом – материализуется защитная функция. В дальнейшем эти отношения закономерно проецируются в ткаческое ремесло (ср. ср.-ирл. *fertas* (< и.-е. \**ǵer-t-*), где охранно-оборонительное вращение материализуется с одной стороны как защитный вал, с другой – как веретено, т.е. орудие ткаческого ремесла, символизирующее в то же время ось вращения мира, тогда как окружающий поселение вал здесь символизирует его обороняемые границы). В подобных случаях мы имеем дело – используя удачный термин С.Г. Проскурина – с концептуализированными областями вещественного мира, где материальные предметы, перенимающие функции ритуала, становятся своего рода вещественными знаками концептов.

3.5. Центральное место и значение клятвы в формировании правовой и религиозной сфер деятельности вряд ли нуждается в обосновании. Можно привести известное соотношение между лат. *jus* 'право' и производным от него глаголом *jūro* 'клянусь'. Здесь право как бы находит осуществление в своего рода вербальных "путях", обязывающих клянущегося к исполнению изрекаемых формул. Базовую семантику обязательства можно обнаружить в более отдаленных связях *jūs* с *jugo* 'связываю', 'привязываю'. Оба слова восходят к и.-е. \**ǵeu-* с закономерной ритуальной энантиосемией: 'связывать, соединять' и 'одевать, отстранять, разъединять'. В композите *jūrgāre* (< *jūs* + *ago*) 'ссориться, ругать, бранить, судиться' правовой акт как бы "регрессирует", возвращаясь к нормам прототипических отношений. Это, как нам кажется, довольно недвусмысленно указывает на психическую локализацию и природные истоки человеческого закона и права.

Те же мотивы связи-обязательства лежат в основе лат. *religio* 'совестливость, благоговение, святость, религия (больше в значении 'культ, почитание')', а также 'опасение, грех, вина, суеверие'. Это слово, выражавшее, как нетрудно заметить, довольно широкий спектр смыслов, дало современный термин для обозначения системы отношений, связывающих человека со сверхъестественным миром. *Religio* восходит к глаголу *religāre*, который мог реализовываться как в значении 'связывать', так и 'развязывать' (в чем можно видеть границу между двумя группами значений *religio*), и далее – к *ligāre* 'связывать, сдавливать, сковывать'. Употребления, подобные *ligāre pactum* 'заключать договор' или *ligāre conjugium* 'вступать в брак, заключать брачный договор', показывают, какие представления лежат в основе договорных соглашений – как между людьми, так и между человеком и богом, – особенно, если учесть, что эти выражения в этимологическом аспекте почти тавтологичны (*conjugium* < *jugāre* 'связывать', *pactum* < *pangere* 'вбивать, вколачивать; слагать, сочинять', т.е. в основе опять же представления о соединении). Специфику же собственного религиозного сознания составляет прежде всего особый эмоциональный фон, который отражен в *religio* и закономерно отсутствует, например, в юридическом термине *obligatio* 'обязательство, поручительство' (< *ob-ligo* 'связывать, обязывать, торжественно обещать').

3.6. У древнерусского религиозно-правового термина *вѣра* отмечалось также употребление в значении 'присяга, клятва' [Черных 1994, I; 141]. Древнеисландская богиня, олицетворявшая клятву верности, носила имя *Vār*, того же корня, что и русск. *вера*. Вероятно, сюда же в конечном счете восходит и вышеупомянутый Варуна (др.-инд. *Váruṇa* < и.-е. \**ǵer-u-*). Следует сказать, что архетип \**ǵer-* дал весьма внушительное количество производных, способных иллюстрировать все грани прототипической семантики с самых разнообразных позиций. Многие из этих производных от фона защитно-объединяющих смыслов отделили и оформили понятия жизненного пути и вращения, например, др.-в.-нем. *wurt* 'судьба, участь, рок', русск. *вертеть*, др.-инд. *varṭate* 'вертится; существует, проживает, занимает место; случается', лат. *vector, verti* 'вращаться, кружиться; находиться, пребывать; изменяться, превращаться'

и т.д. В том же направлении развития оформилось и понятие ценности (ср. нем. *Wert*, англ. *worth*, кимр. *gwerth* 'цена' и т.д.). Эти, а также многие другие языковые данные, показывают, что прототипические отношения на бессознательном уровне репрезентированы как находящиеся в непрерывном охранно-оборонительном вращении. Пожалуй, каждый язык имеет способы описания образа жизни или поведения через вращение (ср. русск. *вертеться*, *крутиться*, *изворачиваться*, *выкручиваться*, нем. *sich herauswinden*, *sich herausdrehen*, лат. *conversatio* 'образ жизни или действий, общение, обхождение, использование', др.-инд. *vṛtti* 'поворот; поведение, характер, нрав, привычка; деятельность, работа, средства к существованию'). В конечном счете, вращение нашло свое законное место и в первобытной картине мира, что в связи с затронутым архетипом \**uer*- можно проиллюстрировать такими фактами, как уже упоминавшиеся др.-инд. *Váruṇa*- и ср.-ирл. *fertas* (см. 3.4), также лат. *vertex* 'вихрь, водоворот; голова, вершина, центр вращения неба, небесный полюс', русск. *время*, где зафиксировалась идея цикличного вращения макрокосма, и т.д.

3.7. Итак, пользуясь клятвой-угрозой как древнейшим знаковым средством регулирования внутривидовых отношений, человеческий индивид или согласованно действующая группа возводят и поддерживают вокруг себя символическую преграду, защищающую их от внешнего мира. В динамике клятва проявляется в том, что ею "клянут" противника, отбрасывая его от своей территории, и ею же клянутся друг другу в верности или в соблюдении договорных обязательств. В статике охранно-оборонительные функции клятвы овеществляются в различных защитных укреплениях, оружии, а также в средствах, используемых для связывания и скрепления в строительстве, а в дальнейшем и в других видах деятельности.

Общая для группы клятва является для ее членов одновременно законом, боевым кличем и опознавательным признаком, отличающим группу от других групп. Иными словами, группа отождествляет себя со своей клятвой. И эта клятва-группа стоит не только на страже границ своей территории, но и на страже порядка в собственных пределах, карая клятвopреступников, чем как бы "излечивая" и защищая саму себя от "порчи".

Естественно предположить, что те же эволюционные процессы, в потоке которых рождается ритуал, в конечном счете редуцируют его до одного, – достаточно репрезентативного и самого экономного с точки зрения энергозатрат действия – звукового сигнала. Это действие и развивается в слово человеческого языка. Таким образом, те исходные слова, которые возникли указанным путем, должны были так или иначе отражать в своей семантике описанный здесь единый комплекс представлений. Бессознательные психические процессы упаковывают этот комплекс в следующую схему, наличие которой, как нам кажется, подтверждается тем, что в самых разных культурах и в самое разное время стабильно продуцируются одинаковым образом организованные языковые и мифологические картины мира.

В ритуальном мышлении пространство разделено на три значимые зоны: "свою", "чужую" и "нейтральную", т.е. границу, зону взаимодействия. Каждая из них имеет свою эмоциональную, причем визуализированную соответственно в белый, черный и красный цвета окраску<sup>6</sup>. "Свое" пространство заключено в круг, опоясанный нейтральной полосой, за которой существует только "чужое" пространство. Этот круг вычерчивается субъектом "своего" пространства посредством клятвы в непрерывном охранно-оборонительном вращении, остановка которого может привести к вторжению "чужого" пространства. Клятва локализована одновременно в центре и в границе круга. По существу – это та же элементарная физическая модель, которая повсеместно проявляется в природе от масштабов атома и до галактических

<sup>6</sup> Мы не имеем возможности для детального обоснования данного пункта. Отметим хотя бы тот факт, что он находит подтверждение как в единообразии ритуальной символики всего мира [Тэрнер 1983: 93–100], так и в не меньшем единообразии архаичной семантики цветообозначений, подробно исследованной в [Berlin, Kay 1969].

масштабов. Здесь так же действуют центростремительные (клятва как связь-обязательство) и центростремительные (клятва-проклятие) силы.

Можно добавить, что во вращении круга клятвы есть еще один динамический аспект: заключенное в оболочку клятвы пространство как бы пульсирует, – то сужаясь, то расширяясь, – в зависимости от психоэмоционального цикла, структурированного от будней к празднику (об отражении такого типа явлений в языковых фактах см. ниже, 5.4).

Благодаря тому, что жизненное пространство находится в непрерывном вращении, в ритуальном мышлении пространство и время естественно уживаются в едином образе. Как констатируют исследователи, «понятие "время" тесно связано первоначально с понятием "ограниченное, или обстроенное оградой, пространство (нашего) мира", причем некоторые материальные приметы последнего – "забор", "колонна", "дерево, стоящее в центре" и т.п. – символизируют одновременно как пространство этого мира, так и время событий, протекающих в этом пространстве, особенно – "круг событий"» [Степанов 1997: 122]. В качестве иллюстрации, как бы обобщающей эти основанные на этимологических решениях наблюдения, можно привести значения вьетнамской омонимичной группы *tru*, где "жизнь-вращение" в "огороженном пространстве" распадается на *tru* 'жилище, резиденция', *tru* 'пространство и время' и *tru* 'столб, колонна; столп, опора, оплот' (ритуальный центр мира, ось вращения), при этом население "огороженного пространства" соответственно растягивается во времени и развивается в *tru* 'потомки', а защитная семантика сужается в своей референции до *tru* 'шлем, каска' [ВРС 1961: 552].

Рассмотренную схему по ее значению и значимости для структурирования ментального пространства можно было бы назвать "психосемантической матрицей". Сквозь нее "фильтруется" вся новая (а также неопознанная сразу) информация, либо проходя через "врата-чистилище" вопроса-ориентировочного рефлекса и встраиваясь в систему знания, либо оставаясь у ее границ или вытесняясь в неосвоенные слои бессознательного. По нашему мнению, охарактеризованная здесь матрица представляет собой сложный мотивационный комплекс, который, подобно тому, как каждая клетка содержит в себе информацию о строении всего многоклеточного организма, включает в себе все базовые типы семантических связей, отображающихся как в динамике языкового развития, так и в синхронном функционировании языкового знака.

#### 4. ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАДАННЫХ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ

В нижеследующем изложении мы стремимся придать хотя бы относительно законченный вид вырисовывающейся на фоне ритуализованного поведения схеме эволюции соответствующего фрагмента языковой системы, пытаюсь устранить разрыв между биологической обусловленностью клятвы-боевого клича и конвенциональностью языкового знака.

**4.1.** Рассмотрим некоторые аналогии в звуковом и семантическом строе языка на фоне ритуала. Известно, что артикуляционный аппарат человека способен произвести бесчисленное количество самых разнообразных звуков. Однако в том и заключается специфика языка, что в нем непременно существует фонетическая система, служащая своего рода фильтром и пропускающая только те звукоtypы, которые соответствуют строго определенным характеристикам. Сходным образом жизненные ситуации порождают неограниченное количество возможных смысловых сближений и ассоциаций, из которых система отфильтровывает лишь немногие избранные, которые, как явствует из теоретических соображений, могут быть исчислены, хотя, вероятно, и не с такой точностью, как составляющие звуковой строй языка фонемы.

Подобные аналогии, собственно говоря, можно обнаружить между всеми самоорганизующимися системами. Поэтому рассматриваемому случаю вряд ли следует

приписывать отношение только к сугубо специфической идее изоморфизма различных уровней языкового строя. В целом, формальная и содержательная стороны языка могут расцениваться как относительно независимые, но коррелирующие и постоянно влияющие друг на друга системы, или, точнее говоря, подсистемы, объединенные системой более высокого порядка – языком, из которых первая относится к разряду моторных координаций, а вторая – к психической деятельности, и прежде всего, – к категориальному восприятию. Последнее, как достаточно убедительно показывается в [Allott 1994], являясь основой все знаковых процессов и само по себе будучи особым знаковым процессом, все же с самых ранних этапов эволюции шествует нераздельно с моторной деятельностью организма, и, таким образом, язык в целом – как в сфере звукопроизводства, так и в сфере категориального восприятия, составляющего основу семантики – конструируется на базе моторики нервной системы, монтирующей языковую систему из элементов всех уровней строения организма: анатомического, нервного, поведенческого [Allott 1994: 259; ср. также Schnelle 1994: 342]. Иными словами, знак, с точки зрения эволюции семиозиса, может быть охарактеризован как продукт деятельности всего организма, во многом (если не полностью) обусловленный ее структурой<sup>7</sup>. Коммуникативная система же в таком случае может рассматриваться как продукт совокупной деятельности особей или индивидов, т.е. организма социального.

Итак, из сказанного можно заключить, что ограниченность числа типов семантических связей, представленных в языке, филогенетически связана с закономерностями категориального восприятия, которое в свою очередь фильтрует поток информации через "сетку", вытканную структурами моторных реакций и поведенческих программ. То есть в психику пропускается только та информация, на которую филогенетически выработан определенный моторный отклик, и наиболее жизненно значимая часть этой информации, структурированная различными поведенческими схемами, как раз и становится тем психическим материалом, который обобщается в семантике знаковых систем.

Как мы пытались обосновать выше, сердцевину коммуникативных систем в живой природе составляет ритуализованная коммуникация, в которой используются знаки, представляющие собой сублимированные программы, вырабатывающиеся в процессах регулирования внутривидовых отношений. Исходя из этого, можно постулировать, что ритуал (в самом широком понимании этого термина) и есть тот самый "фильтр", структура ячеек которого с одной стороны задает образцы фонетическим системам, и с другой стороны обуславливает типы семантических связей и отношений, которые обнаруживаются как в синхронной, так и в диахронической перспективе наблюдения за языком.

Как вытекает из изложения предыдущих разделов, ритуал – это жестко предписанный порядок, – структура, которая в символической форме отображает иерархическую и пространственно-временную структуры мира социальной единицы, являющейся носителем ритуала. Поэтому приводимые ниже структурные параллели представляются теоретически вполне обоснованными.

4.2. Из психологии и этологии хорошо известно, что всякой социальной группе свойственно стремление к обособлению и противопоставлению себя всем другим группам. Поэтому появление каждой новой группы знаменуется появлением нового ритуала, в чем-то обязательно отличного от ритуала материнской группы. На данном уровне ритуалы могут рассматриваться как аналогичные личным и собственным

<sup>7</sup> В связи с этим небезынтересны такие взгляды на семиозис, берущие начало в основополагающих трудах Ч. Пирса и широко развиваемые в современной семиотике, которые с одной стороны отождествляют семиозис с ментальными процессами в противоположность физическим [Kull 1992: 222], и с другой – с жизненными процессами вообще [Sebeok 1986: 15; Emmesche 1992: 77; Merrell 1992: 255–257]. Еще более кардинален в своих взглядах В. Кох, в пансемиотической концепции которого семиозис существует на всех уровнях организации материи и начинается с самого момента возникновения космоса [Koch 1986: 54].

именам. Боевой клич – своего рода звуковое знамя, представляющее и символизирующее группу. Другими словами, знак, символизируя группу, и сам ведет себя как группа, т.е. имеет гомологичное ей устройство и те же тенденции к отличию от других знаков. Сущность поведения знака ярко отражена в семантике др.-инд. *várṇa-*, непосредственно семантически связанного с *várati* ‘покрывать, защищать, отражать’, *vāra-* ‘войско, толпа, множество’, *vṛti-* ‘ограда, забор’ и др. Термин *várṇa-* обозначает замкнутую группу людей, строго противопоставленную всему остальному обществу, вплоть до запрета экзогамии. Такая группа по существу непроницаема для членов других групп. Кроме этого, используется он также для обозначения окрова, защитной оболочки. Это, бесспорно, то, посредством чего группа огораживается от внешних воздействий. Еще одно значение – цвет, окраска – подчеркивает обособленность группы на визуальном уровне: все древнеиндийские варны имели свой особый цвет. О том, что подобная особым образом окрашенная защитная оболочка имеет не только опознавательное, но и предостерегающее значение, могут свидетельствовать германские параллели [ср. др.-англ. *wearn* ‘отряд, войско, толпа’, а также ‘сопротивление, оборона’ при *wearnian* (совр. англ. *to warn*, нем. *warnen*) ‘предостерегать, предупреждать’]. В узкоспециальном употреблении древнеиндийских грамматиков термин *varna-* имел значения ‘звук’, ‘слог’, т.е. это та же защитная оболочка, но уже со звуковой окраской, отличающей слово от других слов.

Все эти особенности можно обнаружить у любого нарицательного слова, только уже не на собственно семантическом, а на своего рода *пред*-семантическом уровне, промежуточном между формой и содержанием, т.е. на уровне формы существования значения слова. Вполне очевидно, на наш взгляд, что всякое нарицательное слово очерчивает границы некоторого психического пространства, в котором отражен определенный фрагмент внеязыковой реальности, как бы отделенный “защитной оболочкой” слова от остального мира и “заселенный” классом однородных объектов или ситуаций. В этом отношении слово, несомненно, продолжает “боевую” линию ритуала, миллионами лет осуществлявшего функции защиты и группового сплочения посредством своего угрожающе озвученного действия. Эту форму существования значения знака, в сопоставлении с охарактеризованной в 3.9 психосемантической матрицей, можно было бы назвать просто семантической матрицей. Можно добавить и еще одну очевидную деталь: как и для ритуала, для слова имеет первостепенное значение жестко предписанная последовательность исполнения действий, с той лишь разницей, что осуществляться эти действия должны производящим звуки артикуляционным аппаратом.

4.3. Среди работ, затрагивающих проблемы происхождения языка, с точки зрения темы настоящего исследования наибольший интерес представляет статья В.И. Абаева “О происхождении языка” [Абаев 1993], где предлагается схема языковой эволюции, во многих аспектах соответствующая тому, что в нашей концепции закономерно вытекает из специфики естественного функционирования биологического ритуала. Показателен факт, что автор этой примечательной статьи совершенно не оперирует термином “ритуал” и – тем более – не апеллирует к каким-либо данным этологии. Последнее, конечно, приводит его к тому, что противопоставление коммуникативных систем животных и человека строится на базе существенно устаревших критериев, которые имплицитно увязывают рост мыслительных способностей с развитием только звукового языка, явно недооценивая возможности других способов коммуникации. Вследствие этого демаркационная линия иной раз “зашкаливает” туда, где этология выявляет общие для всех социально организованных сообществ элементы знакового поведения. Однако все это не только не умаляет заслуги автора, но, напротив, делает достойным искреннего восхищения тот факт, что благодаря своей глубочайшей интуиции он сумел увидеть то, что, казалось бы, стало возможным взглянуть только после кропотливейших исследований нескольких поколений это-

логов. Семантический уровень, с которого стартует человеческий язык, В.И. Абаев определяет следующим образом: «Вопрос о том, что означали первые слова, решается с большой долей уверенности: они могли быть только названиями социально-производственных групп. Прежде чем стать символами вещей, они были символами нарекающих коллективов. Они были сигналами о принадлежности к определенным, более или менее устойчивым социальным группам. Язык родился не из потребности давать вещам названия, а из потребности относить вещи к своему коллективу, накладывая на них свое "тавро". Первые слова обозначали не предметы, а их отношение, действительное или воображаемое, к коллективу. Наречение было актом своего рода идеологического "присвоения". "Присваивались" не только орудия и продукты, но и такие далекие и недоступные вещи, как небо и солнце» [Абаев 1993: 13]. Из сказанного вытекает, что первые слова обладали способностью соотноситься с любым аспектом мира, принадлежавшего коллективу. То есть "зачатое" в лоне ритуала слово содержало в себе потенции всей будущей языковой системы, и это во многом было обусловлено тем, что слово перенимало биологическое значения и функциональные способности ритуала, структурировавшего "космос" коллектива и поддерживавшего его путем "заклинательных" референций в адрес окружающего "хаоса".

4.4. Как у животных, так и у человека, в состоянии аффекта наблюдается резкое снижение мыслительных способностей. Этот факт настолько очевиден, что вряд ли есть нужда его обосновывать. Разумеется, клятва-боевой клич, рождаясь и функционируя в ситуациях порой предельного аффективного накала, плохо увязывается с идеей связи языка и мышления. Однако, вопреки этому, именно клятва по ряду естественных причин, охарактеризованных в 2.3, становится наиболее полноценным "сырьем" для создания конвенционального языкового знака, лучше чем что-либо другое обслуживающего интеллектуальные потребности человека.

В человеческой психике, в чем следует полностью согласиться с [Meyer 1994: 114], не существует ни единого знака, который не был бы окрашен в те или иные эмоциональные тона. Ч. Пирс даже прямо называет эмоцию *знаком*, указывающим на связанные с ней реалии [Peirce 1931, V:308]. Приспосабливая эти справедливые суждения к языку настоящего исследования, эмоцию можно определить как "индикатор жизненной значимости". Клятва, таким образом, с точки зрения эмоций, — наиболее "знакова". Очевидно, что для снятия помех мышлению, создаваемых аффективной знаковостью, эмоция должна быть в достаточной мере подавлена, но без ущерба самой знаковости. Есть все основания полагать, что достигается это за счет явления, сопоставимого с инфляцией денежного знака, которая, как известно, неизбежно приводит к снижению его ценности, значимости.

Попытаемся охарактеризовать "инфляционные" процессы<sup>8</sup>, которые, вероятно, привели первобытные клятвы к эмоционально "обесцененному" состоянию. Начнем с самого очевидного фактора. Думается, всякому из собственного опыта известно, что церемониальность в межличностных отношениях убывает с увеличением степени близости, знакомства, с приобретением совместного жизненного опыта. Исходя из этого, следует полагать, что ритуалы угрожающей демонстрации и умиротворения претерпевают ощутимо более существенную редукцию и снижение аффективного напряжения в кругу "своих", нежели в обстановке взаимодействия с "чужими". Таким образом, одним из самых очевидных факторов, эмоционально обедняющих ритуальный знак, является его многократное повторение, излишнее "тиражирование". Это явление хорошо наблюдается в судьбе так называемых "крылатых" слов и выражений, быстро "изнашивающихся" от неумеренного употребления. Хотя, разумеется, данный фактор и не определяет все необходимые для возникновения языковой си-

<sup>8</sup> Ср. описание инфляции в [Канетти 1997: 199–205] в связи с проблемами человеческих масс и власти, где вскрывается глубинная взаимообусловленность в протекании социальных и знаковых процессов.



стемы преобразования, все же он является своего рода подготовительной ступенью на пути к абстрагированному от непосредственной аффективной реакции слову языковой системы. Но пока в данном случае мы имеем не более чем два различных варианта-"аллофона" одного и того же знака.

Более решающим для становления системности чисто звукового средства общения оказывается другой тип инфляции, связанный с резким увеличением формально отличных друг от друга клятв, которые, оказавшись на едином социальном пространстве, поневоле были вынуждены делить между собой его смысловые грани. Здесь мы не видим более вероятного пути, чем тот, что обрисовывается ниже.

В.И. Абаев, в упоминавшейся выше статье, приводит набросок начальных этапов языковой эволюции, который, несмотря на отсутствие конкретных решений, касающихся содержания наполнения слов, все же знаменателен тем, что предполагает процессы групповых контактов как обязательное условие, без которого, по мнению автора, язык никогда бы не возник, с чем мы целиком и полностью согласны. Более того, мы считаем возможным и допустимым с уверенностью говорить о том, что основным естественным условием для формирования языка должен был быть резкий "скачок" в интенсивности межгрупповых взаимодействий, т.е. становление конвенциональности языкового знака не могло осуществляться независимо от сложных процессов слияний и распадов первобытных групп, и, – в соответствии с этим, – усложнение языковой системы должно было прямо пропорционально зависеть от нарастания интенсивности и вовлечения в круг взаимодействия все большего и большего количества различных первобытных коллективов.

Как не раз уже отмечалось выше, ритуальный знак маркирует всю территорию коллектива и соотносится со всеми значимыми аспектами его внешних и внутренних отношений. Таким образом, учитывая естественные функции клятвы, резонно считать, что в отмеченных социальных процессах при слиянии или развитии групп в более сложные социальные образования ритуалы-клятвы обслуживали договоры и маркировали все виды ограничений и привилегий той или иной группы. При этом не менее резонно также считать, что знаки конкурировали вместе со своими носителями, распределяя таким путем зоны референции в общей семантической сфере и образуя своего рода иерархические слои в складывающейся языковой системе, т.е. первичный языковой контекст был в определенной мере изоморфен социальному контексту.

На фоне сказанного складывается следующая картина начальных этапов языковой эволюции. Если на определенной территории регулярно взаимодействует некоторое количество групп, закономерно имеющих свои особые ритуалы, то в складывающемся звуковом средстве общения в языке каждой группы, кроме собственной клятвы, формирующей центр ее коммуникативной системы, должны присутствовать клятвы всех других групп, с которыми данная группа поддерживает те или иные связи. Такое положение вещей диктуется насущной жизненной необходимостью, так как оперирование чужими клятвами, т.е. опознавательными знаками различных групп, самым экономным образом позволяет данной группе ориентироваться практически во всех жизненно важных аспектах окружающего мира. Во-первых, такая "система клятв-боевых кличей" дает четко очерченную, промаркированную соответствующими опознавательными знаками картину пространства, и, таким образом, использование определенной клятвы в надлежащем контексте дает возможность указывать с одной стороны на нужное место, расстояние и направление, и с другой стороны – на какие-либо специфические особенности рельефа, связанного с местом дислокации соответствующей клятвы-группы. Во-вторых, противопоставление различных клятв дает возможность наилучшим образом ориентироваться в типах отношений (война, мир, союз, господство, подчинение, отношения гостеприимства и т.п.), вследствие чего, соответственно, окружающее пространство оказывается определенным образом иерархизированным. Кроме отмеченных моментов, следует добавить, что использование

чьей-либо клятвы дает возможность указывать на способ существования или поведения (хозяйственный уклад, тактика ведения войны, особые обычаи или религиозные ритуалы и т.п.), а также на особые артефакты, которые закономерно наследуют имя от той группы (= места), где они впервые появились. Вряд ли нужно обосновывать, что все отмеченные способы ориентации в отношении окружающего мира остаются и в настоящее время одними из наиболее важных для обыденного сознания, и что все они так или иначе отражаются в семантических и деривационных связях соответствующей лексики.

Охарактеризованным образом, по нашему мнению, складывается первичная, или предязыковая система, где на фоне общей психосемантической матрицы начинают формироваться особые семантические матрицы, различение которых становится релевантным для их носителя. Но в данном состоянии еще отсутствует надлежащая условность, так как, — хотя и будучи употребляемыми вне контекстов наличных ситуаций, — данные опознавательные знаки пока остаются представителями "живых" клятв.

Следующий необходимый для языковой эволюции этап уже не нуждается в искусственном моделировании, поскольку всюду в наблюдаемой истории человечества просматриваются следы соответствующих социальных процессов, которые со всей очевидностью можно постулировать для всех тех мест и исторических эпох, где обнаруживаются относительно крупные города-государства, осуществляющие контроль над окрестностями. На данном эволюционном этапе должно было произойти резкое разрушение описанных выше исходных параметров, т.е. должно было измениться пространственное положение клятв-групп, типы взаимоотношений между ними и т.д. При этом благодаря инертности человеческой психики, цепляющейся за "золотой век" существования до "вавилонской башни", а также естественному нежеланию расставаться с удобным и привычным средством ориентации, старая система не исчезает, но принципиально трансформируется в том плане, что за ней остаются только чисто конвенциональные семантические связи, отображающие прежние пространственные характеристики, типы отношений, поведения и т.д., в то время как связи с конкретными клятвами и их носителями постепенно уходят в небытие. Вследствие регулярного повторения таких процессов закономерно нарастает количество знаков, приводящее к инфляционному снижению ценности каждого отдельного знака, и более хронологически отдаленные имена собственные переходят при этом в разряд нарицательных имен.

Итак, мы очертили процессы, которые, предположительно, протекали при формировании центра языковой системы. Однако это еще не позволяет говорить о том, что подобные трансформации претерпевали все языковые знаки, равным образом как нельзя говорить и о том, что клятва-боевой клич является единственным звуковым знаком в биологических коммуникативных системах. Все же очевидным нам кажется тот факт, что в первую очередь сформировался именно центр, который по своему образу и подобию достраивал вокруг себя периферийные зоны.

## 5. СИНОНИМИЧНОСТЬ ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ОНОМИЧНЫХ ГРУПП

В данном разделе мы пытаемся оценить, в какой мере древнейшие слои языкового материала соответствуют отраженным выше наблюдениям. В краткой формулировке содержание предыдущих разделов можно непротиворечиво обобщить в виде следующих тезисов:

1. Ритуальный знак (клятва), маркирующий территорию первобытного коллектива, символизирующий его внутреннюю сплоченность и обороняющий его от внешнего мира, — амбивалентен (энантисемичен) и "всереферентен", т.е., — взятый в перспективе языкового развития, — потенциально чуть ли не бесконечно многозначен.

2. Ритуальные символы разных групп эквивалентны не нарицательным, а собственным именам, но в плане функционального соотношения с различными аспектами реальности изначально являются синонимами.

3. Учитывая естественные процессы дробления и слияния социальных групп, следует ожидать, что на начальных этапах языкового развития "ядро" языковой системы должно было состоять из такого числа знаков, которое было пропорционально количеству коллективов, взаимодействующих на определенном жизненном пространстве. Иными словами, в протоязыке закономерно должно было присутствовать довольно изрядное количество "энтантиосемично-многозначных" синонимов, из чего со всей очевидностью вытекает, что одни группы омонимичных корней в праязыковых реконструкциях должны обнаруживать синонимию с другими группами не по отдельным значениям, а должны быть сопоставимы друг с другом в целом по основным семантическим параметрам. То есть там, где мы находим форму с разветвленной омонимией, следует ожидать, что значения этой формы будут в основном соответствовать значениям других подобных форм.

5.1. В целях верификации данных тезисов мы произвели по материалам словаря Ю. Покорного [Рокоту 1959] подсчет всех случаев омонимии и попытались классифицировать ее по некоторым формальным и семантическим параметрам. При этом формальный анализ первоначально не входил в наши намерения. Однако, когда мы вступили в более или менее тесный контакт с материалом, стало очевидно, что одна определенная формальная особенность является, на наш взгляд, весьма иллюстративной (хотя и в значительной мере гипотетической и спорной) в плане подтверждения предлагаемой в настоящем исследовании гипотезы.

Приведем краткий отчет о произведенном анализе. Всего в словаре Ю. Покорного мы насчитали 2183 отдельных статьи. На этом фоне омонимия выглядит следующим образом. 781 статья посвящена 268 формам, что дает приблизительно по три рассматриваемых в основном независимо друг от друга значения на каждую из этих форм. Таким образом, 36% (781 от 2183) единиц словаря праиндоевропейской реконструкции представлены как находящиеся в отношениях омонимии, или – по другим параметрам – 16% (268 от 1670) реконструированных форм наделяются двумя и более значениями, которые составитель словаря предпочел разместить по разным статьям.

Уже при поверхностном обзоре словаря бросается в глаза непропорционально высокое количество сонантов в омонимичных формах при буквально подавляющем их доминировании в исходе корня. Подобного рода явления наблюдаются не только в омонимии, но и на протяжении всего словаря, о чем красноречиво говорят подсчеты Ж. Жюкуа, который зафиксировал 67,5% исходов корня на сонант [Juquois 1966]. Но в случаях разветвленной омонимии эта особенность структуры корня просто не может остаться незамеченной, особенно, когда в исходе стоят *-r* или *-l*.

Если вслед за Ж. Жюкуа ограничить все обнаруживающие омонимию формы в соответствии с канонической по Э. Бенвенисту структурой корневой морфемы не более чем двумя согласными звуками, т.е. структурными формулами VC, CV и CVC, где C любой согласный, а V любой гласный, то общее отношение сонантов к шумным и сибиланту (без учета "беглого" *s*) составит 845 к 624, или 57,52% к 42,48%. Если учесть, что в фонетической системе праязыка общее количество сонантов относится ко всем другим согласным фонемам как 6 к 16 (без учета ларингальных), или как 27,27% к 72,73%, то в среднем нагрузка на один сонант в 3,61 раза выше, чем в среднем на один согласный иного качества. Однако при учете позиции согласного в начале или в конце корня канонической структуры это отношение существенно трансформируется: в начальной позиции оно становится 253 к 431, или 36,99% к 63,01% (нагрузка на сонант в среднем выше в 1,57 раза), в конечной – 592 к 103, или 85,18% к 14,82% (нагрузка на сонант выше в 15,33 раза).

5.2. В предварительных наблюдениях явно бросалось в глаза, что в самых различных группах омонимичных корней с удивительным постоянством встречаются очень похожие наборы значений. Поэтому в ходе семантического анализа мы попытались выявить основные семантические темы, на противопоставлении которых выстраивается чуть ли не вся праиндоевропейская омонимия. Эти темы удобнее всего представлять, следуя терминологии Л. Заде, в виде "нечетких множеств" (fuzzy sets),

как некоторые "пучки семантических признаков", структурно аналогичные тем признакам, которые очерчивают диалекты. Здесь также можно использовать близкое к этому понятие группировки (clustering), где представители естественных категорий группируются внутри категориального пространства "на определенной дистанции от прототипа, т.е. от категориального среднего" [Демьянков 1994: 33]. Такое представление является в данном случае наиболее приемлемым, так как установить четкие семантические параметры, которые позволяли бы определять степень синонимичности сопоставляемых значений, оказалось по ряду объективных причин невозможным. Это прежде всего сопряжено с довольно частым отсутствием однозначного семантического соответствия между самими лексическими единицами, возводимыми к тому или иному этимону, что в свою очередь закономерно приводит к абстрактной расплывчатости в формулировках значений соответствующих этимонов. Однако, мы все же надеемся, что хотя бы в самом грубом приближении нам удалось отразить общее положение дел в словаре, так как единственный критерий, на основании которого выкраивались границы перечисляемых ниже семантических тем – это то, что мы стремились описывать их, пользуясь только теми смыслами, которые в достаточной мере регулярно объединяет сам же автор при описании значения того или иного этимона. Таким образом, мы постарались, насколько это оказалось возможным, произвести подсчет встречаемости тех или иных значений, ограничившись омонимичными группами от 4 значений и более.

Перечислим темы с порядком встречаемости не менее чем у 15% различных омонимичных групп по мере убывания величины процента. Указываемая в скобках приближительность величины процента обусловлена тем, что семантика, заключенная в выделяемых границах, нередко их "нарушает" и имеет свойство неуловимо перетекать из одной темы в другую.

1) бить, колоть, рубить, резать, драть, рвать, ранить, рыть, царапать и т.п. (около 60%).

2) вертеть(ся), гнуть(ся), наклонять, прислонять, связывать, плести, ткать и т.п. (50–60%).

3) рычать, реветь, мычать, ворчать, гудеть, кричать, говорить, звать и т.п. (около 55%).

4) беречь, хранить, покрывать, окутывать, защищать, обороняться, поддерживать, помогать, покровительствовать и т.п. (40–50%).

5) сильно желать, требовать, добиваться, захватывать, грабить, гнать, преследовать (30–35%).

6) обманывать, лгать, быть хитрым, коварным, извращенным, поврежденным или испорченным (о человеке или о вещи) (25–30%).

7) внимательно наблюдать, думать, понимать, быть осторожным (около 25%).

8) цветообозначение в основном неопределенных тонов: серый, темный, черный, красный, бурый, светлый, белый и т.п. (около 25%).

9) расти(ть), увеличивать(ся), набухать, всходить, возникать (около 20%).

10) бревно, жердь, столб, палка, копьё и т.п. (около 20%).

11) гореть, блестеть, сверкать; светлый, сияющий и т.п. (около 20%).

12) возвышенное место (17–20%).

13) течь, литься, водный поток; кропить, разбрызгивать (15–18%).

14) усердно трудиться, стараться, делать, действовать (13–15%).

15) расширять; широкий, далекий (12–14%).

Эти значения, на наш взгляд, являют собой нечто вроде "среднего арифметического" семантики индоевропейских омонимов по словарю Ю. Покорного. В их рамки, в зависимости от степени строгости сопоставления, можно уместить от 60 до 90% семантики омонимов, насчитывающих свыше трех значений. Характерно, что приведенная статистика, особенно в пунктах 1 и 2, совпадает с наблюдениями М.М. Маковского, постулирующего для слов, зарождающихся в русле ритуальной деятельности, первоначание 'рвать, гнуть'. По нашему мнению, причина преоб-

ладания значений, входящих в первые три темы, заключается в том, что сами подобные значения исходно выступали в роли форм для выражения связанных с ними ситуаций, жизненные смыслы которых как раз и отражаются в других темах, — особенно с четвертой по седьмую. Нетрудно заметить, что эти три типа реалий вырисовывают на фоне прототипического взаимодействия наиболее ярко окрашенную аффектом знаковую фигуру, т.е. на переднем плане общей ментальной репрезентации находятся угрожающий звуковой сигнал, имитация удара или сам удар и, видимо, определенные элементы "изворотливости", ловкости. Звуковой язык, приняв на себя роль "метазнаковой" системы, закономерно кодирует как сами невербальные знаки вместе с их денотатами, так и их сигнификативные значения, которые представлены начиная с четвертого пункта. Таким образом в отношениях между первыми тремя темами и рядом остальных допустимо видеть естественное отражение в одном знаке двух различных содержательных планов, рассмотренных нами выше (см. 1.3–1.4).

5.3. У нас явно недостает места для детального разбора отношений между выявленными значениями. Поэтому ограничимся лишь кратким обзором одного случая. Для большей наглядности остановимся на примере, который почерпнут не из реконструкций, а из хорошо известного, досконально изученного и описанного языка.

Различные контекстуальные реализации уже упоминавшегося выше лат. *agere* довольно наглядно демонстрируют, как в рамках употребления одного слова могут выражаться смыслы, характерные для ведущих по частотности тем праиндоевропейской омонимии. Этот глагол, помимо своего основного употребления в значении 'гнать, вести' (тема 5), мог использоваться в значениях, типичных для темы 1 (например, *sublicas agere* 'вбивать, вколачивать кол (столб, сваю)', *in crucem agere* 'распирать, пригвождать к кресту' и т.п.), для темы 3 (*sedentes agamus* 'сядем и поговорим', *laudes agere* 'прославлять' и т.п.), а также употребления, как *morem agere* 'соблюдать обычай', *pacem agere* 'поддерживать мир, жить в мире, соблюдать условия мирного договора', *vigilias agere* 'нести караульную службу', *satis agere* 'быть озабоченным, встревоженным, беспокоиться', характерны для лексики, на базе которой исследователи реконструируют семантику тем 4 и 7.

О том, что подобные контекстуально обусловленные значения способны создавать базу для деривации, как раз свидетельствуют латинские дериваты от корня *ag-*. Например, *agināre* фиксирует значение 'вертеться, изворачиваться' (тема 2), а некоторые отпричастные образования выводят на передний план семантику действия, деятельности: *ācta* 'действия, деяния', *āctīvus* 'действенный, деятельный', *āctitāre* '(часто) делать, исполнять' (тема 14). Глагол *āio* 'подтверждаю, утверждаю, заверяю', также возводимый к форме \**ag-* [Бенвенист 1995: 391], как видно, зафиксировал в своем значении семантику третьей темы. Эти факты, на наш взгляд, иллюстрируют, как наиболее значимые для носителя языка контекстуальные употребления многозначного слова оформляются в самостоятельные слова.

В латинском языке от корня *ag-* можно встретить только два первичных именных образования: *agmen* 'отряд, войско (в походе); вереница, толпа, стая' и *ager* 'земля, земельный надел, пашня'. В первой деривации явно зафиксировалось имя деятеля, осуществляющего действие *agere*. И весьма показательным, что это имя — прототипично и ритуально. Оно обозначает не индивида, а целостный коллектив. Возможно, что в другом деривате — *ager* — зафиксировалось представление о принадлежащей *agmen*'у и контролируемой им территории. Обозначение одним именем и места обитания, и его населения — одна из самых очевидных констант человеческой культуры. Но в данном случае не менее вероятно и то, что *ager* возникло уже без акцентирования связи с населением на базе употреблений типа *limitem agere* 'проводить между, границу'. Но и при таком варианте выбор базы для новой номинации не может считаться случайным. Для этого был избран корень *ag-* по той причине, что он

соотносился с действиями активной обороны и агрессии, а эти действия в реальной жизни чаще всего рождаются на границах, и, как мы пытались показать выше (см. 3.7), на глубинном уровне психики они сливаются с границей в одном вращающемся круге, что в свою очередь и отразилось в *agināre* 'вертеться, изворачиваться', переработавшем все разнонаправленные движения и действия в единоеобразное вращение. В конечном счете и *ager* 'территория', и *agināre* 'вертеться' вполне гармонируют с реализациями *agere* в значении 'жить'. И подобные сочетания смыслов – одна из констант, регулярно встречающихся в той лексике, на базе которой реконструирована праиндоевропейская омонимия. Итак, независимо от того, когда и какими путями осуществились рассмотренные деривации от лат. *ag-*, все они, на наш взгляд, были вызваны к жизни единым комплексом прототипических представлений, составляющим основу вращения человеческой психики.

Суммируя рассмотренные факты, мы непроизвольно приходим к убеждению, что если бы нам удалось заглянуть в живой праиндоевропейский язык, то на месте большинства существующих в реконструкции омонимичных групп обнаружили бы подобные лат. *agere* единые глаголы с широким кругом референции, а также окружающие их дериваты, акцентирующие те или иные предметные или непредметные зоны этого круга.

При общем ретроспективном направлении сравнительно-исторического метода для восстановления этимона мы располагаем разрозненно зафиксированными во времени и пространстве данными из множества разошедшихся в своем развитии языков. При этом мы преимущественно отдаем приоритет древним памятникам, где нередко фиксируются далеко не все обыденные употребления слова. Например, в хеттских памятниках мы имеем больше шансов обнаружить специальные религиозные или правовые значения типа *agere* 'обвинять', но меньше шансов найти употребления типа *agere* 'жить'. Но даже там, где факты освещены достаточно полно, мы ориентируемся только на основные значения, оставляя в стороне периферийные по понятным причинам, так как приходится и без того оперировать со множеством сопоставляемых слов. Однако основные значения имеют свойство далеко расходиться, тогда как на периферии очень часто остается много общего. В итоге подобные искусственно упрощенные операции и приводят к тому, что этимоны типа 'гнать', 'защищать', 'говорить', 'вертеться' и т.п. реконструируются как омонимы, в то время как на ранних этапах функционирования языка они вполне могли быть контекстуально обусловленными конкретизациями более общего и сложного содержания.

5.4. Ниже посредством древнеиндийских рефлексов и.-е. \**cer-* мы попытаемся показать, как лексика, традиционно возводимая к разным омонимичным этимонам, может свободно объединять в своей семантике те же реалии, которые мы могли видеть выше в употреблениях лат. *agere* и других производных того же корня.

Такие факты, как *vāraṇi* 'покрывает, окружает, прячет; отражает, предотвращает, сдерживает, подавляет', *vṛt-* 'запретный, окруженный; множество', *vṛti-* 'ограда, забор', *vrā-* 'толпа, множество', *vāra-* 'толпа, сборище, множество', на базе защитной семантики маркируют место обитания и его население. Имя *vāra-*, попадая в конечную позицию сложного слова, приобретает значение 'отпор, отражение' (ср. англос. *wearn* 'толпа, войско, отряд' и 'отпор, отражение'), а также, помимо упомянутых значений, имеет и особые контекстуальные реализации, обозначая такие понятия как 'богатство, сокровище, ряд, раз, день недели, назначенный срок', в чем, очевидно, имплицированы представления об упорядоченном вращении. Очень похоже, что в *vārjati* 'поворачивает, отвращает, срывает, отстраняет, отбрасывает' отражено развитие представленной в *var-* более общей защитно-оборонительной семантики в сторону ее конкретизации, сужения фокуса внимания на действиях отражения и отбрасывания противника. В имени *vṛjāna-* 'ограда, граница; область; община, население, народ' вновь возникает связь "сосуда" и его "содержимого", но уже в несколько расширенных масштабах. Производные основы *vart-* на базе семантики вращения, уже довольно

существенно абстрагированной от прототипических представлений, развивают предельно генерализованные понятия, охватывающие весь жизненный путь и способы существования (ср. *vārtate* 'вертится, существует, проживает; случается', *vṛttā-* 'деятельность, поведение; случай, событие', *vṛtti-* 'поворот; поведение, деятельность, работа; нрав, привычка, образ мыслей; средства к существованию', *vartani-* 'колея, путь, дорога'). Сходное развитие наблюдается и в термине *vratā-* 'закон, воля, приказ; обряд, ритуал, обет; соблюдение обета, привычка, образ жизни', который связывается исследователями с др.-прусск. *wertemmai* 'клянemся' и др. В семантике данного термина, как видно, акцентируется религиозно-правовой аспект существования.

Особого типа отношения можно видеть в связях слов, маркирующих с одной стороны "ограниченное, замкнутое пространство", с другой – "расширенное, свободное пространство". Г. Грассман не без оснований считает, что семантика таких слов, как *vāras-* 'широта, простор', *vāriyas-* 'пространство, счастье, покой' исходно мотивирована защитной семантикой основы *var-* [Grassman 1936: 1218]. Косвенным свидетельством этому могут служить факты, занимающие как бы промежуточное положение между семантикой ограниченного и свободного пространства: *vāriman-* 'круг, объем, простор, даль' и *urū-* 'широкий, далекий, просторный; нестесненный, свободный, безопасный, надежный'. В деривации от *urū-* к *urusyāti* 'ищет безопасное пространство, скрывается, ускользает, избегает; защищает, оберегает, спасает' наблюдается возврат к исходным защитным мотивам. Есть все основания предполагать, что подобного рода отношения базируются как на имевшем место реальному расширению-завоеванию свободного и безопасного жизненного пространства, так и на отмеченных в 2.3 психических эффектах, отражение которых, кроме затронутых фактов, можно видеть также в древнеиндийских рефлексах того же и.-е. \**uer-*: *vārdhan/vārdhate* (<\**uer-dh-*) 'поднимать дух, вдохновлять; расти, усиливаться', *vṛdh-* 'радостный, веселый; увеличивающийся, усиливающийся', *vṛddhi-* 'рост, увеличение; счастье, успех', *vārdhana-* 'подкрепляющий, приносящий удачу; помощь, успех, рост, усиление', *vṛdhā-* 'покровитель, помощь, поощрение, поклонение; радующий(ся)'.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, как показывают рассмотренные факты, в основе коммуникативных систем, возникших на разных ступенях эволюции, лежит общий системообразующий принцип. В области семантики он формирует единое концептуальное ядро, в способах выражения которого соревнуются различные типы знаковых форм. И в этом соревновании закономерно преуспевает самый энергетически экономный способ, формирующий особую систему, состоящую из сгармонизированных звуковых комплексов-слов. Однако можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в период своего становления звуковой язык был, как ребенок, беспомощен без сопровождения более старших знаковых систем, умудренных многомиллионным опытом функционирования. Боевой клич – звуковое знамя первобытной группы – символизировал группу и весь ее защищаемый и благоустраиваемый мир. Таким образом, еще входя в доязыковую коммуникативную систему, он обладал потенциями, давшими развившемуся из него слову способность к соотносению с любым значимым аспектом реальности. Как вытекает из рассмотренной концепции В.И. Абаева, первые слова, освобождаясь от ситуативно обусловленного аффекта боевого клича, соотносились с предметным окружением по типу местоимений и прилагательных, маркируя элементы мира по признаку принадлежности к той или иной группе. В глагольном же употреблении конкретность значения могла быть достигнута только путем дополнительного указания на соответствующую фазу взаимодействия. Поэтому первичная языковая система для того, чтобы хоть частично освободиться от исходно тотальной зависимости от своего биологического родителя – сложной системы, состоявшей из

звуковых сигналов, поз, жестов и мимики, – должна была пройти длительную стадию преодоления референтной неопределенности слова. И этот качественный прорыв мог произойти только при достаточном увеличении количества слов, чего не могло случиться без возрастания интенсивности межгрупповых взаимодействий. Итак, учитывая сказанное, можно заключить, что первые слова, долгое время являясь вне контекста "глобальными" знаками, в употреблении могли реализовываться как общие, так и конкретные значения, подобно тому, как в употреблении лат. *agere* контекст способен создать и конкретное значение типа 'бить' или 'говорить', и самое что ни на есть общее – 'жить'.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1986 – Как можно улучшить этимологические словари // *Этимология* – 1984. М., 1986.
- Абаев В.И. 1993 – О происхождении языка // *Язык в океане языков*. Новосибирск, 1993.
- Бенвенист Э. 1995 – Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- ВРС 1961 – Вьетнамско-русский словарь / Под ред. И.М. Ошанина и Ву Данг Ата. М., 1961.
- Демьянков В.З. 1994 – Теория прототипов в семантике и прагматике языка // *Структуры представления знаний в языке*. М., 1994.
- Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. 1997 – О ведийской загадке типа *brahmodya* // Из работ Московского семиотического круга. М., 1997.
- Канетти Э. 1997 – Масса и власть. М., 1997.
- Кочергина В.А. 1996 – Санскритско-русский словарь. М., 1996.
- Лоренц К. 1998а – Так называемое зло // Лоренц К. *Оборотная сторона зеркала*. М., 1998.
- Лоренц К. 1998б – Оборотная сторона зеркала // Лоренц К. *Оборотная сторона зеркала*. М., 1998.
- Маковский М.М. 1996а – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
- Маковский М.М. 1996б – Язык – Миф – Культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996.
- Маковский М.М. 2000 – Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.
- Малиновский Б. 1998 – Магия. Наука. Религия. М., 1998.
- Монич Ю.В. 1998 – Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий // ВЯ. 1998. № 1.
- Степанов Ю.С. 1966 – Основы языкознания. М., 1966.
- Степанов Ю.С. 1971 – Семиотика. М., 1971.
- Степанов Ю.С. 1997 – Словарь русской культуры. М., 1997.
- Степанов Ю.С. 1998 – Язык и метод. М., 1998.
- Токарев С.А. 1990 – Ранние формы религии. М., 1990.
- Толстая С.М. 1995 – Магия обмана и чуда в народной культуре // *Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке*. М., 1995.
- Топоров В.Н. 1988 – О ритуале. Введение в проблематику // *Архаичный ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках*. М., 1988.
- Топоров В.Н. 1997 – О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией "мирового дерева" // Из работ Московского семиотического круга. М., 1997.
- Тэрнер В. 1983 – Символ и ритуал. М., 1983.
- Фасмер М. 1996 – *Этимологический словарь русского языка*. Т. 1–4. М., 1996.
- Хейзинга Й. 1992 – *Homo ludens*. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Черных П.Я. 1994 – *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. Т. 1–2. М., 1994.
- Allott R. 1994 – *Languages and the origin of semiosis // Origins of semiosis*. Berlin; New York, 1994.
- Berlin B., Kay P. 1969 – *Basic color terms. Their universality and evolution*. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Csányi V. 1992 – *The brain's models and communication // Biosemiotics*. Berlin; New York, 1992.
- Emmeche C. 1992 – *Modeling life: a note on the semiotics of emergence and computation in artificial and natural living systems // Biosemiotics*. Berlin; New York, 1992.



- Grassman H.* 1936 – Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1936.
- Jucquois G.* 1966 – La structure des racines en indoeuropéen envisagée d'un point de vue statistique // Linguistic research in Belgium. Wetteren, 1966.
- Koch W.A.* 1986 – Evolutionary cultural semiotics. Bochum, 1986.
- Kuiper F.B.J.* 1960 – The ancient Aryan verbal contest // Indo-Aryan journal. IV. № 4. 1960.
- Kull K.* 1992 – Evolution and semiotics // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Merrell F.* 1992 – As signs grow, so life goes // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Meyer P.* 1994 – The problem of certainty in human communication: An evolutionary view // Origins of semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Nöth W.* 1994 – Opposition at the roots of semiosis // Origins of semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Peirce C.S.* 1931 – Collected papers of Charles Sanders Peirce. V. 1–8. Cambridge, 1931–1958.
- Pokorny J.* 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Bern; München, 1959–1965.
- Preuschoft S., Preuschoft H.* 1994 – Primate nonverbal communication. Our communicative heritage // Origins of Semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Schnelle H.* 1994 – Language and brain // Origins of semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Sebeok T.A.* 1986 – I think I am a verb. New York, 1986.
- Sharov A.* 1992 – Biosemiotics: A functional-evolutionary approach to the analysis of the sense of information // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Stjernfelt F.* 1992 – Categorical perception as a general prerequisite to the formation of signs? On the biological range of a deep semiotic problem in Hjelmslev's as well as Peirce's semiotics // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Zadeh L.A.* 1965 – Fuzzy sets // Information and control. V. 8. 1965.

© 2000 г. Р.Ф. КАСАТКИНА

## ЮЖНОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ. НОВЫЕ ДАННЫЕ

1. При подготовке текстов хрестоматии "Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие" были прослушаны большие массивы магнитофонных записей спонтанной южнорусской речи. В хрестоматии 51 текст. Этот корпус записей представляет все основные группы южнорусского наречия. Длительность каждого текста – от 2 до 7 минут звучания. При составлении лингвистических комментариев к ним часто использовались и более широкие контексты (1–1,5 часа). Таким образом, в общей сложности было прослушано 50 с лишним часов звучания магнитофонных записей. Собранные в хрестоматии звучащие тексты относятся к разным годам – от конца 50-х годов до весны 1999 г.

Ценность записей устной спонтанной диалектной речи может быть сопоставима лишь с ценностью таких речевых памятников, как берестяные грамоты. А.А. Зализняк пишет: «Не подтвердилось представление о берестяных грамотах как о малограмотных (в своей массе) документах. (...) При анализе берестяных грамот оказывается необходимым тот же "уважительный" подход к тексту, что и для памятников книжной письменности» [Зализняк 1986: 217]. Такого же уважительного подхода к текстам заслуживают и записи спонтанной диалектной речи. Из них восстанавливаются как отдельные фрагменты языковой системы, так и система в целом.

Из множества лингвистических наблюдений, сделанных на материале этих магнитофонных записей, для статьи отобраны лишь некоторые. В ней будут рассмотрены следующие вопросы: сохранение /ѣ/ и /ѡ/ в современных говорах и реализация этих фонем; весь комплекс явлений, связанных с аканьем; соотношение рядов шипящих и свистящих, апико-альвеолярные артикуляции в говорах южнорусского наречия и связанные с ними фонетические явления; некоторые синтаксические особенности, имеющие непосредственную связь с фонетикой.

2. Анализ имеющегося в нашем распоряжении звучащего речевого материала показал, что наличие семифонемного вокализма или следы его существования в прошлом в виде особых реализаций этимологических ѣ и ѡ имеют по говорам южнорусского наречия гораздо более широкое распространение, чем это отражено в ДАРЯ [ДАРЯ 1986: карты 40–42]. Согласно нашим данным, в 10% текстов хрестоматии представлен семифонемный вокализм, а в 45% отмечены неединичные следы двух дополнительных фонем. Не свободна от особых реализаций этимологических ѣ и ѡ даже и западная территория южнорусского наречия, что находится в противоречии с устоявшейся в русской диалектологии точкой зрения. Наши наблюдения уточняют общепринятое мнение о том, что семифонемная система вокализма в говорах русского языка – факт только истории, а не современного состояния говоров. Ср. по этому поводу следующее высказывание: "Говоры, обладающие только нелабиализованной (ѐ) или нелабиализованной и лабиализованной (ѐ, ѓ) фонемами верхне-среднего подъема, в настоящее время редки и не образуют сколько-нибудь очерченных территорий, да и в них наличие фонем ѐ и ѓ является как правило принадлежностью архаического слоя говора" [Русская диалектология 1964: 31]. В еще более категорической форме подобное положение было высказано почти через 20 лет в работе [Пожарицкая 1982:

24], где утверждается, что различие четырех фонем среднего подъема – "факт прошлого". Однако магнитофонные записи даже последних лет свидетельствуют о том, что для многих современных русских говоров указанное противопоставление продолжает быть актуальным вплоть до наших дней.

В отдельных говорах встречаются системы с шестифонемным вокализмом, при этом преобладают системы с /ъ/ (тексты 3, 32, 38, 49), хотя и системы с /ω/ также отмечены, например, в тексте 40 из Россошанского р-на Воронежской обл. О существовании шестифонемной системы с /ω/ в говорах вокруг Курска писал Г.А. Хабургаев [Хабургаев 1975].

Основные реализации /ъ/ – [й], [ӗ]; /ω/ – [y̆], [ŏ]. В ряде случаев /ъ/ реализуется в [и] в позиции перед мягким согласным не только в случаях лексикализации (тексты 1, 6, 7, 23, 27, 32, 43), реже перед твердым согласным (текст 8), что ранее для южно-русских говоров считалось нехарактерным, см., например, [Захарова, Орлова 1970: 76]. В некоторых единичных случаях в качестве рефлексов ъ выступают гласные пониженного подъема – монофтонг типа [ä] или дифтонг с завершением в виде открытого гласного [ea]. Такие реализации встретились в записях из с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской обл. (текст 8), д. Гати Веневского р-на Тульской обл. (текст 24), где позднее такую же реализацию /ъ/ отметил Д.М. Савинов [Савинов 1999], и в речи старообрядки из штата Орегон (текст 50). Другие примеры такой же реализации /ъ/ в речи старообрядцев южнорусского происхождения, живущих в штате Орегон (США) и переселившихся туда из Турции в 1960-х годах (так называемых "турчан") см. в [Касаткина, Касаткин 1999: 793]. Однако такие реализации /ъ/ ни в одном говоре не являются единственными звуковыми воплощениями этой фонемы: они сосуществуют с дифтонгами типа [й] и монофтонгами типа [ӗ] в текстах из всех трех указанных мест. Ниже приведены схемы, иллюстрирующие соотношение по подъему реализаций /е/ и /ъ/.

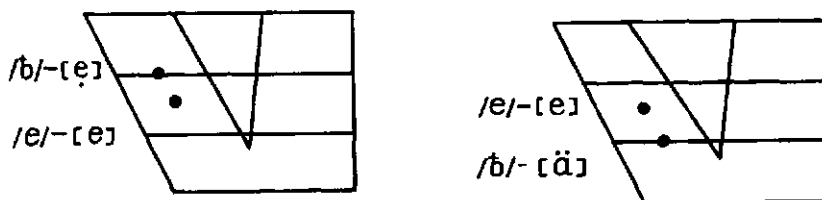


Схема 1

Известно, что противопоставление фонем /o/ – /ω/ может строиться на разных фонетических реализациях фонемы /o/ (см. [Высотский 1976: 72–73]). В говорах эта фонема может воплощаться в монофтонге среднего подъема [o] либо средне-нижнего подъема [ɔ]. Схематически это представлено ниже.

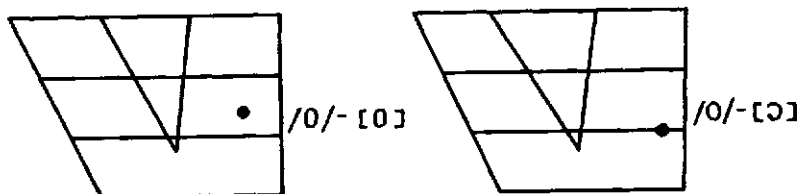


Схема 2

Материал магнитофонных записей свидетельствует о том, что вокалические системы с [o] на месте /o/ проявляют большую устойчивость по сравнению с системами с [ɔ] на месте /o/. Они сохраняются даже в тех случаях, когда в соответствии с фонемой

/ω/ начинает произноситься гласный среднего подъема, как в литературном языке. Вокалическая система в таком случае начинает приобретать следующий вид:

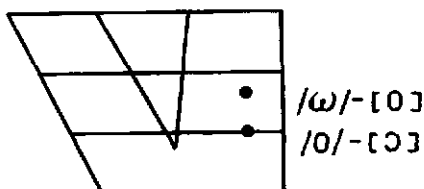


Схема 3

Как можно видеть, несмотря на трансформацию вокалической системы, противопоставление двух фонем заднего ряда продолжает сохраняться.

3. Целый комплекс вопросов связан с характером и распространением аканья на территории южнорусского наречия.

Материал магнитофонных записей свидетельствует о том, что границы распространения диссимильативного аканья проходят значительно восточнее, чем это представлено в ДАРЯ [ДАРЯ 1986: карта 1]. Такой тип вокализма отмечен нами не только на западной территории южнорусского наречия, что не удивительно, но и на востоке южнорусского ареала. Так, в целом ряде говоров Тульской группы зафиксировано диссимильативное аканье жиздринского типа: по данным Д.М. Савинова в Белёвском и Венёвском р-нах Тульской обл. [Савинов 1999; 2000], по материалам хрестоматии – кроме этих двух районов еще и в Арсеньевском, Ефремовском, Одоевском и Ясногорском р-нах Тульской обл., а также и на территории Рязанской, Воронежской и Тамбовской областей, относящихся к Восточной (Рязанской) группе (см. [Касаткина 1999: 88–89, 92–93, 94, 95, 99–100, 101, 143–145, 156–157, 164 и др.]). Диссимильативное аканье жиздринского типа обнаружено также и в говоре русских старообрядцев – переселенцев из Турции, ныне живущих в Ставропольском крае и в штате Орегон США [Касаткина 1999: 176–180, 186–190].

Несколько наблюдений касаются типов диссимильативного аканья.

Согласно классификации Т.Ю. Строгановой [Русская диалектология 1964: 38–39; Русская диалектология 1973: 49], кроме широко распространенного жиздринского, или белорусского, типа, существует также модель диссимильативного аканья, которую автор называет типом II (см. об этом также [Аванесов 1972: 71]). Все известные, а также предполагавшиеся в начале 1960-х годов модели диссимильативного аканья Т.Ю. Строганова представила в таблице. См. ниже.

Гласные под ударением	В 1-м предударном слове после твердых согласных в соответствии с фонемами /a/ и /o/		
	I	II	III
и, у	а	а	а
ѣ, ъ		ъ	
е, о	ъ		ъ
а		а	

В таблице можно видеть три типа диссимильативного аканья – два реально существовавших в начале шестидесятых годов и один гипотетический. Тип I – широко распространенный жиздринский, тип III – так называемый арханчешский (обоянский), отмеченный в то время в нескольких небольших ареалах на территории Липецкой,

Белгородской и Воронежской областей, и тип II, типологически представляющийся промежуточным между этими двумя, но в то время не зафиксированный с достаточной надежностью ни в одном говоре. Т.Ю. Строганова высказала предположение, что модель II может существовать в некоторых говорах на территории Белгородской области, а именно в Прохоровском, Боброво-Дворском, Чернянском и Волоконовском районах (по-видимому, более достоверными данными в то время Т.Ю. Строганова не располагала) [Русская диалектология 1964: 38–39; Русская диалектология 1973: 50]. В дальнейшем, впрочем, она не отметила этот тип вокализма на составленных ею картах ДАРЯ и никак не упомянула о его существовании в комментариях к этим картам [ДАРЯ 1986: карты 1, 2].

При такой системе предударного вокализма гласный не-а произносится перед всеми ударными гласными, за исключением гласных верхнего подъема. Диссимилятивное аканье этого типа было обнаружено при работе с материалами хрестоматии в записях из Хвастовичского р-на Калужской обл., а также в записи старообрядки А.П. Якиш из штата Орегон<sup>1</sup>. Можно считать, что это тип аканья, параллельный доисскому яканью. По месту его первоначальной фиксации Т.Ю. Строгановой (Прохоровский р-н Белгородской обл.) этот тип аканья можно условно назвать **прохоровским**. Совершенно очевидно, что необходим дополнительный сбор звучащего диалектного материала в тех районах Белгородской обл., которые были упомянуты Т.Ю. Строгановой в работах 1964 и 1973 гг.

Данные южнорусской хрестоматии также существенно расширяют имеющиеся в диалектологической литературе сведения о таком типе предударного вокализма после твердых согласных, как **архаическое диссимилятивное аканье**. Во-первых, оказалось, что эта модель предударного вокализма распространена значительно шире, чем это отражено в ДАРЯ [ДАРЯ 1986: карта 1]. Согласно нашим данным, этот тип предударного вокализма после твердых согласных представлен во многих говорах Липецкой, Белгородской и Воронежской областей за пределами отмеченных в ДАРЯ ареалов. Эта модель восстанавливается из многих магнитофонных записей, в том числе и из тех, которые были сделаны в последние годы. Во всех этих говорах указанный тип вокализма функционирует как живая фонетическая закономерность, которой подчиняются не только старые, но и новые слова, вошедшие в говор сравнительно недавно, например *к[э]нцёрт*, *в[э]гон*.

Во-вторых, единичные примеры, свидетельствующие о более раннем существовании такого типа вокализма, отмечены в текстах также и на других территориях: например в тульских и калужских говорах. Кроме того, сведения о существовании именно такого типа предударного вокализма после твердых согласных в говорах Ульяновского р-на Калужской области находим в работе [Клейменова 1956: 6]. Следует отметить, что материал для своей диссертации Е.С. Клейменова собирала в 1951–1952 годах, т.е. приблизительно в то же время, что и Т.Ю. Строганова [Строганова 1955].

В-третьих, нами была выявлена и представлена в текстах из Хлевенского района Липецкой обл. особая разновидность архаического типа аканья – **ассимилятивно-диссимилятивная**, в соответствии с которой [а] произносится не только перед звуками [у], [и], [ы] и гласными, выступающими на месте /ъ/ и /ω/ (принцип диссимиляции), но и перед [а] (принцип ассимиляции) [Касаткина, Щигель 1995]. При такой системе диссимилятивного аканья перед гласными верхнего и нижнего подъема в 1-м предударном слоге произносится [а]: *с[а]вү*, *с[а]вы́*, *с[а]в'ь*, *с[а]вωй* и *с[а]ва́*; а перед гласными среднего подъема *э*-образный гласный: *с[э]в'э́нэ́к*, *с[э]в'о́к*. В двух последних случаях степень уподобления предударного гласного ударному может быть еще большей, и тогда перед ударным [е] произносится *э*-образный гласный (*с[э³]в'э́нэ́к*), а перед [о] – *о*-

<sup>1</sup> Расшифровки и комментарии к этим текстам в хрестоматии "Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия Южнорусское наречие" принадлежат Л.Л. Касаткину.

образный (с[ə]во́к). Такой тип аканья можно было бы назвать хлёвенским – по названию района Липецкой обл., где эта модель ассимилятивно-диссимилятивного аканья была обнаружена впервые.

В свое время Т.Ю. Строганова высказала следующее предположение: «Не исключено (...), что среди говоров (...) могут оказаться “нерасшифрованные” системы диссимилятивного аканья, или же недостаточно выявленные собирателями новые, неизвестные до сих пор разновидности предударного вокализма после твердых согласных» [ДАРЯ. 1986: 84]. Материалы южнорусской хрестоматии в известной мере помогают ликвидировать эти пробелы. Обращение к другим магнитофонным записям из южнорусского ареала, хранящимся в фонотеке Отдела фонетики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, может сделать картину еще более полной.

Возникает вопрос, почему фиксация разных типов диссимилятивного аканья более затруднительна, чем разных типов яканья. Дело в том, что артикуляционный контраст между гласными непереднего ряда [a], [a] и [ə] оказывается гораздо менее четко выраженным, чем между гласными переднего ряда [æ], [e] и [i], более удалёнными друг от друга в артикуляционном пространстве. Это наглядно иллюстрирует следующая схема:

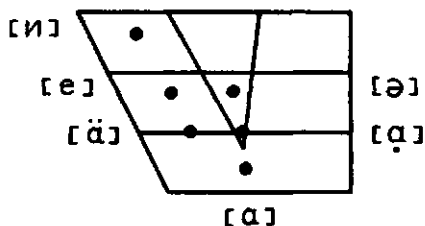


Схема 4

Во всяком случае материал, прослушанный нами и лишь частично содержащийся в звучащей хрестоматии, дает основания утверждать, что ареал диссимилятивного аканья, в том числе и самых архаических его типов, занимает большую часть территории южнорусского наречия.

Особого внимания заслуживает произношение в безударных слогах лабиализованных гласных [ə<sup>o</sup>], [Λ<sup>o</sup>], [o], которые отмечены с разной частотой во многих южнорусских говорах. Такие гласные произносятся преимущественно (почти без исключений) в соответствии с этимологическим *o*. (Приведенные ниже примеры даются в упрощенной транскрипции, в которой гласные [ə<sup>o</sup>], [Λ<sup>o</sup>], [o] передаются обобщенно буквой *o*).

#### После твердого согласного:

1-й предударный слог: *вчорá, сновáли, водóю* (Смол.), *войнá, в онбáры, пошлá, посьня́ли, никому́, в войну́* (Брян.), *брошáить, пошлá, постáвили, по бáнкэм, постáвили, тэрóвáли, лошáтка, большáя, сновáли, мисоéт, оттáдэ, повужáнэить, попрáдуть* (Калуж.), *урожа́й, посóдють, домóчик, пошóл, покóрють* (Липецк.), *толпéш* (от 'толпа'), *коóб, полóджым* (Белгород.), *зэю́ню* (Курск.), *потóм, постóк* (Рязан.), *у коóб, никоó, пэросéнэк* (Тамбов.), *пэсто́ялэ, побы́ла, у ково́, коуду́нья, ко́ду́нья* (Тульск.).

2-й и 3-й предударные слоги: *по дьвинáтцэть, попáлиня́ли* (Брянск.), *побэвáить, юварáить* (Калуж.), *повалáлси* (Тульск.).

Заударные слоги: *з мáчохою, трéтёю* (Смол.), *дэвóчыку, дэвóчыкэ, в Жúковки* (Брянск.), *вы́рэс-то, како́-нибуть* (Калуж.), *мнóю, пóд юру* (Тульск.).

## После мягкого согласного:

1-й предударный слог: *брѣхня* (Смол.), *тѣлка, жарѣнца, ничѣуб, йоуб* (Воронеж.), *нѣуб, чѣуб* (Белгород.); заударный слог: *па-моѣму* (Тульск.).

Произношение [o] на месте /a/: *рѣсстовляѣм* (Смол.), *зѣстовляѣли* (Брян.), *попѣшы, рукова* (Калуж.).

Примеры можно разделить на 3 группы в зависимости от позиций:

1) перед ударным *a* (здесь в 1-м предударном слоге представлены реализации как этимологического *o*, так и *a*);

2) перед слогом с ударным лабиализованным гласным (за редкими исключениями). В этой группе представлены только реализации этимологического *o*.

3) в заударных слогах после ударных [o] и [y] или перед следующим слогом с [y].

Произношение [o] в соответствии с /o/ и /a/ перед ударным *a* – факт, известный в русской диалектной фонетике после классической работы Олафа Брока, посвященной говорам к западу от Мосальска [Брок 1916]. Среди примеров, приведенных Брокком, в этих говорах [o] в предударных слогах можно обнаружить как на месте /o/, так и на месте /a/: *vodá – trová, bloxá – kobák* [Брок 1916: 55, 61, 75, 102]; об этом см. также [Касаткин 1999: 438–439]. Это явление отмечено в говорах с диссимилятивным аканьем и в ДАРЯ [ДАРЯ 1986: карта 2]. Обнаружено оно было также Е.Г. Буровой и Л.Л. Касаткиным в говорах Чухломского акающего острова [Касаткин 1999: 415].

Примеры, подобные тем, которые попали во 2-ю группу, ранее для южнорусских говоров не отмечались. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что произношение [o] в соответствии с этимологическим *o* наблюдается преимущественно (за редкими исключениями) в слоге перед ударными [o], [y] и [e], что напоминает гдовскую систему вокализма, существующую в определенном ареале говоров Псковской области (см. [Строганова 1962]).

Гласные под ударением

Гласные в 1-м предударном слоге в соответствии с фонемами /o, ѡ, a/

*и(ы), у*

*a*

*o*

*o a*

*е(’o)*

*o a*

*a*

*a*

Проблема связи между единичными случаями сохранения произношения [o] в материалах хрестоматии с системой гдовского вокализма требует дальнейших исследований. По нашим данным, следы гдовской модели вокализма отмечаются на фоне диссимилятивного аканья в разных его разновидностях. Последнее же фундаментальное исследование В.Н. Чекмонаса показывает, что в псковских говорах гдовское оканье соседствует с сильным, но отнюдь не с диссимилятивным аканьем [Чекмонас 1999].

Примеры из третьей группы свидетельствуют о возможности сохранения лабиализованного звука в условиях прогрессивной или регрессивной межслоговой ассимиляции гласных. Подобные примеры приведены и в [Касаткин 1999: 415].

Во многих говорах, магнитофонные записи из которых были проанализированы, наблюдается отсутствие параллелизма между системами предударного вокализма после твердых и после мягких согласных: в одном и том же говоре могут сосуществовать диссимилятивное аканье *прохоровского* типа и *йканье*, диссимилятивное аканье *жиздринского* типа и диссимилятивное *яканье суджанского* или *задонского* типов. **Сильное аканье** может сочетаться с *яканьем новосёлковского* и *кидусовского* типов.

При последовательно сохраняющейся семифонемной архаической системе гласных

под ударением система предупредительного вокализма после мягких согласных может характеризоваться иканьем, которое считается более новой системой, чем различные типы яканья. Такое положение обнаружилось в записях из Хвастовичского р-на Калужской обл., говор которого сохраняет многие самые архаичные черты. Этот парадокс пока еще не находит себе объяснения.

4. В целом ряде текстов, представленных в хрестоматии южнорусских говоров, встречаются случаи мены свистящих и шипящих: *зáмуз зэйсла́* (Смол.), *брос<sup>м</sup>áит, жа жэнихóм, сов* (шёл), *шáша* (Саша) (Калуж.), *жавóт* (завод), *дэдуска* (Липецк.), *сы́ску* (шишку) (Белгород.), *с<sup>м</sup>арай* (Орл.), *люльцька* (Тульск.), форма 2-го лица ед. числа глаголов *байсси, смйёсси* и т.п. – повсеместно. Подобные случаи мены шипящих и свистящих в южнорусских говорах отмечались и раньше (см. [Халанский 1904: 35–48; Котков 1952: 51–52; Кузнецова 1977: 99–100]). Очевидно, что эти единичные разрозненные факты предстают как следы когда-то существовавшего в более полном виде явления – иного, чем в современных говорах и литературном языке, соотношения между рядами шипящих и свистящих согласных. Такая система, характеризующаяся полным отсутствием согласных шипящего ряда, была выявлена нами в говоре старообрядцев южнорусского происхождения, живущих в штате Орегон (см. [Касаткина, Касаткин 1998]). В хрестоматии это явление представлено в достаточно полном виде в двух текстах, записанных автором и Л.Л. Касаткиным в штате Орегон в 1996 году [Касаткина 1999: тексты №№ 50–51]. По данным американского исследователя М. Биггинса, прародина этих оregonских старообрядцев – курские земли. Л.Л. Касаткин называет более широкий ареал юго-западной диалектной зоны как место первоначального исхода турчан. Оба исследователя указывают на возможность перенесения этой диалектной черты переселенцами из Псковщины [Biggins 1987; Касаткин 1999: 353–361].

Включение в корпус хрестоматии двух записей от оregonских турчан сделало возможным представить разные ступени развития противопоставления рядов шипящих и свистящих согласных – от нулевой, характерной для архаического говора турчан, когда в фонологической системе говора существует только один ряд сибиллянтов вместо двух, а именно ряд свистящих (текст № 50), до степени полного противопоставления обоих рядов согласных (большинство текстов хрестоматии). В тексте № 51 представлен начальный этап развития корреляции, когда наблюдаются случаи смешения согласных обоих рядов и их взаимного замещения. Случаи, перечисленные выше в начале раздела 4, характеризуют предпоследний этап утраты этого диалектного явления.

5. Об особенностях артикуляционной базы отдельных говоров южнорусского наречия существует исследование А.М. Кузнецовой, где отмечается такая характеристика этой базы, как апикальный или какуминальный уклад языка при произношении переднеязычных согласных [Кузнецова 1977: 69]. При такой конфигурации тела языка переднеязычные согласные образуются движением кончика языка (апекса), который касается при образовании смычных согласных зоны альвеол, а не передних зубов, как это происходит в литературном языке. Следствием существования апико-альвеолярного уклада языка в ряде южнорусских говоров является появление некоторых необычных для русской фонетики согласных, ранее отмеченных в других языках со сходными характеристиками артикуляционной базы.

Мгновенные артикуляции (латеральные и зрвые). Отмечено произношение [р']-образного согласного на месте /л'/: *падéрим* 'поде́лим' (Смол.), *да́ря* 'да́ле, да́льше', *да́ри* 'да́ли', *на ри́еси* 'на ле́се', *брино́в* 'блино́в', *рю́ба* 'Лю́ба' (Калуж.), *решіть* 'ле́чить' (Курск.), *аттэ́рь* 'отте́ль, оттуда' (Белгород.), *па́риери* 'погре́ли' (Воронеж.).

Произношение подобных согласных было нами зафиксировано и ранее в севернорусских говорах [Касаткина 1991]. Так, *р*-образный согласный был зафиксирован на месте /л'/: *на рóтке* 'на лóдке' и [р']-образный на месте /л'/: *рысы* – 'лысы' (Волог.).



Согласные типа [p], [p'] были произнесены в южнорусских говорах на месте /т/, /т'/, /д/, /д'/: *палэсáрыш* 'полосáтые' (Липецк.), *Суржа* – топоним 'Сúджа' (Курск.), *свáрьба* 'свáдьба' (Калуж.), *аринáкэвыш* 'одина́ковые' (Липецк.).

Подобные артикуляции были впервые обнаружены в фонетических системах, весьма далеких от славянских – языках австралийских аборигенов (см., например, [O'Grady 1960; Oates 1964]), западно-африканских языках (см. [Ladefoged 1968]). В книге П. Ладефогед и И. Мэддисона [Ladefoged, Maddieson 1996] согласным такого типа посвящены отдельные главы. Калифорнийские исследователи показали, в частности, что эффект произношения *p*-образного звука в соответствии с /л/, /л'/, /т/, /д/ и т.п. может возникать в тех случаях, когда при апико-альвеолярном укладе языка смычка более кратковременна, чем при реализации других переднеязычных. Возникает так называемый **Пар** или **tap**<sup>2</sup> – согласный того же места образования, что и перечисленные выше переднеязычные, но характеризующийся или очень коротким смыканием кончика языка с альвеолами (**tap**), или мгновенным скольжением кончика языка по альвеолам (**flap**)<sup>3</sup>. По данным П. Ладефогед и И. Меддисона, эти согласные в свою очередь подразделяются на два класса – латеральных и *з*ровых. По-видимому, и в русских говорах *p*-образные согласные, возникающие на месте *л* и *л'*, с одной стороны, и *т*, *т'*, *д*, *д'* – с другой, артикуляционно различаются как латеральные и *з*ровые. Однако для русских слушателей эти различия, не подкрепленные фонологически, настолько незначительны, что все эти мгновенные согласные в совокупности воспринимаются как некие вибранты.

Возможно, что именно с таким, первоначально только речевым акустическим эффектом связаны появления лексикализованных случаев типа *колидбр*, *дилéктор*, *ралёк*, *Хлор* (имя Фрол), *хрёлка* (хлорка), *фёршал* (фельдшер), известных многим говорам и московскому просторечию, где явления дистантной диссимиляции или метатезы плавных могли появиться в результате гиперкоррекции. В севернорусских говорах мгновенные согласные, возникшие спонтанно, закрепились в виде вибрантов в таких лексемах, как *эрак* 'эдак', *свáрьба*, *усáрьба*, *клáрьбище*.

Во многих текстах зафиксировано произношение особого рода свистящих согласных, условно обозначенных в комментариях как "тусклые свистящие". Такие согласные напоминают шепелявые звуки, перцептивно представляющие собой нечто среднее между свистящими и шипящими (но ближе к свистящим). Эти звуки А.М. Кузнецова также связывает с характерной артикуляционной базы говоров: "Твердые шипящие апикального и апико-какуминального образования известны некоторым русским говорам, в которых апикальный уклад нередко характеризует всю систему переднеязычных согласных, включая взрывные и аффрикаты. Указанные образования переднеязычных щелевых относятся к согласным промежуточного типа, которые в литературе известны как свистяще-шипящие" [Кузнецова 1977: 96]. Свистящие такого тембра, отмеченные в текстах хрестоматии, можно было бы обозначать в транскрипции следующим образом: *c<sup>м</sup>*.

Можно сказать, что существование в той или иной частной диалектной системе мгновенных согласных и "тусклых" свистящих сигнализирует о характерном для этого говора апико-альвеолярном артикуляционном укладе. Естественно, что этот особый уклад проявляется и в производстве других переднеязычных согласных, что дает

<sup>2</sup> Между этими двумя артикуляционными типами существует очень тонкое различие, принимаемое во внимание далеко не всеми фонетистами: при общей зоне образования (альвеолы или постальвеолярная зона), при общем активном артикуляторе (апекс или ламинна) и при одинаковой – очень краткой – длительности смычки **flap** образуется кратким движением языка по касательной вдоль зоны контакта, а **tap** – точечной мгновенной смычкой (см. [Ladefoged, Maddieson 1996: 231]).

<sup>3</sup> См. также [Crystal 1987: 157; Laver 1994: 221–222].

определенный акустический эффект, воспринимаемый опытными фонетистами даже при простом аудировании.

6. В области синтаксиса в южнорусских говорах отмечено несколько конструкций, до сих пор считавшихся распространенными только в севернорусском диалектном ареале. Две из них будут рассмотрены подробнее.

Прежде всего, это касается вопроса об употреблении именительного падежа в роли прямого объекта. Согласно мнению ряда лингвистов, такая синтаксическая конструкция обязана своим происхождением балтийскому или финскому субстрату [Wickman 1955; Timberlike 1974]. Известная древнерусскому языку, эта конструкция широко представлена в современных севернорусских и западно-среднерусских говорах. Однако С.И. Котков отмечал ее также и в письменных памятниках южнорусского происхождения XVII века и считал, что «конструкция типа "земля пахать" в прошлом была и южновеликорусской, а не только северно- и средневеликорусской». С.И. Котков считает, что в XVII в. произошла утрата этой конструкции в области южновеликорусского наречия [Котков 1959: 52]. Согласно данным других диалектологов, в современных южнорусских говорах эта конструкция все же встречается, но чрезвычайно редко (см., например [Кузьмина 1993: 7–9]). И.Б. Кузьмина отмечает, что в большинстве случаев примеры этой конструкции, содержащиеся в материалах ДАРЯ для южнорусского ареала, имеют лексикализованный характер [Там же: 15].

Однако в текстах хрестоматии было отмечено несколько примеров свободного употребления указанной конструкции, напр., *ужэ тэдá рубáшкэ сашйэш* (Смол.), *жнём пшанйца* (Брян.), *пэлушял прёмья, принёс бутылка, фся нóчь ня спйм* (Ряз.), *фсю зимá анá в этэй шуби хóдить* (Моск.), *пáрэ лэшадэй зэпряүүть* (Воронеж.), *Трóицэ нэряжáли* (Тул.).

Можно к этим примерам добавить еще несколько, записанных Д.М. Савиновым и О.Г. Ровновой в 1999 г. в экспедиции проф. Я.П. Лохера<sup>4</sup> (Берн, Швейцария) в говорах Клепиковского р-на Рязанской обл. и Венёвского р-на Тульской обл.: *А из молокá что делали? – Из мэлáкá што? Сметáна, твóрах, мáслэ дэлали; Фсю зимá их нóся* (Ряз.); *Он (крот) ни бирёт картóшка; сáдяты май рибяты йисеть картóшка; он приийжэйт, картóшычкэ нэсыпáить; кэлáртскии жуки фсю картóшка абййдають* (Тул.). Слово сочетание *всю зимá*, отмеченное дважды – в Московской и Рязанской обл., по-видимому, относится к лексикализованным случаям, которые имела в виду И.Б. Кузьмина.

Случаи *фсю зимá* и *фсю картóшка* обращают на себя внимание отсутствием согласования по падежу определяемого с определяющим, в данном случае – с местоимением. Возможность такого рассогласования делает вероятным предположение о том, что и пример из Воронежской обл., приведенный в хрестоматии – *Какү ж вам патéхэ рэсказáть?* – может быть приобщен к общему списку, несмотря на то, что безударное [э] во флексии может быть реализацией фонемы /y/, а не /a/. Дело в том, что примеры с [э] в заударной позиции могут быть достаточно убедительными только в тех случаях, когда в системе говора нет редукции заударного у. В таком фрагменте, как *Он и дярúшкэ падмýшкэ, и жану падмýшкэ* (Воронеж.), скорее всего, заударный [э] – результат нейтрализации фонем /a/ и /y/ в безударной позиции, поскольку в стоящей рядом словоформе (*жану*) произношение у под ударением свидетельствует об

<sup>4</sup> Проф. П.Я. Лохер предпринял несколько экспедиций в поисках следов финского и балтийского субстрата в области синтаксиса в русских говорах. Он специально выбрал в южнорусском ареале территории Рязанской и Тульской областей, зная о прежних контактах населения этих мест с мордвой и балтами. Можно лишь предположить, что подобные целенаправленные экспедиции в другие южнорусские области могли бы значительно дополнить имеющийся материал по синтаксической конструкции "именительный падеж в роли прямого объекта".

использовании в роли прямого дополнения винительного падежа, как и в литературном языке, а не именительного. Следовательно, можно полагать, что в словоформах *дярúшка, падмьúшка* в конечном слоге [э] произносится в соответствии с фонемой /y/.

В речи орегонских старообрядцев южнорусского происхождения употребление именительного падежа в роли прямого объекта при личных формах глагола и при предикативном наречии *надо* отмечено неоднократно, и эти конструкции также употребляются свободно. Ср. примеры: *Там криниúшка выкопали; Кто клубни́ка посадил уже к осени, то уродилась хорошó; Мы я́мка выкопаем, тудá ходим сы́ним; У меня́ дёньги на добóгу фátить; Нам земля́ не нáдо*. Все это позволяет считать, что синтаксическая конструкция с именительным падежом в роли прямого объекта употребительна и жива до сих пор не только в севернорусском и западно-среднерусском ареалах, но и в говорах южнорусского наречия.

7. О конструкциях с краткими причастными формами с суффиксами *-н-, -т-* И.Б. Кузьмина пишет: "Двухкомпонентные конструкции, в которых имя и причастие координируют между собой, являются общерусскими. Повсеместно распространены также конструкции с именем в род. падеже и причастной формой на *-но, -то*" [Кузьмина 1993: 135].

Примеры с координирующими между собой именами и причастиями многочисленны и в текстах хрестоматии, ср., напр., *анá ляжítь, и каля́ску свитá; нэ зямí была́ пэстлáта (о)ди́яла; У хáти двéри аткры́ты и сняты, и во́кны; Балíть пэясни́ца, пачíму (потому что) анá изработáнэ; Ты типéрь прасвѣтáнэ*. Такое употребление кратких страдательных причастий не отличает южнорусские говоры от литературного языка. Зона диалектной специфики в употреблении кратких страдательных причастий начинается там, где появляется рассогласование причастия и имени, т.е. причастие как бы воплощает безличную конструкцию. Ср. примеры И.Б. Кузьминой: *Написано грамотка не пером; А у меня свой ребёнок был взято в Сланцы; одна лощина скошено; соха было кладено* [Там же: 137].

И.Б. Кузьмина полагает, что причастия на *-но, -то* здесь "застывшие, неизменяемые образования (а не формы, которые можно непосредственно возводить к безличным конструкциям)" [Там же]. Она пишет, что территория распространения таких конструкций "практически совпадает с территорией регулярного употребления глагольных конструкций с существительными на *-а* в объектной функции" [Там же], т.е. с северо-западной территорией.

Однако с кажущимся отсутствием подобных конструкций в южнорусских говорах дело обстоит не так просто. В данном случае фонетика оказывает плохую услугу синтаксису. Действительно, если в окающих говорах в случаях типа *лощина скошено* синтаксическое рассогласование отчетливо выражено фонетически, то при акающем вокализме – на юге и в акающих среднерусских говорах – несогласованность оказывается фонетически завуалированной: [лаш':йнэ скóшэна], что вполне напоминает общерусские примеры, приведенные выше. Примеры типа *Воз свежэна* более прозрачны, хотя и они могут быть восстановлены с полной формой причастия: *воз свежён(ый)* – ведь фонетический эллипсис конечного *й* нередко отмечается в южнорусских текстах.

И все же в текстах южнорусской хрестоматии обнаружены примеры, коррелирующие с теми, которые И.Б. Кузьмина приводит для севернорусских говоров. Ср. примеры из хрестоматии: *И ко́минь (ко́минь – горизонтальный дымоход в доме от печки до трубы) кáкой-т(о) пратянутэ э рука́ми эт(от) ка́менёк пэлбжуть; Там дярúшки бы́ли эт(о) иш иэ́рсьти насúчинэ, фся́кю краскэй пэкрáшэна* (Воронеж.). *Бэвáлэ, вайдѣи waw нíхний дом, а иш ты, убрáнэ и на́кóрмли́нэ* (Смол.). *Бы́лэ фсѣ вре́мя дáдена, мол, прикáс* (Липецк.).

По данным И.Б. Кузьминой, более распространенными в южнорусских говорах (в их

западной части) являются формы на *-виши, -миши, -иши*. Наш материал также содержит такие формы, и не только с запада южнорусской территории, ср.: *А када ужэ перьвечамши, платок тахтэ во накрывають, этэ касінку* (Калуж.); *Наүү адну разуім, адна абўфши* (Брян.); *Там пахаділ(а), пэпэбиралэсь, умарілэсь, у шубэнэчыкі адэмшэ* (Тульск.). Из рассказа о Крещенье – *Как ардань рубіли, как ваду брали, как папы ідуць и фсё на свёти замёр(з)ши, как старики у бэрэдэх ідуць замёр(з)шы* (Курск.). Только два первых из приведенных примеров совпадают с территорией, определенной Кузьминой для существования форм на *-виши, -миши, -иши* (см. [Кузьмина 1993: 136, карта № 7]).

Таким образом, можно считать, что в отношении употребительности кратких причастий на *-н-, -т-* южнорусские говоры не противопоставлены севернорусским и среднерусским говорам. Однако с полной уверенностью можно утверждать, что в них отсутствуют формы кратких причастий с нулевым окончанием (*сено свезён, одеяло постлёт*), а также конструкции здесь у *волков* *хожено*, характерные и весьма частотные для западной части севернорусской и среднерусской территории.

Подводя итог синтаксическому разделу, следует подчеркнуть еще раз, что типологически южнорусские говоры оказываются не противопоставленными севернорусским по рассмотренным двум позициям: синтаксические конструкции типа "земля пахать" и "воз свезен" представлены в обоих наречиях русского диалектного языка. Различие между двумя диалектными зонами в этом плане теперь, после введения в научный оборот нового материала, выглядит не как типологическое, но как статистическое.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И. 1972 – Русский вокализм 1-го предударного слога / Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М., 1972.
- Брок О. 1916 – Говоры к западу от Мосальска. Пг., 1916.
- Высотский С.С. 1976 – Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах (по материалам экспериментально-фонетического исследования) // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1976.
- ДАРЯ 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. В трех выпусках. Вып. 1: Фонетика / Под ред. Р.И. Аванесова, С.В. Бромлей. М., 1986.
- Зализняк А.А. 1986 – Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986.
- Захарова К.Ф., Орлова В.Г. 1970 – Диалектное членение русского языка. М., 1970.
- Касаткина Л.Л. 1999 – Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Касаткина Р.Ф. (ред.) 1991 – Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Севернорусские говоры // Приложение № 1 к Бюллетеню фонетического фонда русского языка. Москва; Бохум, 1991.
- Касаткина Р.Ф. (ред.) 1999 – Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие. М., 1999.
- Касаткина Р.Ф., Касаткин Л.Л. 1998 – Неразличение свистящих и шипящих согласных в языке русских старообрядцев, живущих в США в штате Орегон // Kalbotuga 46 (2). Slavistica Vilnensis. 1997. История. Язык. Культура. Сб. статей, посвященный 60-летию В.Н. Чекмонаса. Вильнюс, 1998.
- Касаткина Р.Ф., Касаткин Л.Л. 1999 – Некоторые диалектные архаизмы в говоре орегонских "турчан" // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999.
- Касаткина Р.Ф., Шигель Е.В. 1995 – Ассимилятивно-диссимилятивное аканье // Проблемы фонетики. II, М., 1995.
- Клейменова Е.С. 1956 – Говоры южной части Калужской области: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1956.

- Котков С.И.* 1952 – Заметки по консонантизму курско-орловских говоров // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. № 2. М., 1952.
- Котков С.И.* 1959 – Конструкция типа "земля пахать" в истории южновеликорусских говоров // Изв. ОЛЯ. Т. 18. Вып. 1. М., 1959.
- Кузнецова А.М.* 1977 – Разновидности способа образования согласных в русских говорах // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
- Кузьмина И.Б.* 1993 – Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М., 1993.
- Пожарицкая С.К.* 1982 – Русская диалектология. М., 1982.
- Русская диалектология 1964 – / Ред. Р.И. Аванесов, В.Г. Орлова, М., 1964.
- Русская диалектология 1973 – / Ред. П.С. Кузнецов. М., 1973.
- Савинов Д.М.* 1999 – О рефлексах фонем ⟨ѐ⟩ и ⟨ѐ⟩ в говорах севера Тульской обл. // 6-я Международная конференция "Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество". Симферополь, 1999.
- Савинов Д.М.* 2000 – Говоры Белёвского района (по материалам фонотеки Тульского пединверситета) // Спонтанная речь. Kalbotyra 49 (2). Slavistica Vilnensis (в печати).
- Строганова Т.Г.* 1955 – Одна из особенностей южнорусского вокализма // ВЯ. № 4. 1955.
- Строганова Т.Ю.* 1962 – О предупредительном вокализме говоров северо-запада Псковской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. III. М., 1962.
- Хабургаев Г.А.* 1975 – Географическое варьирование системных отношений как материал для исторической диалектологии // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975.
- Халанский М.Г.* 1904 – Народные говоры Курской губернии. СПб., 1904.
- Чекмонас В.Н.* 1999 – Аканье и яканье в говорах Псковского района (современное состояние и проблемы истории) // Kalbotyra 48 (2). Slavistica Vilnensis. 1999.
- Biggins M.* 1987 – A South Russian dialect in Oregon: the "Turkish" Old Believers. University of Kansas. Ann Arbor, 1987.
- Chystal D.* 1987 – The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge, 1987.
- Ladefoged P.* 1968 – A phonetic study of West African languages. Cambridge, Massachusetts, 1968.
- Ladefoged P., Maddieson I.* 1996 – The sounds of the world languages. Cambridge, Massachusetts, 1996.
- Laver J.* 1994 – Principles of phonetics. Cambridge, 1994.
- O'Grady G.N.* 1960 – New concept in Nyungumada. Some data on linguistic acculturation // Anthropological linguistics. V. 2. № 1. 1960.
- Oates L.* 1964 – Distribution on phonemes and Syllables in Gugu-Yalanji // Anthropological linguistics. V. 6. № 1. 1964.
- Timberlike A.* 1974 – The nominative object in Slavic, Baltic and West Finnic. München, 1974.
- Wickman B.* 1955 – The form of the object in the Uralic languages. Uppsala, 1955.

© 2000 г. А.П. ВОЛОДИН

**О "БЛУЖДАЮЩЕЙ МОРФЕМЕ" *INE/ENA* В ЧУКОТСКО-КОРЯКСКИХ ЯЗЫКАХ (ОПЫТ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)**

**0. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

0.0. К числу чукотско-корякских языков я, вслед за П.Я. Скориком, отношу чукотский, корякский, алыторский и керекский (ср. [Скорик 1958]). Все эти языки несомненно родственные<sup>1</sup>. Чукотский язык по ряду параметров несколько обособляется от остальных; поэтому далее я иногда пишу "корякские языки". Точка зрения Скорика на состав чукотско-корякской группы не является общепринятой.

Диалектная расчлененность чукотского языка выражена очень слабо; в корякском ситуация обратная. Многочисленные корякские диалекты могут быть разделены на две группы – чавчувенскую (кочевые коряки) и нымыланскую (оседлые коряки). То, что известно нам как "корякский язык", представляет собой чавчувенский диалект, который положен в основу письменного языка. Алыторский язык относится к нымыланской группе, керекский – к чавчувенской группе (хотя кереки, расселенные по берегу Берингова моря на юге Чукотки – севере Камчатки, вели оседлый образ жизни).

Настоящая работа представляет собой один из результатов сравнительного исследования чукотско-корякских языков (плановая тема ИЛИ РАН, рукопись завершена в 1998 г.). Прежде чем переходить непосредственно к теме, представляется полезным сделать несколько вводных замечаний и предъяснить необходимый минимум дескриптивной информации. Примеры приводятся в фонологической транскрипции, которая во всех отношениях предпочтительнее практической орфографии.

0.1. Чукотско-корякские языки описаны в разной степени. По чукотскому и корякскому имеются академические грамматики [Скорик 1961; 1977; Жукова 1972]. Алыторский язык привлекает внимание многих авторов (И.С. Вдовин, А.Н. Жукова, И.А. Мельчук, И.А. Муравьева, А.Е. Кибрик, А.А. Мальцева), но монографического описания до сих пор нет; следует упомянуть монографию по паланскому диалекту, входящему в нымыланскую группу [Жукова 1980]. По керекскому языку известно три небольших статьи [Скорик 1968, Володин 1991; 1997]; завершенная мною в соавторстве с А.С. Асиновским работа "Очерки по керекскому языку" (1992) еще не опубликована.

0.2. Демонстрацию конкретного материала начнем с полных парадигм полиперсонального (переходного) глагола по всем четырем языкам, чтобы показать как их общность, так и различия. В качестве примера избран один и тот же глагол "видеть" в форме прошедшего времени, имеющего отрицательную (нулевую) маркировку; таким образом, нижеприводимые глагольные словоформы состоят из корня и лично-числовых показателей<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В работе [Скорик 1958] говорится о чукотско-камчатских языках – четыре вышеупомянутых плюс ительменский, который не родствен чукотско-корякским языкам. Чукотско-камчатская языковая общность – не генетическая, а ареальная, ср. [Georg, Volodin 1999: 224 ff].

<sup>2</sup> В чукотском различается единственное и множественное число, в корякских языках – также двойственное. Высказано мнение, что противопоставление "двойственное/множе-

**Нотация:** лицо обозначено цифрой; Sg – ед. ч., Du – дв. ч., Pl – мн. ч.; таким образом, 1Sg – 1 л. ед. ч. (я), 2Du – 2 л. дв. ч. (вы=двое), 3Pl – 3 л. мн. ч. (они) и т.д. Субъектно-объектные конъюнкции обозначаются через косую черту, причем первым всегда стоит агенс, вторым – пациенс; таким образом, 1Sg/2Sg – я – тебя, 3Sg/1Sg – он – меня, и т.д. Омонимичные формы помечаются таким же способом, например:

3Sg/1Sg-3Sg – он/меня-его

2Sg/1Sg-3Sg-1Du-3Du-1Pl-3Pl – ты/меня-его-нас=дв. -их=дв.-нас-их

1Sg-3Sg-1Pl-3Pl/2Pl – я-он-мы-они/вас, и т.д.

	(1) чукотский	(2) корякский
1Sg/2Sg	<i>tə=flu=γət</i>	<i>tə=lhu=γi</i>
1Sg/3Sg	<i>tə=flu=(γle)n</i>	<i>tə=lhu=n</i>
1Sg/2Du		<i>tə=lhu=tək</i>
1Sg/3Du		<i>tə=lhu=net</i>
1Sg/2Pl	<i>tə=flu=tək</i>	<i>tə=lho=la=tək</i>
1Sg/3Pl	<i>tə=flu=net</i>	<i>tə=lhu=new</i>
2Sg/1Sg	<i>ine=flu=γli</i>	<i>ine=lhu=j</i>
2Sg/3Sg	<i>flu=(γle)n</i>	<i>lhu=n</i>
2Sg/1Du		<i>ne=lhu=mək</i>
2Sg/3Du		<i>lhu=net</i>
2Sg/1Pl	<i>flu=tku=γli</i>	<i>na=lho=la=mək</i>
2Sg/3Pl	<i>flu=net</i>	<i>lhu=new</i>
3Sg/1Sg	<i>ine=flu=γli</i>	<i>ine=lhu=j</i>
3Sg/2Sg	<i>ne=flu=γət</i>	<i>ne=lhu=γi</i>
3Sg/3Sg	<i>flu=nin</i>	<i>lhu=nin</i>
3Sg/1Du		<i>ne=lhu=mək</i>
3Sg/2Du		<i>ne=lhu=tək</i>
3Sg/3Du		<i>lhu=nin</i>
3Sg/1Pl	<i>ne=flu=mək</i>	<i>na=lho=la=mək</i>
3Sg/2Pl	<i>ne=flu=tək</i>	<i>na=lho=la=tək</i>
3Sg/3Pl	<i>flu=ninet</i>	<i>lhu=nin</i>
1Pl/2Sg	<i>mət=flu=γət</i>	<i>mət=lhu=γi</i>
1Pl/3Sg	<i>mət=flu=(γle)n</i>	<i>mət=lhu=n</i>
1Pl/2Du		<i>mət=lhu=tək</i>
1Pl/3Du		<i>mət=lhu=net</i>
1Pl/2Pl	<i>mət=flu=tək</i>	<i>mət=lho=la=tək</i>

ственное" в корякских языках представляет собой инновацию [Fortescue 1993: 3]; из нижеприводимых парадигм видно, что чукотские формы мн. ч. и формы дв. ч. в корякских языках материально совпадают, тогда как мн. ч. корякских языков не имеет никаких следов в чукотском. Должен подчеркнуть, что при наличии противопоставления "три лица / два числа" парадигма полиперсонального глагола состоит из 28 форм (как, например, в чукотском). Это системное число. В корякских языках системное число для полиперсональной парадигмы – 42 формы. Связано это с тем, что в корякских языках единственное / двойственное / множественное число различают роли S и Pt, поэтому, скажем, в моноперсональной парадигме – 9 личных форм, ср. ниже (6), (8), (10), (12), (14), но роль Ag различает только два числа – единственное / не-единственное: личные местоимения в абсолютном падеже (фактитив) имеют 9 форм, в эргативном падеже (агенс) – только 6. Поэтому предьявляемые иногда в литературе парадигмы из 63 форм (предполагающие, что три числа различают как Pt, так и Ag), несомненно полученные от информантов, следует признать системно некорректными (ср. [Кибрик 1997: 46, табл. 6], также – [Жукова 1972: 252–254]). Корякские языки не нормированы, а информант, как известно, всегда прав. Если же учебник для педучилищ [Жукова 1987] принять за начатки нормирования языка, то там полиперсональные парадигмы включают по 42 формы.

1PI/3PI	<i>mət=ʃlu=net</i>	<i>mətə=lhu=new</i>
2PI/1Sg	<i>ine=ʃlu=tək</i>	<i>ine=lhu=tək</i>
2PI/3Sg	<i>ʃlu=tkə</i>	<i>lhu=tkə</i>
2PI/1Du		<i>ne=lhu=mək</i>
2PI/3Du		<i>lhu=tkə</i>
2PI/1PI	<i>ʃlu=iku=tək</i>	<i>na=lho=la=mək</i>
2PI/3PI	<i>ʃlu=tkə</i>	<i>lho=la=tkə</i>
3PI/1Sg	<i>ne=ʃlu=γəm</i>	<i>ne=lhu=γəm</i>
3PI/2Sg	<i>ne=ʃlu=γət</i>	<i>ne=lhu=γi</i>
3PI/3Sg	<i>ne=ʃlu=(γʲe)n</i>	<i>ne=lhu=n</i>
3PI/1Du		<i>ne=lhu=mək</i>
3PI/2Du		<i>ne=lhu=tək</i>
3PI/3Du		<i>ne=lhu=net</i>
3PI/1PI	<i>ne=ʃlu=mək</i>	<i>na=lho=la=mək</i>
3PI/2PI	<i>ne=ʃlu=tək</i>	<i>na=lho=la=tək</i>
3PI/3PI	<i>ne=ʃlu=net</i>	<i>ne=lhu=new</i>
1Sg/2Sg	(3) алюторский <i>tə=ʃlu=γət</i>	(4) керекский <i>tə=lhu=j</i>
1Sg/3Sg	<i>tə=ʃlu=n</i>	<i>tə=lhu=n</i>
1Sg/2Du	<i>tə=ʃlu=tək</i>	<i>tə=lhu=tək</i>
1Sg/3Du	<i>tə=ʃlu=nat</i>	<i>tə=lhu=nnat</i>
1Sg/2PI	<i>tə=ʃlu=la=tək</i>	<i>tə=lhu=la=tək</i>
1Sg/3PI	<i>tə=ʃlu=nawwi</i>	<i>tə=lhu=nakku</i>
2Sg/1Sg	<i>ina=ʃlu=j</i>	<i>ina=lhu=j</i>
2Sg/3Sg	<i>ʃlu=n</i>	<i>lhu=n</i>
2Sg/1Du	<i>na=ʃlu=mək</i>	<i>na=lhu=mək</i>
2Sg/3Du	<i>ʃlu=nat</i>	<i>lhu=nnat</i>
2Sg/1PI	<i>na=ʃlu=la=mək</i>	<i>na=lhu=la=mək</i>
2Sg/3PI	<i>ʃlu=nawwi</i>	<i>lhu=nakku</i>
3Sg/1Sg	<i>ina=ʃlu=j</i>	<i>ina=lhu=j</i>
3Sg/2Sg	<i>na=ʃlu=γət</i>	<i>na=lhu=j</i>
3Sg/3Sg	<i>ʃlu=nin</i>	<i>lhu=ni</i>
3Sg/1Du	<i>na=ʃlu=mək</i>	<i>na=lhu=mək</i>
3Sg/2Du	<i>na=ʃlu=tək</i>	<i>na=lhu=tək</i>
3Sg/3Du	<i>ʃlu=ninat</i>	<i>lhu=ninnat</i>
3Sg/1PI	<i>na=ʃlu=la=mək</i>	<i>na=lhu=la=mək</i>
3Sg/2PI	<i>na=ʃlu=la=tək</i>	<i>na=lhu=la=tək</i>
3Sg/3PI	<i>ʃlu=ninawwi</i>	<i>lhu=ninakku</i>
1PI/2Sg	<i>mətə=ʃlu=γət</i>	<i>mət=lhu=j</i>
1PI/3Sg	<i>mətə=ʃlu=n</i>	<i>mət=lhu=n</i>
1PI/2Du	<i>mətə=ʃlu=tək</i>	<i>mət=lhu=tək</i>
1PI/3Du	<i>mətə=ʃlu=nat</i>	<i>mət=lhu=nnat</i>
1PI/2PI	<i>mətə=ʃlu=la=tək</i>	<i>mət=lhu=la=tək</i>
1PI/3PI	<i>mətə=ʃlu=nawwi</i>	<i>mət=lhu=nakku</i>
2PI/1Sg	<i>ina=ʃlu=tək</i>	<i>ina=lhu=tək</i>
2PI/3Sg	<i>ʃlu=tkə</i>	<i>lhu=ççi</i>
2PI/1Du	<i>na=ʃlu=mək</i>	<i>na=lhu=mək</i>
2PI/3Du	<i>ʃlu=tkə</i>	<i>lhu=ççi</i>
2PI/1PI	<i>na=ʃlu=la=mək</i>	<i>na=lhu=la=mək</i>
2PI/3PI	<i>ʃlu=la=tkə</i>	<i>lhu=la=ççi</i>



3PI/1Sg	<i>na=ʎu=γət</i>	<i>na=lhu=m</i>
3PI/2Sg	<i>na=ʎu=γət</i>	<i>na=lhu=j</i>
3PI/3Sg	<i>na=ʎu=n</i>	<i>na=lhu=n</i>
3PI/1Du	<i>na=ʎu=mək</i>	<i>na=lhu=mək</i>
3PI/2Du	<i>na=ʎu=tək</i>	<i>na=lhu=tək</i>
3PI/3Du	<i>na=ʎu=nat</i>	<i>na=lhu=nnat</i>
3PI/1PI	<i>na=ʎu=la=mək</i>	<i>na=lhu=la=mək</i>
3PI/2PI	<i>na=ʎu=la=tək</i>	<i>na=lhu=la=tək</i>
3PI/3PI	<i>na=ʎu=nawwi</i>	<i>na=lhu=nakku</i>

**Комментарий к парадигмам (1)–(4).** В чукотском и корякском есть гармония гласных; алломорфы *inelena*, *nelna*, *lhullho* представляют собой сингармонические варианты. В алюторском и керекском гармонии гласных нет; интересующая нас морфема реализуется только в вариантах *na*, *ina*.

**0.3.** Теперь обратимся к словоформам, которые образуются от корней практически любой семантики; в литературе по чукотско-корякским языкам они описываются по-разному и зачисляются в разные части речи. Я предлагаю называть их **п р е д и к а т и в а м и** и квалифицировать в грамматической системе как функциональный класс **с л о в о ф о р м**, не сводимый к какому-либо традиционному классу **с л о в** (частей речи) [Володин 1991; Kämpfe, Volodin 1995]. В процессе формирования чукотско-корякской грамматической системы предикативы если и не предшествовали финитному глаголу, то, во всяком случае, развивались параллельно с ним. В отличие от финитного глагола, характеризуемого прежде всего категорией модальности (время – наклонение), т.е. способности, наряду с реализом, выражать также ирреалис, предикативы означают только утверждение наличия (или отсутствия) некоторого признака, т.е. исключительно реалис. Всего выделяется 6 формальных группировок предикативов, из которых 5 изменяются по лицам, шестая (отсутствие признака) на это не способна.

Для нашей темы важны предикативы, изменяемые по лицам. Поскольку личная парадигма предикативов единообразна, ограничимся демонстрацией двух формальных группировок на материале двух языков: чукотского и корякского.

**0.3.1.** Предикативы типа "быть" – образуются от корней предметной (класс N), качественной (класс A) и процессуальной семантики (класс V).

(5) чукотский	(6) корякский
<i>kəmiŋən</i> "ребенок"	

1Sg	<i>kəmiŋə=j=γət</i>	<i>kəmiŋə=j=γət</i>
2Sg	<i>kəmiŋə=j=γət</i>	<i>kəmiŋə=j=γi</i>
3Sg	<i>kəmiŋə=n</i>	<i>kəmiŋə=n</i>
1Du		<i>kəmiŋə=muji</i>
2Du		<i>kəmiŋə=tuji</i>
3Du		<i>kəmiŋə=t</i>
1PI	<i>kəmiŋə=muri</i>	<i>kəmiŋə=muju</i>
2PI	<i>kəmiŋə=turi</i>	<i>kəmiŋə=tuju</i>
3PI	<i>kəmiŋə=t</i>	<i>kəmiŋ=u</i>
	(7) чукотский	(8) корякский
	<i>nermeqin</i> "сильный"	<i>nəkeryqin</i> "сильный"
1Sg	<i>n=erme=j=γət</i>	<i>nə=keryu=j=γət</i>
2Sg	<i>n=erme=j=γət</i>	<i>nə=keryu=j=γi</i>
3Sg	<i>n=erme=qin</i>	<i>nə=keryu=qin</i>
1Du		<i>nə=keryu=muji</i>
2Du		<i>nə=keryu=tuji</i>
3Du		<i>nə=keryu=qinet</i>

1PI	<i>n=erme=muri</i>	<i>nə=kerɣu=muju</i>
2PI	<i>n=erme=turi</i>	<i>nə=kerɣu=tuju</i>
3PI	<i>n=erme=qinet</i>	<i>nə=kerɣu=qinew</i>

Предикативы типа "быть" от процессуальных корней в специальной литературе обычно трактуются как глагольные формы ("настоящее II"). В традиции описания корякского языка "настоящее II" не выделяется. Информант, разумеется, без усилия выдаст просимую парадигму; но проверка корякских текстов показывает, что эти формы настолько редки, что их можно считать исключениями. С другой стороны, в алюторском и керекском "настоящее II" выделяется, поэтому в данном случае чукотский материал сопоставляется с керекским:

	(9) чукотский	(10) керекский
	<i>cejwə=k</i> "ходить"	<i>laju=k</i> "ходить"
1Sg	<i>nə=cejw=i=ɣət</i>	<i>nə=laju=j=ət</i>
2Sg	<i>nə=cejw=i=ɣət</i>	<i>nə=laju=j=əj</i>
3Sg	<i>nə=cejwə=qin</i>	<i>nə=laju=qi</i>
1Du		<i>nə=laju=məəj</i>
2Du		<i>nə=laju=təəj</i>
3Du		<i>nə=laju=qinnat</i>
1PI	<i>nə=cejwə=muri</i>	<i>nə=laju=məikku</i>
2PI	<i>nə=cejwə=turi</i>	<i>nə=laju=təikku</i>
3PI	<i>nə=cejwə=qinet</i>	<i>nə=laju=qinnakku</i>

**0.3.2.** Предикативы типа "иметь" – образуются от корней предметной (класс N) и процессуальной семантики (класс V). Если предикативы типа "быть" приписывают признак непосредственно субъекту ("ребенок=я", "сильный=я", "ходящий=я", т.е. "хожу=я", ср. парадигмы (5)–(10)), то предикативы типа "иметь" означают обладание признаком как результат ("ребенком / детьми=обладаю=я", "хождением=обладаю=я", т.е. "ушел=я", ср. ниже, парадигмы (11)–(14)). Эти формы от корней класса V трактуются как глагольные ("прошедшее II"), от корней класса N – как "форма лица имени обладателя данным предметом" (для чукотского – [Скорик 1961: 216]) или как "относительное прилагательное" (для корякского – [Жукова 1972: 156]). Следует подчеркнуть, что в чукотско-корякских языках это единственный способ выражения haveo-конструкции.

	(11) чукотский	(12) корякский
		<i>kəmiŋən</i> "ребенок"
1Sg	<i>ɣe=kmiŋ=i=ɣət</i>	<i>ɣa=kmiŋ=i=ɣət</i>
2Sg	<i>ɣe=kmiŋ=i=ɣət</i>	<i>ɣa=kmiŋ=i=ɣi</i>
3Sg	<i>ɣe=kmiŋə=fin</i>	<i>ɣa=kmiŋə=lin</i>
1Du		<i>ɣa=kmiŋə=muji</i>
2Du		<i>ɣa=kmiŋə=tuji</i>
3Du		<i>ɣa=kmiŋə=linat</i>
1PI	<i>ɣe=kmiŋə=muri</i>	<i>ɣa=kmiŋə=muju</i>
2PI	<i>ɣe=kmiŋə=turi</i>	<i>ɣa=kmiŋə=tuju</i>
3PI	<i>ɣe=kmiŋə=qinet</i>	<i>ɣa=kmiŋə=linaw</i>
	(13) чукотский	(14) корякский
	<i>cejwək</i> "ходить"	<i>lejvək</i> "ходить"
1Sg	<i>ɣe=cejw=i=ɣət</i>	<i>ɣe=lejv=i=ɣət</i>

2Sg	$\gamma e = \zeta e j w = i = \gamma \dot{a} t$	$\gamma e = l e j v = i = \gamma i^3$
3Sg	$\gamma e = \zeta e j w \dot{a} = j i n$	$\gamma e = l e j v \dot{a} = l i n$
1Du		$\gamma e = l e j v \dot{a} = m u j i$
2Du		$\gamma e = l e j v \dot{a} = t u j i$
3Du		$\gamma e = l e j v \dot{a} = l i n e t$
1Pl	$\gamma e = \zeta e j w \dot{a} = m u r i$	$\gamma e = l e j v \dot{a} = m u j i$
2Pl	$\gamma e = \zeta e j w \dot{a} = t u r i$	$\gamma e = l e j v \dot{a} = t u j u$
3Pl	$\gamma e = \zeta e j w \dot{a} = j i n e t$	$\gamma e = l e j v \dot{a} = l i n e w$

От корней семантического класса А предикативы типа "иметь" непосредственно образованы быть не могут. Возможна только вторичная деривация посредством вербализатора, ср. чук.  $n \dot{a} = m e j \dot{a} \eta - q i n$  "большой=он" >  $m e j \dot{a} \eta + t w i > m e j \dot{a} \eta \dot{a} = t w i = k$  "стать=большим" >  $\gamma e = m e j \dot{a} \eta \dot{a} = t w i = j i n$  "большим=стал=он", и т.д.; то же в корякских языках.

0.4. Демонстрация парадигматического материала имеет целью подчеркнуть различие между предикативами (функциональный класс словоформ) и финитным глаголом (функциональный и формальный класс словоформ, т.е. часть речи). Для нашей темы этого достаточно. Дальнейшие иллюстрации приводятся в ходе изложения.

## 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1.1. Соотношение экспонента морфемы и ее позиции – одна из принципиальных проблем общей морфологии. В первых эксплицитных моделях позиционной грамматики (или грамматики порядков) утверждалось, что последовательность значимых элементов (морфем) в словоформе стабильна [Глисон 1959; Ревзин, Юлдашева 1969]. Отсюда следовало, что позиция элемента неизмеримо важнее, чем его экспонент: наличие в конкретной цепочке двух (или более) элементов с одинаковым экспонентом, но в разных (иногда принципиально разных, т.е. левее и правее корня) позициях должно означать, что мы имеем дело с разными (омонимичными) морфемами. Распространение приемов позиционного анализа на материал языков, иногда определяемых как полисинтетические (например, эскалеутские) показало, что морфема может менять позицию, сохраняя свое значение, но при этом меняется содержание высказывания, заключенного в цепочке словоформы. Речь идет исключительно о необязательных морфемах деривационного типа. Такое явление было квалифицировано как относительно свободный порядок следования морфем [Асиновский, Володин, Головкин 1987]. Рассматриваемый в настоящей работе казус *inelena* подобной квалификации не поддается. Во-первых, *inelena* не относится к числу деривационных морфем – это элемент обязательный. Во-вторых, *inelena* позиции не меняет – этот элемент занимает разные позиции, как левее корня (префиксальные), так и правее корня (суффиксальные). Проблема состоит в том, чтобы решить – одна это морфема или это разные морфемы.

1.2. Предельно обобщенная максимальная линейная модель чукотско-корякской словоформы может быть представлена так:

$$(15) (m) + (r) + R + (m)$$

**Нотация:** R – корень, образующий словоформу; (m) – служебная морфема, аффикс, без различия обязательных/необязательных; скобки означают, что этих элементов в цепочке может быть более одного; (r) – корневая морфема, которая может быть добавлена в

<sup>3</sup> Морфологический сегмент *l/j* в формах 1Sg и 2Sg имеет строевой характер и грамматическим значением не обладает. В этой позиции, перед */γ/*, он встречается во всех чукотско-корякских языках, даже в тех случаях, где */γ/* в силу внутренних причин утрачен, как например в керекском, ср. парадигму (10).

словоформу при условии наличия R. Скобки означают то же, что и в предыдущем случае: количество элементов типа (r) в словоформе теоретически не ограничено. Выделение (r) в модели указывает на возможность композиции (сложные слова) и инкорпорации как частного случая реализации композитивного механизма.

Раскроем отчасти скобки, чтобы указать на позиции, занимаемые морфемой *inelena* в максимальной модели. Алломорфы *inelena* представляют собой сингармонические варианты; в нижеследующем изложении я избираю в качестве экспонента алломорфу *ine*:

(16)  $(i)ne + (m) + ine + R + (m) + in(e) + (m)$

Из (16) следует, что *inelena* фиксируется в модели словоформы трижды: два раза левее корня и один раз – правее. Эта морфема может занимать терминальные (крайние) позиции в цепочке – левую (в любом случае) и правую – не всегда, справа она может быть "прикрыта" другой морфемой, о чем см. ниже, 2.1. Занимая терминальные позиции, *inelena* теряет гласные (левую и правую соответственно), приобретает вид *ne/na* (левая позиция), *in/en* (правая позиция). Это связано с особенностями слоговой структуры чукотско-корякских словоформ, выступающих в функции предиката, ср. ниже, 5.

1.3. Для того, чтобы различать позиционно разные *inelena*, маркируем их цифровыми индексами:

(16a)  $(i)ne_3 + (m) + ine_2 + R + (m) + in(e)_1 + m$

Подобный, странный на первый взгляд, способ индексации справа налево – имеет диахронические основания и связан с развиваемой мною концепцией формирования чукотско-корякской грамматической системы (ср. выше, 0.3). Из сопоставления (16) и (16a) видно, что *ine<sub>2</sub>* занимает в модели словоформы позицию (r). Это значит, что если в конкретной словоформе присутствует *ine<sub>2</sub>* – в нее ничего инкорпорировать нельзя; ср. ниже, 3.6.

Морфема *inelena* фиксируется исключительно в словоформах, функционирующих как предикат, т.е. в финитном глаголе – парадигмы (1)–(4) и в предикативах – парадигмы (5)–(14). Фиксация *inelena* в словоформах, функционирующих как актант, ср. чук. *ena* = *ʃotkoʃarʃan* "выборы", кор. *ine* = *wenetineʃ* "отвертка" – представляет случай вторичной (именной) деривации от корней семантического класса V, осложненных морфемой *inelena*.

Теперь мы можем обратиться к рассмотрению конкретного материала.

## 2. INE<sub>1</sub>

2.1. Этот морфологический сегмент может быть выделен только при диахроническом анализе. Он усматривается в формах 3 л. у предикативов – парадигмы (5)–(14), в четырех формальных группировках из шести (ср. 0.3). Ограничимся здесь данными чукотского языка (в корякских языках ситуация аналогичная):

(17)	1. <i>n=erme=qin=∅</i>	"сильный=он"
	2. <i>ʃa=qora=jen=∅</i>	"обладающий=оленем/=ями=он"
	3. <i>emniŋ=kin=∅</i>	"имеющий=отношение=к=тундре=он"
	4. <i>riquk=in=∅</i>	"принадлежащий=песцу=он"

Выше – п. 0.3.1-2 – были приведены личные парадигмы предикативов типа "быть" (17.1) и "иметь" (17.2); такие же парадигмы могут быть построены для релятивных (17.3) и посессивных (17.4) предикативов. Членение в (17) синхронное, задан-

ное традицией, идущей от В.Г. Богораза, основоположника чукотско-корякского языкознания. Я позволил себе только прибавить нулевой показатель единственного числа; тем не менее, в данном случае интересующий нас морфологический сегмент занимает фактически правую терминальную позицию и поэтому выступает в виде *in/en*. В формах множественного числа, "прикрываемых" справа показателем *-t*, восстанавливается *inelena*:

(17a)	1. $n=erme=q=ine=t$	"сильные=они"
	2. $\gamma a=qora=j=ena=t$	"обладающие=оленем/=ями=они"
	3. $emnu\eta=k=ine=t$	"обладающие=отношение=k=тундре=они"
	4. $riquk=ine=t$	"принадлежащие=песцу=они"

2.2. Этимология выделенных в (17a) морфологических сегментов *q, j, k* в настоящее время еще не ясна. На морфологический сегмент *inelena* в рассматриваемых формах впервые обратила внимание Жукова при описании корякского языка, возможно, потому, что она причислила все эти формы к классу "имени прилагательного" [Жукова 1972: 144–145]. Упомянуто лишь о "материальной общности словообразовательных аффиксов", но это беглое замечание следует считать принципиально важным для понимания эволюции чукотско-корякской грамматической системы. Скорик специально не указывал на это обстоятельство (опять-таки, скорее всего потому, что в его описании чукотского языка предикативы, имеющие *ine*<sub>1</sub>, попали в разные классы).

Эскимолог М. Фортеस्कью, в последние годы предпринимая сравнительные исследования в области чукотско-корякских языков, обратил внимание на морфологический сегмент *inelena* в составе показателей *=kine, =line* (транскрипция автора). Правда, в построениях Фортеस्कью есть очень много спорного, но насчет *inelena* им предложена удачная, на мой взгляд, формулировка исходного значения этого элемента: "pertaining to" ("имеющий отношение к") [Fortescue 1993: 19, footnote 16].

Воспользовавшись этой формулой, мы можем определить значение *inelena* в вышеприведенных примерах как

- 17.1. и м е е т о т н о ш е н и е к п р и з н а к у ('я емь то-то и то-то'),
- 17.2. к о б л а д а н и ю п р и з н а к о м и л и п р е д м е т о м ('я имею то-то и то-то'),
- 17.3. к о п о с р е д о в а н н о й с в я з и м е ж д у с у б ъ е к т о м и п р е д м е т о м / м е с т о м / в р е м е н е м ('я имею отношение к тому-то и к тому-то'),
- 17.4. к н е п о с р е д с т в е н н о й с в я з и м е ж д у с у б ъ е к т о м и п р е д м е т о м ('я принадлежу тому-то и тому-то').

2.3. Обобщая эти реализации, можно сказать так: *ine*<sub>1</sub> и м е е т о т н о ш е н и е к в ы р а ж е н и ю п р е д и к а т а. В этом случае выделенные в (17a) морфологические сегменты *q, j, k* служат, по всей видимости, целям конкретизации характера предикативной связи; в последнем случае (17.4) *ine*<sub>1</sub> выступает, так сказать, "в чистом виде". К семантике корня *ine*<sub>1</sub> безразличен: предикативы типа "быть" (17.1) свободно образуются от предметных, качественных и процессуальных корней – парадигмы (5)–(10), предикативы типа "иметь" (17.2) – от предметных и процессуальных корней – парадигмы (11)–(14). Релятивные предикативы на *-kin(e)* (17.3) также образуются от предметных, локальных, темпоральных и процессуальных корней. Последнее широко представлено в корякском, ср.: *jej\i\ce\eta\=kin* "учебный", *j\eta\l\=kin* "метательный, тот, который бросают", *j\al\qet=kin* "спальный" и т.д. [Жукова 1972: 161, переводы авторские. – А.В.]. В чукотском, напротив, подобные формы единичны. Характерный пример – синтагма *mi\c\i\g\i\ \c\im\i\l\i\=kin* "работа для ума" ("работа чтобы=думать"). Поссесивные предикативы на *-in(e)* (17.4) от корней призначной семантики (качественная и процессуальная) не образуются.

3.1. Этот морфологический сегмент фиксируется прежде всего в личных парадигмах полиперсонального глагола, ср. выше (1)–(4), как префикс объекта 1Sg ("меня"). Во всех чукотско-корякских языках формы, содержащие *ine*<sub>2</sub>, встречаются в парадигме трижды (ограничусь здесь данными чукотского и корякского):

(18)	чукотский	корякский	
2Sg/1Sg	<i>ine=flu=γli</i>	<i>ine=ihu=j</i>	"меня=увидел=ты"
3Sg/1Sg	<i>ine=flu=γli</i>	<i>ine=ihu=j</i>	"меня=увидел=он"
2Pl/1Sg	<i>ine=flu=tak</i>	<i>ine=ihu=tak</i>	"меня=увидели=вы"

Из (18) видно, что формы 2Sg/1Sg и 3Sg/1Sg омонимичны, в том числе и у моноперсонального глагола, ср. чук. *cejwə=ɾkən* кор. *ku=le=ŋ* "ты = идешь/он = идет". Такова система личной дифференциации чукотско-корякского финитного глагола в неимперативе; к нашей теме это отношения не имеет, ср., впрочем, ниже, 4.5.2.

Те же формы, что приведены в (18), трактуются в другом месте описания чукотского языка как формы "общеобъектного залога" [Скорик 1977: 115–116]. Парадигма этого "залога" – типичная парадигма моноперсонального глагола, состоящая из 6 личных форм:

(19)	чукотский	
1Sg	<i>t=ine=flu=γle=k</i>	"я=(кого-то)=увидел"
2Sg	<i>ine=flu=γli</i>	"ты=(кого-то)=увидел"
3Sg	<i>ine=flu=γli</i>	"он=(кого-то) =увидел"
1Pl	<i>mat=ine=flu=mək</i>	"мы=(кого-то)=увидели"
2Pl	<i>ine=flu=tak</i>	"вы=(кого-то)=увидели"
3Pl	<i>ine=flu=γle=t</i>	"они=(кого-то)=увидели"

В корякских языках ситуация абсолютно такая же, с тем отличием, что моноперсональный глагол имеет 9 форм (ср. сноску 2).

3.2. Богораз трактовал *ine*<sub>2</sub> как словообразовательный показатель (детранзитиватор) [Богораз 1937: XII]. Таким же образом трактуется *ine*<sub>2</sub> при описании корякского языка [Жукова 1972: 226–227]; Скорик, как мы видели, предлагает свою трактовку. Для него префикс *inelena* – несомненный показатель объекта 1 л. ед.ч. [Скорик 1977: 43], тогда как Богораз полагал, что в чукотском (и в корякском) полиперсональном глаголе специализированных форм с объектом 1 л. ед. ч. нет, вместо них используются интранзитивные формы. Жукова, анализируя корякскую полиперсональную парадигму, говорит об *ine*<sub>2</sub> следующее:

"Если учитывать общее значение префикса инэ/эна, действие, выраженное переходным глаголом, представляется как непереходное, если объект действия – 1-е лицо единственного числа. Говорящий как бы выключает себя из числа объектов" [Жукова 1972: 254] (выделено мною. – А.В.).

Из уже сказанного об *ine*<sub>2</sub>, по-видимому, ясно, что чукотско-корякская полиперсональная парадигма, во всяком случае, формально неоднородна. Говоря об "общем значении" *ine*<sub>2</sub>, Жукова подразумевает именно его словообразовательный, деривативный характер (а это значит, что *ine*<sub>2</sub> структурно необязателен). Все это так. Лексикализованные дериваты с *ine*<sub>2</sub> фиксируются словарями, ср. чук. *ine=piri=k* "получать приз, награду" (< *piri=k* "брать что-л."), кор. *ine=lle=k* "руководить" (< *jale=k* водить кого-л.), и т.д. Тем не менее на запрос: как сказать "ты/он/вы" (переходный глагол) – меня"? – информант, носитель любого чукотско-корякского языка, даст формы типа (18).

3.3. Б. Комри предпринял собственное исследование чукотско-корякской полиперсональной парадигмы (о чем специально см. ниже, 4.3) и, в частности, сделал вывод, что формы с  $ine_2$ , сравнительно с другими личными формами, "не могут считаться членами одной морфологической серии" [Comrie 1980: 68]. Эти формы он определяет как "псевдотранзитивные" и, рассматривая их употребление в полиперсональной парадигме "на фоне общего детранзитивирующего процесса", полагает, что они не так уж и специализированы (в роли выразителя объекта именно 1 л. ед.ч.), как можно думать [Там же: 71]. Он привлекает к рассмотрению формы "настоящего II", где также отмечается  $ine_2$ , т.е. предикативы типа "быть" от полиперсонального глагола.

Парадигма моноперсонального глагола для чукотского приведена выше, см. (9); ей сопоставлена керекская парадигма (10), поскольку в корякском она не выделяется. Формы 3 л. маркированы показателем  $in(e)_1$ , в керекском редуцированным до  $=i$ , ср.  $nə=laju=q=i=\emptyset$  "он ходит", ср. нетерминальную позицию: 3Du  $nə=laju=q=inna=t$ , 3Pl  $nə=laju=q=inna=kku$ . Правые терминальные показатели составляют лично-числовую парадигму; в (9) и (10) они ассоциированы с ролью S (субъект).

Предикативы от полиперсонального глагола предполагают парадигму из 28 конъюнкций плана содержания (в чукотском, см. парадигму (1)), но на них приходится всего 14 материально различных форм. Приведем ее целиком, спрягается тот же глагол "видеть":

(20) чукотский	
1. $n=ine=flu=j=\gamma\acute{a}t$	1Sg/2Sg-3Sg-2Pl-3Pl
2. $n=ine=flu=j=\gamma\acute{a}t$	2Sg/1Sg-3Sg-3Pl
3. $n=ine=flu=q=in=\emptyset$	3Sg/1Sg-3Sg
4. $n=ine=flu=muri$	1Pl/2Sg-3Sg-2Pl-3Pl
5. $n=ine=flu=turi$	2Pl/1Sg-3Sg-3Pl
6. $n=ine=flu=q=ine=t$	3Sg/3Pl
7. $nə=flu=tku=j=\gamma\acute{a}t$	2Sg/1Pl
8. $nə=flu=tku=turi$	2Pl/1Pl
9. $nə=flu=j=\gamma\acute{a}t$	3Pl/1Sg
10. $nə=flu=j=\gamma\acute{a}t$	3Sg-3Pl/2Sg
11. $nə=flu=q=in=\emptyset$	3Pl/3Sg
12. $nə=flu=muri$	3Sg-3Pl/1Pl
13. $nə=flu=turi$	3Sg-3Pl/2Pl
14. $nə=flu=q=ine=t$	3Pl/3Pl

Формы (20.1–6) маркированы показателем  $ine_2$ , играющим роль указания на объект без лично-числовой специализации; особенно ярко демонстрируют это формы (20.1) и (20.4), отражающие все возможные в данных случаях субъектно-объектные конъюнкции. В формах 2 л. ситуация сложнее: для конъюнкций 2Sg/1Pl и 2Pl/1Pl в чукотском имеются специальные моносемантические формы, маркированные показателем  $ku\acute{t}ko$ , см. (20.7–8), ср. парадигму (1)<sup>4</sup>. Необходимо также подчеркнуть, что в формах (20.1–8) правые терминальные показатели ассоциированы с ролью Ag (агенса).

Формы (20.9–14) не маркированы ничем и по морфемному составу ничем не отличаются от форм парадигмы (9). В этих формах правые терминальные показатели ассоциированы с ролью Pt (пациенса).

3.4. Привлечем к рассмотрению соотносительные данные керекского языка, где такие предикативы есть, ср. парадигму (10). В описании Скорика полиперсональный

<sup>4</sup> Суффикс  $ku\acute{t}ko$  в корякских языках в этой функции не используется, ср. парадигмы (2)–(4), он существует только как деривативный (словообразовательный) элемент. Ср. также ниже, 4.3.

глагол в "настоящем II" (предикативы типа "быть") имеет 16 личных форм [Скорик 1968: 323–327], в моих полевых материалах – 18. Затруднительно сказать, какая именно парадигма более адекватна, но склонен думать, что по системным соображениям цифра 18 предпочтительнее: 9 форм маркированы показателем  $ine_2$  (в керек. *ina*), 9 форм – не маркированы, как в чукотском, где таких форм по 6, ср. (20), а формы с *tku* в керекском отсутствуют. Не вижу смысла приводить эту громоздкую парадигму целиком: читателю достаточно заменить в (10) корень =*laju*= "ходить" на =*kithu*= "вспоминать", чтобы получить формы, не маркированные  $ine_2$ ; личные показатели в этих формах ассоциированы с ролью Pt, как и формы (20.9–14) в чукотском. Форму типа  $nə=kithu=j=əm$  моя информантка Хаткана трактовала: "меня вспоминает кто-то" (т.е. любой возможный агент – в данном случае это 2Sg–3Sg–2Pl–3Pl). С другой стороны, форму типа  $n=ina=kithu=j=əm$  Хаткана трактовала как "я вспоминаю кого-то" (возможен пациенс 2Sg–3Sg–2Du–3Du–2Pl–3Pl). Показателем  $ine_2$  маркируются также все 9 форм; в данном случае личные показатели ассоциированы с ролью Ag, а  $ine_2$  выступает как общее указание на объект<sup>5</sup>.

Анализируя чукотскую парадигму "настоящего II" от полиперсональных глаголов, Скорик пишет об  $ine_2$  как об "универсальном показателе объекта" [Скорик 1977: 64]. Керекские данные согласуются с этой характеристикой. В свете предлагаемой мною концепции формирования чукотско-корякской грамматической системы (ср. выше 0.3) допустимо предположение, что в (20) мы наблюдаем диахронически первичный случай использования  $ine_2$  в качестве маркера объекта.

3.5. От полиперсональных глаголов могут быть образованы также формы предикативов типа "иметь", ср. выше парадигмы (13), (14). В чукотском на 28 конъюнкций плана содержания приходится 11 форм, привожу их все (глагол "видеть"):

(21) чукотский	
1. $γ=ine=flu=j=γəm$	2Sg/1Sg
2. $γ=ine=flu=j=in=∅$	3Sg/1Sg
3. $γ=ine=flu=turi$	2Pl/1Sg
4. $γe=flu=tku=j=γət$	2Sg/1Pl
5. $γe=flu=tku=turi$	2Pl/1Pl
6. $γe=flu=j=γəm$	3Pl/1Sg
7. $γe=flu=j=γət$	1Sg–3Sg–1Pl–3Pl/2Sg
8. $γe=flu=j=in=∅$	1Sg–2Sg–3Sg–1Pl–2Pl–3Pl/3Sg
9. $γe=flu=muri$	3Sg–3Pl/1Pl
10. $γe=flu=turi$	1Sg–3Sg–1Pl–3Pl/2Pl
11. $γe=flu=j=ine=t$	1Sg–2Sg–3Sg–1Pl–2Pl–3Pl/2Pl

Как и в (20), личные показатели в формах, не маркированных ничем, ассоциированы с ролью Pt: формы (21.6–11); в маркированных формах – с ролью Ag: формы (21.1–5), причем суффиксом *tku* маркированы те же конъюнкции, что в парадигмах (1) и (20), а префиксом  $ine_2$  – те же, что в парадигме (1), у финитного глагола. Таким образом,

<sup>5</sup> На 9 керекских форм, не маркированных  $ine_2$ , приходится 42 конъюнкции плана содержания – системное число, ср. сноску 2. Однако 9 формам, которые маркированы  $ine_2$ , соответствует 63 конъюнкции плана содержания, число также системное, ср. там же. Связано это с тем, что личные показатели ассоциированы с ролью Ag, поэтому формы типа  $n=ina=kithu=təəj$ ,  $n=ina=kithu=təəj$ ,  $n=ina=kithu=q=inna=t$  означают соответственно 1Du–2Du–3Du/любой допустимый Pt,  $6 + 6 + 9 = 21$  конъюнкция. Скорик обращает специальное внимание на это: "в формах настоящего II переходных глаголов получают выражение не два, а три грамматических числа субъекта действия" [Скорик 1968: 327]. Факт в чукотско-корякских языках, возможно, единственный: в корякском аналогичных форм нет, а собственных данных по алюторскому я, к сожалению, не имею.



здесь *ine*<sub>2</sub> выступает уже как специализированный показатель объекта "меня". Характерно, что в корякских языках предикативы "иметь" от полиперсональных глаголов обходятся без маркера *ine*<sub>2</sub>. Личная парадигма состоит из 9 форм, как и у моноперсонального глагола; правые терминальные показатели в первом случае ассоциированы с ролью S, ср. парадигму (14), во втором – с ролью Pt, это типично эргативная схема. Приводить всю парадигму вряд ли целесообразно: в (14) достаточно заменить корень =*lejv*(ə)= "ходить" на =*lhu*= "видеть", чтобы получить желаемый результат; поэтому приведу лишь несколько примеров:

- (22) корякский
- |    |                       |                             |
|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | <i>ye=lhu=j=yəm</i>   | 2Sg-3Sg-2Pl-3Pl/1Sg         |
| 2. | <i>ye=lhu=j=yi</i>    | 1Sg-3Sg-1Pl-3Pl/2Sg         |
| 3. | <i>ye=lhu=l=ine=t</i> | 1Sg-2Sg-3Sg-1Pl-2Pl-3Pl/3Du |
| 4. | <i>ye=lhu=l=ine=w</i> | 1Sg-2Sg-3Sg-1Pl-2Pl-3Pl/3Pl |
- и т.д., все 42 конъюнкции плана содержания.

При этом нельзя не отметить, что в финитном глаголе *ine*<sub>2</sub> во всех чукотско-корякских языках фиксируется в одних и тех же конъюнкциях, ср. (1)–(4), также (18). Все эти факты наводят на мысль, что а) система предикативов от полиперсональных глаголов в чукотском и в корякских языках складывалась несколько различно<sup>6</sup>, но формирование системы финитного глагола подчинялось каким-то иным правилам, более общим для всей языковой группы<sup>7</sup>, б) специализация *ine*<sub>2</sub> в финитном глаголе как показателя объекта именно 1Sg – явление инновативного характера.

3.6. Все авторы, занимавшиеся этой проблемой, пишут об *ine*<sub>2</sub>: "детранзитиватор", "псевдотранзитив", "антипассив" и другие подобные слова. Введение *ine*<sub>2</sub> в словоформу превращает полиперсональный глагол в моноперсональный – по формальным признакам, по типу спряжения, ср. (19). Но семантически глагол остается переходным, он замыкает объектную валентность "на себя": *ine*<sub>2</sub> указывает на любой объект, который в случае необходимости может быть актуализован, ср. чук.:

- (23) чукотский
- |    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | <i>tə=γənrətə=rkə=net</i>             | "я=охраняю=их" (V <sub>itr</sub> ) >  |
| 2. | <i>t=ine=γənrətə=rkən</i>             | "я=кого-то=охраняю" (V <sub>itr</sub> ) >   |
| 3. | <i>tə=qaa=γənrətə=rkən</i>            | "я=олений=охраняю" ( <i>ine</i> <sub>2</sub> уступает свое место инкорпорированному объекту). В последнем случае становится возможной дальнейшая деривация инкорпоративного типа, например: > |
| 4. | <i>t=arma=qaa=γənrətə=rkən</i>        | "я=сильных=олений=охраняю" >  |
| 5. | <i>tə=Œəʁan=arma=qaa=γənrətə=rkən</i> | "я=четырёх=сильных=олений=охраняю"  |

Среди чукотско-корякских предикативов есть группировка предикативов обладания, маркированных показателем *ʃʌ* (чук.), *lhə* (кор.); они не имеют маркера *ine*<sub>1</sub>. От моноперсональных глаголов они образуются непосредственно, ср. чук. *ʃejwə=k* "ходить" > *>ʃejwə=ʃʌ=n* "ходящий=он, обладающий=способностью=ходить=он", *miγçiretə=k* "работать" > *miγçiretə=ʃʌ=n* "работающий=он", и т.д. От полиперсональных глаголов типа чук. *ʃʌu=k* "видеть кого-л." возможна только деривация при посредстве

<sup>6</sup> Парадигмы типа корякской (22) характерны для всех корякских языков, в том числе для керекского. Наличие в керекском парадигмы типа чукотской (20) объясняется, скорее всего, контактными причинами: кереки, племя малочисленное, всегда имели вторым языком чукотский и были ассимилированы чукчами.

<sup>7</sup> Надо заметить, что маркер *ine*<sub>2</sub> в парадигму финитного глагола корякских языков вошел, однако *tku* (ср. выше сноску 4) корякская система "не пустила" (ср. также ниже, 4.1).

*ine<sub>2</sub>*: *ine=ʃʌu=ʃʌə=n* "видящий=кого-л.=он", *peʃa=k* "покидать кого-л." > *ena=peʃa=ʃʌə=n* "покидающий=кого-л.=он", и т.д. Как и в финитном глаголе, в этих формах *ine<sub>2</sub>* может быть при необходимости актуализован: *tomʒa=peʃa=ʃʌə=n* "товарищей=покидающий=он", и т.д.<sup>8</sup>

3.7. Что касается использования *ine<sub>2</sub>* в функции показателя объекта 1Sg, то интерпретация этого факта связана с исследованием общей системы финитного (полиперсонального) глагола. Цитированное выше замечание Жуковой: "говорящий как бы выключает себя из числа объектов" – представляется весьма точным и глубоким, но дальнейшего развития оно не получило; видимо, потому, что первой задачей автора было синхронное описание грамматики корякского языка. Повторяю, что это замечание справедливо для всех чукотско-корякских языков.

Дальнейший анализ *ine<sub>2</sub>* теснейшим образом связан с *ine<sub>3</sub>*, к которому мы и обратимся.

#### 4. INE<sub>3</sub>

4.1. Как явствует из (16а), этот морфологический сегмент занимает левую терминальную позицию и поэтому имеет вид *ne/na* (ср. ниже, 5.1). У предикативов *ine<sub>3</sub>* не фиксируется, это исключительно принадлежность финитного глагола. Левая терминальная позиция в словоформе финитного глагола занята показателями лица (у моноперсонального глагола это лицо S, у полиперсонального – Ag: номинативно-аккузативная схема глагольного согласования; отмечаю это как бы на полях, поскольку к теме это прямого отношения не имеет). В чукотском префиксом *ine<sub>3</sub>* маркировано 9 форм:

(24)	чукотский	
	<i>ne=ʃʌu=ʒət</i>	3Sg/2Sg
	<i>ne=ʃʌu=mək</i>	3Sg/1PI
	<i>ne=ʃʌu=tək</i>	3Sg/2PI

Тем же префиксом маркированы все 6 форм агентивной группы 3PI, ср. парадигму (1). В корякских языках *ine<sub>3</sub>* отмечается в тех же конъюнкциях, ср. парадигмы (2)–(4), но, кроме того, также в агентивных группах 2Sg и 2PI, которые в чукотском маркированы суффиксом *tku*; сопоставим здесь чукотские и корякские данные:

(25)	чукотский	корякский	
		<i>ne=lhu=mək</i>	2Sg/1Du
	<i>ʃʌu=tku=ʒʌi</i>	<i>na=lho=la=mək</i>	2Sg/1PI
		<i>ne=lhu=mək</i>	2PI/1Du
	<i>ʃʌu=tku=tək</i>	<i>na=lho=la=mək</i>	2PI/1PI

Как видим, корякские формы различают Du/PI объекта, но по агенсу (2Sg/2PI) омонимичны, так же в алюторском и керекском, ср. парадигмы (3), (4).

4.2. Представляется полезным рассмотреть линейное распределение грамматической информации в словоформе финитного глагола чукотско-корякских языков. С уче-

<sup>8</sup> Предикативы обладания составляют пятую формальную группировку чукотско-корякских предикативов, ср. выше 0.3; они изменяются по лицам, ср. парадигмы (5)–(14). При этом если форма образована от моноперсонального глагола, личные показатели ассоциированы с ролью S (чук. *miʒʒiretə=ʃʌ=i=ʒət* "работающий=я"), если глагол полиперсональный – с ролью Ag (чук. *ine=ʃʌu=ʃʌ=i=ʒət* "кого-то=видящий=я"). При отсутствии *ine<sub>2</sub>* следует ожидать, что личные показатели будут ассоциированы с ролью Pt, как у всех предикативов, ср. парадигмы (20)–(22). В чукотском подобная деривация запрещена; в корякском она распространена очень мало – известно только 4 примера [Жукова 1972: 137, 142]: *tətmə=lhə=n* "убитый/=о", и т.д., ср. *ləvə=lhə=n* "побежденный=он" – *ena=lvatə=lhə=n* "победивший=он", "победитель".

том выделяемой специально морфемы *ine/ena*, ср. (16a), модель словоформы билперсонального глагола (без деривационных морфем) имеет следующий вид:

$$(26) \quad P_{Ag/ine_3} + T/M + ine_2 + R + tku + la + P_{Obj\ me_1} + P_{Ag}/Num$$

**Нотация:** P – лицо, T – время, M – наклонение, A – вид, Num – число. Позиция *la* отмечается только в корякских языках, ср. (25), также парадигмы (2)–(4): это специальный плюрализатор, ассоциированный с ролями S и Pt (эргативная схема), предикативы его не имеют. В парадигме финитного глагола *ine<sub>2</sub>* выражает объект 1Sg, *tku* – объект 1Pl (последнее – только в чукотском). В позиции  $P_{Obj}$  фиксируется *ine<sub>1</sub>*, о чем специально см. ниже, 4.5.

Из (26) следует также, что агенс (левая терминальная позиция) выражается альтернативно показателями лица<sup>9</sup> и маркером *ine<sub>3</sub>*, имеющим вид *ne/na*. Последний показателем лица не является, поскольку маркирует агенс 3Pl (всегда), 3Sg (не во всех случаях, ср. (24)) и 2Sg, 2Pl (только в корякских языках, также не во всех случаях, ср. (25)). Кроме того, *ine<sub>3</sub>* отсутствует у моноперсонального глагола – он там и не нужен, как явствует из нижеследующего, ср. 4.3. Эта проблема впервые специально исследована в работе [Comrie 1980].

4.3. Комри предлагает решать эту проблему исходя из идеи инверсности. Он выстраивает иерархию активности агенса по признаку одушевленности/неодушевленности, а также лица/числа, и получает следующий результат:

$$(27) \quad 1Sg > 1Pl > 2Sg > 2Pl > 3Sg > 3Pl \text{ [Comrie 1980: 69].}$$

Те агентивно-пациентивные (субъектно-объектные) конъюнкции, где агенс выше пациенса по иерархии (27), например, "я – тебя", "мы – тебя" и т.д. – являются прямыми; те же, где дело обстоит наоборот, например, "он – меня", "вы – меня" и т.д. – инверсными. Все инверсные формы в парадигмах чукотско-корякского полиперсонального глагола маркированы (строго дистрибутивно!) морфемами *ine<sub>3</sub>*, *ine<sub>2</sub>*, а в чукотском – также *tku*. Результаты своего анализа Комри суммирует в таблицах для чукотского и корякского языков, но их вполне можно свести в одну, которая отражает ситуацию во всех четырех чукотско-корякских языках<sup>10</sup>:

Obj	Sb →	1Sg	1Pl	2Sg	2Pl	3Sg	3Pl
1Sg		X	X	=	<i>ine<sub>2</sub></i>	=	
1Pl		X	X	= <i>tku</i>	=		
2Sg				X	X		(i) <i>ne<sub>3</sub></i>
2Pl				X	X		
3Sg							
3Pl							

<sup>9</sup> В не-императиве это только 1 л.: *t* = "я", *mat* = "мы", противопоставленное не-первому, что приводит к формальной омонимии, ср. выше (18), конъюнкции 2Sg/1Sg, 3Sg/1Sg; ср. однако ниже, 4.5.2.

<sup>10</sup> У Комри [Comrie 1980: 70] приведена также таблица по ительменскому языку. Эти данные я исключаю из рассмотрения. Все сходные элементы в ительменском и чукотско-корякских языках носят контактный характер (ср. сноску 1). Так, агенс 3Pl в ительменском маркирован префиксом *n* = (рефлекс *ine<sub>3</sub>*), но это все. Никаких следов *ine<sub>2</sub>* или *tku* в ительменской парадигме нет. Нет в ительменском и чукотско-корякской системы предикативов (*ine<sub>1</sub>*).

Перечеркнутые клетки – запрещенные в чукотско-корякских языках конъюнкции, предполагающие выражение возвратности (она выражается иными средствами)<sup>11</sup>; черта разделяет прямые и инверсные формы. В отдельные рамки выделены формы с *ine<sub>2</sub>* (во всех языках) и с *tku* (в чукотском – в других языках здесь отмечается *ine<sub>3</sub>*). Формы с *ine<sub>3</sub>* Комри характеризует как "формы сильной инверсии", т.е. такие конъюнкции, в которых расстояние между субъектом и объектом по шкале иерархии велико и даже максимально (как в случае "они – меня"). Формы с *ine<sub>2</sub>* охарактеризованы им как "формы слабой инверсии" – здесь расстояние по шкале иерархии меньше ("он/вы/ты – меня"). Чукотский *tku* представляет случай минимального расстояния по шкале иерархии: "ты/вы – нас"; в корякских языках, где *tku* нет, эти случаи попадают в формальный разряд "сильной инверсии" – но это, в конце концов, принципиального значения не имеет. Идея инверсности, предложенная Комри, представляется мне в высшей степени плодотворной, поскольку она позволяет рассматривать *ine<sub>2</sub>* и *ine<sub>3</sub>* в рамках единой системы, объясняет функцию этих морфологических сегментов. Более того – именно идея инверсности дает возможность сблизить разнопорядковые (что для меня принципиально важно) элементы *ne/na* (*ine<sub>3</sub>*) и *ine<sub>2</sub>* как формальные сигналы одного и того же морфологического процесса.

4.4. В аналогичном ключе рассмотрена недавно полиперсональная парадигма алюторского языка [Кибрик 1997]. Не все в этой работе представляется бесспорным, но это в данном случае не важно. Как и Комри, Кибрик строит "дейктическую иерархию" [Там же: 48], анализирует алюторскую парадигму с точки зрения соотношения агентива и пациентива в словоформе (выше/ниже) и получает ожидаемый результат: формы, маркированные префиксами *ina* (*ine<sub>2</sub>*) и *na* (*ine<sub>3</sub>*), попадают в группы, образуемые по разным правилам. Специально обсуждается конъюнкция "они – меня", которая маркирована не *ine<sub>2</sub>*, а *ine<sub>3</sub>*: объектное значение в ней выражается показателем позиции  $R_{Об}_j = \text{=уэт}$  (во всех четырех языках, ср. парадигмы (1)–(4)). Случай в парадигме единственный; Кибрик указывает, что здесь мы имеем ситуацию, когда "оба аргумента являются крайними точками на дейктической иерархии", что и требует отдельной маркировки "по более общему ролевому правилу маркированности: Пациентив < Агентив" [Там же: 51]. С точки зрения принятых Кибриком "правил игры" объяснение исчерпывающее, но Комри, на мой взгляд, справляется с этим случаем проще: он констатирует, что *ne=* (*ine<sub>3</sub>*) и *ine=* (*ine<sub>2</sub>*) в одной словоформе не встречаются [Comrie 1980: 71]<sup>12</sup>. Кибрик поставил своей целью проделать синхронный анализ данной ему системы до конца и без остатка; цели своей он достиг вполне. В высшей степени ценным представляется его заключительный вывод: "иногда само значение морфемы кодирует не некоторую семантическую константу, а ее перемещенный маркированный статус. Таковы, например, алюторские морфемы *na=*, *ina=*, которым приписывается соответственно значение Агентива низкого ранга и Пациентива высшего ранга" [Кибрик 1997: 56, выделено мною. – А.В.]. В этом пассаже *ine<sub>2</sub>* и *ine<sub>3</sub>* недвусмысленно сближаются; то же мы видим и в работе Комри. "Семантическая константа" этого морфологического сегмента – "имеет отношение к" (ср. 2.2), а к чему именно – указывает позиция в линейной цепочке: к маркировке агенса, но иерархически низшего (левая терминальная позиция), или к

<sup>11</sup> Это не обязательно так; в енисейских языках, например, возвратность выражается в составе полиперсональной парадигмы, т.е. возможны конъюнкции типа "я – меня" (= "я – себя"); ср., в частности, последние работы Г.К. Вернера по кетскому и котскому языкам [Werner 1997a, 1997b].

<sup>12</sup> Надо еще обратить внимание на то, что *=уэт* в этой словоформе (напр. чук. *ne=ʔu=уэт* "они=увидели=меня") происходит из личной парадигмы предикативов, ср. парадигмы (1)–(4) и (5)–(14), а также (21)–(22). Можно думать, что агентивная группа ЗР1 при формировании биперсональной парадигмы финитного глагола сложилась, вероятно, первой.

маркировке объекта, но иерархически высшего. Первоначально это объект, который может быть инкорпорирован в словоформу, поскольку *ine*<sub>2</sub> занимает позицию (г), и от этого факта мы никуда не уйдем; но при организации системы полиперсонального спряжения за ним закрепились специальная функция – маркировки объекта наивысшего ранга (1Sg).

4.5. Морфологический сегмент *ine*<sub>1</sub> усматривается в полиперсональном глаголе в показателе *nin/nen* (сингармонические варианты); этому суффиксу приписано "кумулятивное значение" "он – его" (3Sg/3Sg), ср. =*ninet* 3Sg/3Pl (чук.), также алют. =*ninat* 3Sg/3Du, =*ninawwi* 3Sg/3Pl, керек. =*ni* 3Sg/3Sg, =*ninnat* 3Sg/3Du, =*ninnakku* 3Sg/3Pl (парадигмы (1), (3), (4))<sup>13</sup>. Интересующий нас морфологический сегмент выделяется в случае прикрытия квазитерминальной позиции показателями числа, ср. выше, 2.1. Его деривационная история может быть представлена следующим образом.

Суффикс биперсонального глагола *nin/nen* материально совпадает с показателем посессивного предикатива от имен собственных (ограничимся чукотскими примерами):

- (28) чукотский
- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. <i>Mewetə=nin tumyətum</i> | "товарищ (друг) Мевета" |
| 2. <i>Mewetə=ninet tumyət</i> | "товарищи Мевета"       |

Сопоставим словоформы финитного глагола:

- (29) чукотский
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. <i>ʃu=nin tumyətum</i> | "увидел=он=его товарища" |
| 2. <i>ʃu=ninet tumyət</i> | "увидел=он=их товарищей" |

4.5.1. Формы типа (29) вполне могли бы быть трактованы как "имеющие отыменное происхождение" – *ʃu=nin/et* "его (у)видение одного/многих"; к счастью, никто таких идей не высказывал. Но против того, что формы типа (29) являются, по-видимому, древнейшими биперсональными глагольными формами, я сильных возражений не предвижу, поскольку конъюнкция "он – его" является коммуникативно важнейшей. Уже в первом описании грамматического строя чукотского и корякского языков было высказано мнение, что показатель =*nin(e)* членится и представляет собой "удвоение притяжательного суффикса": *n + in(e)* [Vogoras 1922: 709]. Скорик (для чукотского) и Жукова (для корякского) такой точки зрения не приняли, хотя с членением *n=in(e)* согласны. Скорик трактует *n=* как показатель ед.ч., но Жукова предлагает, на мой взгляд, более адекватную трактовку: *n=* представляет категорию определенности и означает "принадлежность одному лицу". Ему противостоит показатель *-ry* (в кор. =*cy*, в алют. =*ry*), означающий принадлежность многим лицам (ср. [Жукова 1972: 157]). Показатели грамматической категории числа занимают другую позицию в словоформе и имеют другие экспоненты:

- (30)
- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. <i>Mewetə=ry=in=∅ tumyətum</i> | "товарищ (семья) Меветов"  |
| 2. <i>Mewetə=ry=ine=t tumyət</i>  | "товарищи (семья) Меветов" |

4.5.2. Надо подчеркнуть, однако, что форм типа \**ʃu=ry=in*, \**ʃu=ry=ine=t* в полиперсональной парадигме нет, и понятно, почему: \**ʃu=ry=in/et* безусловно должно было бы означать "о н и увидели его/их". Но агенс в линейной модели словоформы занимает терминальную позицию – левую или правую, ср. (26); в агентивной группе 3Pl он выражается инверсивным префиксом *ine*<sub>3</sub>, ср. выше, 4.3, объект же 3 л. – суффиксом

<sup>13</sup> В корякском этот суффикс показателей числа не присоединяет: *lhu=nin* значит "он=увидел=его/их=дв./их-мн.", ср. парадигму (2).

-n (*ne=ʃʎu=n/et* "они=увидели=его/их"). Это показатель стандартный для всей парадигмы, ср. *tə=ʃʎu=n* "я=увидел=его", *ʃʎu=n* "ты=увидел=его" и т.д. Показатель *=nin* в *ʃʎu=nin* "он=увидел=его" снимает омонимию 2/3 лица в этой коммуникативно важной точке системы (ср. выше 3.1).

## 5. СЛоговая структура словоформы

5.1. Самая распространенная модель слога в чукотско-корякских языках – CVC; фонотактическая модель словоформы – CVCCVC. В ней указаны всего лишь ограничения на появление согласных в цепочке словоформы (не более одной – в начале и в конце, не более двух – в середине), из нее не следует, что словоформа не может начинаться с гласной и заканчиваться открытым слогом. Однако словоформы, функционирующие как предикаты (предикативы и финитные глаголы), строятся именно по модели CVCCVC – они начинаются и кончаются согласными. Таково правило, которое может и нарушаться, в чем легко убедиться, просматривая приведенный выше парадигматический материал. Тем не менее, попадая в правую терминальную квазипозицию (ср. (16a)), *ine*<sub>1</sub> по этому правилу всегда приобретает вид *in/en*, а *ine*<sub>3</sub>, занимающий левую терминальную позицию, имеет вид *ne/na*. Все элементы, занимающие эту позицию в финитном глаголе, начинаются с согласного. В не-императиве это *t=1* л. ед. ч., *mət=1* л. мн. ч., в императиве – *m=1* л. ед. ч., *q=2* л., *n=3* л., *mən=* форма совместного действия. Полиперсональная парадигма императива тоже строится по принципу инверсии, причем инверсивные формы отмечаются в тех же конъюнкциях, что и в не-императиве, ср. выше, 4.1. Инверсный показатель императива имеет вид в чукотском и алюторском – *ʔən(ə)*, в корякском и керекском – *hən(ə)*: это левая терминальная позиция, которая требует "прикрытия" гласного (хотя бы даже неопределенного) гортанной смычкой или фарингалом, в соответствии с правилами чукотско-корякской морфонологии. Поскольку инверсия характерна прежде всего для 3 л., то показатель *ʔən(ə)/hən(ə)*, по-видимому, представляет собой результат сложения *ne/na* (*ine*<sub>3</sub>) и *n* (императив 3 л.). Но в корякских языках инверсные формы есть и во 2 л., ср. выше (25). Императив во 2 л. маркирован префиксом *q=*, но в данном случае сохраняется инверсный показатель, вероятно, по системным соображениям. Сравним корякские и чукотские данные (в чукотском в этом месте используется *tku*, что позволяет сохранить префикс императива):

(31)	корякский	чукотский	
	<i>hənə=ʎu=mək</i>		"увидь=ты=нас=дв."
	<i>hənə=ʎo=la=mək</i>	<i>qə=ʃʎu=tku=γi</i>	"увидь=ты=нас=мн."
	<i>hənə=ʎu=mək</i>		"увидьте=вы=нас=дв."
	<i>hənə=ʎo=la=mək</i>	<i>qə=ʃʎu=tku=tək</i>	"увидьте=вы=нас=мн."

5.2. Морфологический сегмент *ine*<sub>2</sub> занимает в модели словоформы не терминальную позицию, ср. (26). Именно поэтому, попадая в левую терминальную квазипозицию (чук. *ine=ʃʎu=γʎi*, кор. *ine=ʎu=j* "меня=увидел=ты=он"), *ine*<sub>2</sub> не претерпевает никаких трансформаций. Он всегда "прикрыт" слева: в последнем случае – нулевым префиксом прошедшего времени, но префикс может быть и ненулевой, как в случае с футуром или конъюнктивом (ограничусь чукотскими данными):

(32)	<i>r=ine=ʃʎu=γʎe</i>	"меня=увидишь=ты/увидит=он"
(33)	<i>nʎ=ine=ʃʎu=γʎe</i>	"меня=увидел=бы=ты/он"

Может быть актуализован и префикс императива:

(34)	<i>q=ine=ʃʎu=γi</i>	"увидь=ты=меня"
------	---------------------	-----------------

В (32) – (34) *ine*<sub>2</sub> функционирует как маркер объекта 1Sg. Как видим, левее его в словоформе имеется только один элемент (позиция Т/М, ср. (26)). Введение в словоформу элемента позиции P<sub>Ag</sub> (левая терминальная) превращает *ine*<sub>2</sub> в "детранзитиватор", "антипассив" или "инкорпорант" (ср. выше, 3.6):

(35)  $t=r=ine=f\lambda u=y\lambda e$  "я=кого-то=увиджу"

В (35) *ine*<sub>2</sub> может быть заменен на конкретный инкорпорированный объект:

(35a)  $t=r=itunye=f\lambda u=y\lambda e$  "я=товарища/=ей=увиджу"

Вышесказанное справедливо для всех чукотско-корякских языков.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

**6.1.** Морфологический сегмент *inelena* фиксируется в максимальной модели предикативной словоформы чукотско-корякских языков трижды: в правой терминально-нетерминальной позиции (*ine*<sub>1</sub>), в нетерминальной предкорневой позиции (*r*), непосредственно предшествующей корню (*ine*<sub>2</sub>), в левой терминальной позиции (*ine*<sub>3</sub>). Функциональный класс словоформ, называемых предикативами, диахронически предшествовал современному финитному глаголу, см. 0.3; структурная модель словоформы предикативов (речь идет о предикативах типа "быть" (0.3.1) и "иметь" (0.3.2), традиционно включаемых в систему финитного глагола) выводится из максимальной модели (26):

(36)  $M + ine_2 + R + tku + ine_1 + P/Num$

Позиция *tku* характерна только для чукотского.

В позиции М противопоставлены префиксы *n(ə)=* (предикативы типа "быть", ср. парадигмы (7) – (10)) и *ye=ya=* (предикативы типа "иметь", ср. парадигмы (11) – (14)). Это – противопоставление аспектуального типа, что отмечала также Муравьева в своей работе по аллоторскому глаголу [Муравьева 1986: 133]. Личные показатели в позиции P/Num в ролевом отношении диффузны: они могут быть ассоциированы с ролью S, парадигмы (9), (10), (13), (14), а также с Ag, парадигмы (20. 1–8), (21. 1–5) и с Pt, парадигмы (20. 9–14), (21. 6–11), (22). Морфологический сегмент *ine*<sub>1</sub>, выделяемый в предикативах, к выражению лица отношения не имеет (хотя и маркирует формы только 3 л.), его функция – указание на то, что данная форма выражает предикат (ср. 2.3). В словоформах предикативов *ine*<sub>1</sub> и *ine*<sub>2</sub> могут фиксироваться одновременно, причем это характерно только для чукотского и керекского языков, ср. сноску 5 – парадигмы (20.3), (20.6), (21.2). В первом случае – парадигма (20) – *ine*<sub>2</sub> соотносен с общим указанием на объект, безотносительно к лицу, во втором – парадигма (21) – получает специализацию – объект 1Sg, как в финитном глаголе. В последней функции *ine*<sub>2</sub> выступает во всех чукотско-корякских языках, ср. парадигмы (1) – (4).

В финитном глаголе, помимо *ine*<sub>1</sub> (ср. 4.5) и *ine*<sub>2</sub>, фиксируется еще *ine*<sub>3</sub>, однако, в отличие от предикативов, сочетание разнопорядковых *ine* в словоформе финитного глагола запрещено.

**6.2.** Все три позиции *ine* в максимальной модели следует определить как обязательные: *ine*<sub>3</sub> стоит в агентивной позиции, *ine*<sub>1</sub> – в позиции маркера предиката (у предикативов) или в позиции объекта (финитный глагол). В обоих случаях морфологической сегмент *ine*<sub>1</sub> выделяется только при диахроническом анализе. Что касается *ine*<sub>2</sub>, занимающего позицию (*r*), то он может быть оценен как обязательный лишь у предикативов (парадигмы (20), (21)) или в структуре полиперсональной парадигмы – (1) – (4), ср. также (32) – (34), где он выступает в роли показателя объекта, в финитном глаголе – только объекта 1Sg. В качестве "местодержателя" для инкорпорированного объекта (парадигма (19), ср. также (35)) *ine*<sub>2</sub> должен быть оценен как необязательный элемент. Это интересный факт для позиционного анализа: в модели

появляется обязательно-необязательная позиция, что создает описательные трудности. Они могут быть преодолены либо членением данной позиции (порядка) на подпорядки (о понятии подпорядка см. [Ревзин, Юлдашева 1969; Володин 1976; Стегний 1983]), либо разложением позиции на две смежных (как сделано в [Мальцева 1994])<sup>14</sup>, но последний способ менее удачен, т.к. создается впечатление, что *ine*<sub>2</sub> может фиксироваться в конкретной словоформе дважды, что невозможно.

6.3. Остается решить вопрос, поставленный в 1.1: идет ли речь об одной морфеме или о нескольких омонимичных морфемах? Положительный ответ в первом смысле, возможно, потребовал бы пересмотра дефиниции морфемы как единства позиции, значения и экспонента. Тем не менее Комри и Кибрик отвечают на этот вопрос, по сути дела, положительно (правда, они говорят исключительно об *ine*<sub>2</sub> и *ine*<sub>3</sub>, ср. хотя бы цитированную в 4.4 поистине чеканную формулировку Кибрика о переменном маркированном статусе). Я разделяю это воззрение. Специфика *ine* состоит в том, что, имея своим планом содержания общее указание ("имеет отношение к"), эта морфема маркирует те категориальные значения, которые характерны для данной позиции в линейной цепочке словоформы, ср. 1.1; говорить об *ine* как о "блуждающей морфеме" можно только в диахроническом смысле.

Можно полагать, что диахронически древнейшим является *ine*<sub>1</sub> (посткорневая позиция). В пользу этого говорит тот факт, что на синхронном срезе *ine*<sub>1</sub> практически не вычленяется, а также то, что он безразличен к семантике корня. Введение в словоформу *ine*<sub>2</sub> резко меняет картину: *ine*<sub>2</sub> сочетается только с глагольным корнем, притом не всяким, а лишь таким, который предполагает наличие агентивно-пациентивных отношений, т.е. способен инкорпорировать объект. Вхождение *ine*<sub>2</sub> возможно было только в систему, где уже имеется *ine*<sub>1</sub>. Речь идет о предикативах, в словоформах которых отмечается наличие двух *ine*. Первой функцией *ine*<sub>2</sub> в этих словоформах было общее указание на объект (в сущности, функция местоимения), и лишь позже, при формировании системы финитного глагола и механизма инверсии (*ine*<sub>3</sub>), функция *ine*<sub>2</sub> специализировалась: маркер объекта наивысшего ранга по иерархии активности (1Sg). Цельность этой системы подчеркивается строгой дистрибуцией *ine* в словоформе биперсонального глагола: либо *ine*<sub>3</sub>, либо *ine*<sub>2</sub> как объект 1Sg, либо *ine*<sub>1</sub> как "кумулятивный показатель" 3Sg/3Sg. В моноперсональном глаголе также возможен только один *ine* (*ine*<sub>2</sub> как "местодержатель" инкорпорлируемого объекта), ср. парадигму (19).

6.4. Об этимологии *ine* предшествующие исследователи вопроса не ставили. Только в одном месте о префиксе *ine/ena* сказано, что он "очевидно, в прошлом был корневой морфемой" [Скорик 1977: 276]. То, что *ine* – бывшая корневая морфема, сомнению не подлежит, поскольку она способна занимать позицию (г). Допустимо предположение, что *ine* восходит к *en* = чук. "этот, тот", кор. "он" – прослеживается идея общего указания, конкретизируемого в зависимости от позиции.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Асиновский А.С., Володин А.П., Головкин Е.В. 1987 – О соотношении экспонента морфемы и ее позиции в словоформе // ВЯ. 1987. № 5  
Богораз В.Г. 1937 – Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь. М.; Л., 1937.  
Володин А.П. 1976 – Ительменский язык. Л., 1976.  
Володин А.П. 1991 – Проспект описания керекского языка (чукотско-камчатская группа) // Языки народов Сибири. Грамматические исследования. Новосибирск, 1991.  
Володин А.П. 1997 – Керекский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997.  
Глисон Г. 1959 – Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.  
Жукова А.Н. 1972 – Грамматика корякского языка. Л., 1972.

<sup>14</sup> Это первая работа по чукотско-корякским языкам, где дана полная развертка максимальной позиционной (порядковой) модели финитного глагола (на аллоторском материале).



- Жукова А.Н.* 1980 – Язык паланских коряков. Л., 1980.
- Жукова А.Н.* 1987 – Корякский язык. Л., 1987.
- Кибрик А.Е.* 1997 – Иерархии, роли, нули, маркированность и "аномальная" упаковка грамматической семантики // ВЯ. 1997. № 4.
- Мальцева А.А.* 1994 – Морфология глагола в алюторском языке: финитные формы (с применением методики порядкового членения). Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Новосибирск, 1994.
- Муравьева И.А.* 1986 – Морфология алюторского глагола // Языки народов Сибири. Новосибирск, 1986.
- Ревзин И.И., Юлдашева Г.Д.* 1969 – Грамматика порядков и ее использования // ВЯ. 1969. № 1.
- Скорик П.Я.* 1958 – К вопросу о классификации чукотско-камчатских языков // ВЯ. 1958. № 1.
- Скорик П.Я.* 1961 – Грамматика чукотского языка. Ч. I. М.; Л., 1961.
- Скорик П.Я.* 1968 – Керекский язык // Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968.
- Скорик П.Я.* 1977 – Грамматика чукотского языка. Ч. II. Л., 1977.
- Стегний В.А.* 1983 – Морфологическая структура глагола в языке кламат. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1983.
- Bogoras W.* 1922 – Chukchee // Handbook of American Indian languages. P. II. Washington, 1922.
- Comrie B.* 1980 – Inverse verb forms in Siberia. Evidence from Chukchee, Koryak and Kamchadal // Folia linguistica historica. Acta societatis linguisticae Europaeae. I/1. 1980.
- Fortescue M.* 1993 – The origins of Chukotko-Kamchatkan verbal paradigms. Manuscript, 1993.
- Georg St., Volodin A.P.* 1999 – Die itelmenische Sprache. Grammatik und Texte. Wiesbaden, 1999.
- Kampfe H.-R., Volodin A.P.* 1995 – Abriß der tshuktschischen Grammatik (auf der Basis der Schriftsprache). Wiesbaden, 1995.
- Werner H.* 1997a – Die ketische Sprache. Wiesbaden, 1997.
- Werner H.* 1997b – Abriß der kottischen Grammatik. Wiesbaden, 1997.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Italien Lexicon / Hrsg. R. Brüting. E. Schmidt Verlag, Berlin. 1997. 1020 S.

Книга "ITALIEN LEXICON" (далее Лексикон), вышедшая в Германии в 1996 г. и опубликованная в 1997 г. вторым изданием, представляет собой лингвокультурологический словарь нового типа, адресованный самому широкому кругу читателей и, прежде всего, итальянистам, владеющим немецким языком. В работе над словарем, который содержит свыше 900 вокабул, принимали участие 35 авторов из разных стран Европы, среди которых ученые и специалисты – филологи, историки, экономисты, политологи, юристы, философы и др. Лексикон построен по энциклопедическому принципу. Заглавное слово словарной статьи, представленное, как правило, именем существительным или сокращением, а также именем собственным, сопровождается подробным очерком, который не ограничивается объяснением значения данного слова или реалии, но и включает все смежные сведения, так или иначе связанные с заглавным словом. Так, например, статья "Italia" состоит из ряда разделов, таблиц и карт, сообщающих подробные географические и демографические сведения об административном делении Италии в разные исторические периоды, о городах и провинциях, включенных в состав страны еще в 1861 г. В эту же статью отдельным разделом входят имена первых лиц городов-государств в 1861 г. и сообщается о составе итальянских правительств после Воссоединения Италии вплоть до 1945 г. и с 1945 по 1994 гг. Здесь же содержатся сведения об изменениях политического устройства Италии за весь период существования страны с 1861 г. до 1997 г. Заканчивается статья подробной библиографией, позволяющей пользователю углубить полученные сведения.

Лингвокультурологическая направленность Лексикона проявилась не только в том, что авторы статей отразили все стороны политической и общественной жизни

Италии, но и особенности итальянского языка.

Действительно, во вводной статье Лексикона "Государство и общество" (стр. 13) читатель может найти целый ряд устойчивых словосочетаний итальянского языка, например, *Patti Lateranensi* (Латеранские соглашения); *Scuola materna* (букв. "материнская школа – детский сад"); *Veni culturali* (букв. "культурное имущество", в понятие которого входят музеи, картинные галереи, старинные архивы, библиотеки, реставрационные мастерские и многое другое); *autunno caldo* (букв. "горячая осень") – движение студентов, которое привело к глубокой реформе образования в Италии. Все эти и другие исторические и политические термины основаны на реальных событиях самых разных лет: ср., например, *Il Quarantotto* (букв. "тот самый 48 год") – 1848 год, когда Пьемонтское королевство одержало ряд важных побед в борьбе за объединение Италии (это выражение превратилось в идиому: *succedere (succederà) il quarantotto* "будет скандал"). В статье *Biennale* (букв. "один раз в два года") речь идет о Выставке картин, учрежденной в Венеции в 1895 г. и проводившейся раз в два года, а в современной Италии ставшей местом самых разных культурных мероприятий.

Лексикон, несомненно, вызовет интерес у лингвистов прежде всего потому, что в нем помещены статьи об особенностях сардского языка и о его многочисленных диалектах и говорах, о диалектах Альто-Адидже, о франко-провансальском и аквитанском в Вал д'Аоста и других малоизвестных лингвистических особенностях областей Италии. Ряд вокабул, состоящих из слов и словосочетаний, может рассматриваться как материал, свидетельствующий о чисто лингвокультурологических процессах, происходящих в языке на наших глазах. Так, термин *Franchi tiratori* (букв. "свободные

стрелки") вошел в итальянский язык в 80-х годах XX в. и стал обозначать депутатов, голосующих в Парламенте, не подчиняясь решениям своих политических партий. Термин *Carceri d'oro* (букв. "золотые тюрьмы") означает "разбогатеть на строительстве тюрем, подряд на которые был привилегией избранных". Такой термин, как *Marcia su Roma* (букв. "марш на Рим") означает выступление итальянских фашистов в 1920 г., приведение их к власти в 1922 г. Термин *mani pulite* (букв. "чистые руки") означает "антикоррупционные процессы против очень многих политических и государственных деятелей", сочетание это используется достаточно широко и не в своем прямом значении.

Отдельные слова и фамилии, ставшие именами нарицательными, свидетельствуют о постоянной тенденции к обогащению итальянского языка. Так, слово *pentito*, *pentiti* (букв. "раскаившийся") означает главаря или члена мафии, согласившегося сотрудничать с судебными властями. В этом случае фамилия *Buscetta* стала нарицательной. Такое слово, как *Regionalismo* (Регионализм), означало в разные периоды истории Италии процессы, связанные с тенденциями сепаратизма, а слово *Assemblea Costituente* означает Учредительное Собрание, которое выработало Республиканскую Конституцию Италии после поражения фашизма и Монархии.

В Лексиконе можно найти буквально все сведения об Италии: обо всех банках и перипетиях с ними связанных, о том, что скрывается за термином *Battaglia del grano* (букв. "Битва за урожай"), благодаря которой Муссолини удалось почти полностью решить проблему нехватки зерна в стране. В книге представлены все крупные и мелкие предприятия и фирмы, их организация, выпускаемая ими продукция, их положение на рынке.

Карты и схемы, публикуемые в Лексиконе, помогают читателю лучше ориентироваться в данных, содержащихся в статьях, об административном делении страны, о ее областях, провинциях, коммунах и городах. Кроме того, с помощью схем наглядно объясняется устройство крупных предприятий, холдингов и фирм, что облегчает знакомство с ними и вызывает доверие к ним. Большим достоинством книги является внимание к персоналиям. Здесь опубликованы имена королей, начиная с 1861 г. и до провозглашения Итальянской Республики, а также президентов Италии. В книге можно найти фамилии премьер-министров монар-

хических правительств и глав политических партий, входивших когда-либо в состав достаточно часто меняющихся правительств Италии, а также термины типа *quadri partito* "четырёхпартийное правительство"; *pentapartito* "пятипартийное правительство" и др.

Приведенный в Лексиконе подробный хронологический список наиболее важных исторических событий, имевших место в Италии, или имевших отношение к Италии, позволяет читателю получить справку об интересующем его периоде еще до того, как он начнет искать по алфавиту отдельные статьи. Данные, приведенные в хронологическом списке, охватывают период с 1789 по 1997 г. (с учетом приложения ко второму изданию).

Подробно и четко изложены статьи, раскрывающие основное содержание деятельности общественных и политических институтов, организаций и ассоциаций, судебных органов, Конституционного Суда, а также специфических для Италии преступных групп (*mafia*, *'ndrangheta*, *camorra*). Такие политические реалии, как *legge truffa* (букв. "мошеннический закон"); *legge stralcio* (букв. "куцый закон"), ничего не говорящие читателю, не знакомому с событиями, буквально сотрясавшими Италию в разные исторические периоды ее политической и общественной жизни и вошедшими в лексикон современных средств массовой информации, объяснены в рецензируемой книге гораздо подробнее и яснее, чем в некоторых итальянских толковых словарях, где они также фигурируют в соответствующих словарных статьях.

Трудно переоценить, как важна для пользователя расшифровка многочисленных сокращений, многие из которых не так просто найти в общих словарях. Особенно важно, что в Лексиконе можно найти сокращения названий холдингов и фирм, а также схемы их устройства. Это делает Лексикон привлекательным для деловых людей, заинтересованных в экономическом и торговом сотрудничестве с Италией. Сокращения, обозначающие политические партии, ассоциации и социальные институты, привлекут внимание историков, политологов и всех тех, кого интересует общественно-политическая жизнь Италии.

Подробные сведения о средствах массовой информации, таких, как печатные издания, телевидение и радио, а также об издательских группах, весьма полезны для самого широкого круга читателей.

Большой интерес для читателя представляют статьи книги, посвященные

статусу и деятельности Ватикана, а также ассоциаций с ним связанных и роли католической церкви в Италии. Популярно изложенные сведения помогают составить представление о сложной и важной роли, которую играет католическая церковь в жизни Италии и в католических странах Европы.

Известно, что наибольшую трудность при знакомстве с любой страной вызывает толкование терминов, обозначающих социально-политические институты, содержание которых в разных странах не совпадает. Имеются в виду такие понятия, как система среднего и высшего образования, судебная система, политические институты, здравоохранение, организация органов безопасности той или иной страны. Заслуга составителей Лексикона состоит в том, что они ответили на все возникающие в этой области вопросы не только благодаря описанию смысла самих понятий, но и нашли эквивалентные термины в немецком языке, показав, таким образом, сходство и различия формирования этих языковых образований, существующие в двух странах. Например, понятия такого термина, как "Академия", в разных языках не совпадает, поэтому в Лексиконе дается подробное описание не только самого термина, но и существующих в Италии конкретных академий.

Как мы пытались показать, в книге содержится немало количество реалий (слов или словосочетаний, обозначающих исторические события или факты, которые употребляются только в переносном значении). Речь идет о таких словах, как *epigazione* (прямой перевод этого слова "чистка" ни о чем не говорит, между тем, речь идет об историческом факте, имевшем место в Италии после свержения фашизма). Слово *accordo* (букв. "маленькое соглашение") обозначает историческое событие, имевшее место в 1949 г. Таких терминов в Лексиконе немало, и они весьма важны в том числе и для понимания публицистики и даже произведений художественной литературы. Богатство Лексикона реализуется и через многочисленные ссылки, многие из которых часто являются дополнительными сведениями, хотя и не выделены в отдельные статьи (ср., например, такие термины: *Telefono rosa (azzurro)*, *Condomo fiscale*, *Legge condono* и др.).

Достоинством Лексикона является его оформление. В книге предусмотрены все удобства пользования справочными изданиями, которые способны создать существующие в наше время технические сред-

ства – списки словарных статей и персоналий (*Sachregister-italienische Begriffe*, *Sachregister-deutsche Begriffe*, *Personenregister*). В особенности хотелось бы отметить приведенный в Лексиконе обратный указатель статей на немецком языке. Списки составлены таким образом, что позволяют найти нужный термин или нужную статью очень быстро, а также позволяют составить впечатление о той массе сведений, которая содержится в книге.

В целом, Лексикон не вызывает замечаний. Тем не менее хотелось бы высказать ряд пожеланий, которые можно было бы учесть при последующих переизданиях книги.

В частности, целесообразно добавить статью о нобелевских лауреатах разных лет – граждан Италии, а также включить, хотя бы в список персоналий, таких выдающихся итальянских поэтов, как Е. Монтале и У. Саба и более ранних, например, Пасколи и Д'Аннунцио (в книге имя Габриэле Д'Аннунцио с поэзией не связано).

В книге есть статья о футуризме, но было бы целесообразно сказать коротко и о натурализме (*Verismo*) и, в частности, о Дж. Верга, а также о герметиках, в частности, о Квазимодо (*S. Quasimodo*).

В списке *Sachregister – Deutsche Begriffe* очень хорошо составлено перечисление статей, относящихся к понятию "Literatur" (с. 946); было бы неплохо сделать то же самое в списке *Sachregister – Italienische Begriffe* хотя бы там, где речь идет о *Premi letterari*.

В заключение следует сказать, что рецензируемая книга – очень полезное и нужное для самого широкого круга читателей издание. Она практически совмещает в себе несколько достоинств справочных изданий: энциклопедического словаря, поскольку большинство статей носит энциклопедический характер, фразеологического словаря, поскольку многие словосочетания, образующие статью, являются фразеологическими единицами, они устойчивы и их смысл не вытекает из простой суммы компонентов, составляющих словосочетания. Нет сомнения, что рецензируемая книга войдет в золотой фонд серии "Grundlagen der Romanistik", выпускаемой издательством Е. Шмидта.

Было бы очень полезно издать авторизованные переводы этой книги хотя бы на языках тех стран, которые заинтересованы в деловых контактах с Италией или рассматривают эту страну как центр культуры и искусства разных эпох.

Т.З. Черданцева

Факт появления в 90-е годы разнообразных словарных изданий, посвященных периферийным пластам лексико-фразеологического состава русского языка последних 10–15 лет, отражает реальные процессы их сильной активизации в повседневной речевой коммуникации, в том числе – в современной русской литературной речи, устной и письменной. В этой активизации периферийной лексики и фразеологии находят выражение некоторые основные тенденции языковой эволюции, обусловленные теми изменениями в социальном (социокультурном) существовании русского литературного языка, которые совершаются под влиянием мощных экстралингвистических импульсов: распада СССР и ситуации, порожденной этим социально-экономическим катаклизмом, в общественно-политической, духовной, хозяйственной жизни постсоветской России. Имеются в виду такие тенденции современной языковой жизни, как а) резкое возрастание значимости разговорной речи в сложившейся системе функциональных разновидностей русского литературного языка и больше того – разговорной стихии внелитературной сферы национального языка (просторечия и особенно жаргонной речи) в современной литературной речи (устной и письменной); экспансия элементов разговорной речи в традиционные тексты книжной культуры слова; б) детабузация бранной, вообще грубой просторечной лексики и фразеологии не только в разговорной (литературной) речи, но и в устных и письменных вариантах речи книжной.

Предлагая "словарь русского общего жаргона", авторы руководствуются задачами "культурно-речевого" характера (на стр. IV читаем: "...очевидно, что, не зная этих слов, невозможно полностью понимать все то, что сейчас пишется и говорится порусски"). Вместе с тем главная задача рецензируемого издания состоит в том, чтобы "отразить жаргон жителей современного большого российского города, отделив его от жаргонов отдельных социальных, в частности криминальных, и профессиональных групп" (с. IV). Под общим жаргоном понимается по существу та часть ненормализованной речи современного города, которая нашла и находит отражение в текстах массовой информации. Это обязательное условие включения лек-

сико-фразеологического материала в Словарь. Авторы специально подчеркивают: "...доказательством принадлежности слов к общему жаргону" они считают "...употребление этих слов в прессе, ориентированной на широкую аудиторию" (там же). Предполагается также, что такие слова и фразеологические обороты употребляются (или по крайней мере понимаются) "...всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка" (там же).

Говоря об общих принципах "толкового словаря русского общего жаргона", важно обратить внимание на то, что авторы, четко определив социокультурные рамки объекта лексикографического описания (это представлено в той или иной степени и в других словарях периферийной лексики), пошли по пути более широкого, а главное – эксплицитного, применения функционального принципа лексикографической презентации. Не ограничиваясь констатацией устной реализации общего жаргона, они ориентируются на письменную фиксацию его единиц в литературных текстах, именно в текстах массовой информации. (И при семантизации заголовочного слова исключаются речения – только точные цитаты преимущественно из печатных текстов, реже – из записей живой устной речи с детальной их паспортизацией.) Такое ограничение вполне оправдано, поскольку в Словаре регистрируются явления ненормированной устной речи.

Это принципиально новый элемент в регистрации лексикографического описания единиц внелитературной речи. Он, конечно, накладывает известные ограничения на полноту словника, поскольку далеко не все слова и обороты городского просторечия (понимаемого как совокудность социокультурных разновидностей ненормированной речи городских жителей) "попадают" в литературные тексты, даже в тексты массовой информации. В то же время отражение в Словаре речевых единиц, письменно зафиксированных, несомненно, создает наиболее благоприятные условия для "чистоты" научного анализа, в данном случае – лексикографического исследования, как самих единиц общего жаргона, так и его основных семантико-коннотационных и функционально-речевых характеристик.

Такой подход к лексикографической

презентации периферийных пластов лексики и фразеологии, в том числе и лексико-фразеологических единиц общего жаргона, позволяет с высокой степенью адекватности выявить, с одной стороны, особенности семантической структуры (включая систему коннотаций) таких единиц и их функционирование во внелитературной сфере, поскольку в литературные тексты речевой материал такого рода, взятый непосредственно из народно-разговорного языка, обычно включается с сохранением основных параметров семантики, экспрессии, дистрибуции, присущих соответствующим единицам в их "родной среде обитания". Во всяком случае это убедительно подтверждают наблюдения над диалектизмами и жаргонизмами, над их функционированием в художественно-беллетристических и публицистическом стилях русского литературного языка XIX века (в послепушкинский период).

С другой стороны, выясняется наиболее существенный с семантико-экспрессивной точки зрения и функционально наиболее активный, актуализированный для речевой коммуникации носителей литературного языка фрагмент современного городского просторечия.

Для общей характеристики Словаря, его лексикографической идентификации существенным обстоятельством представляется ориентация авторов на носителей литературного языка (это ощущается уже в самом названии "лексикона": "Слова, с которыми мы все встречались").

Будучи словарем общего жаргона, данное лексикографическое издание не ограничивается констатирующе-регистрающим характером презентации лексико-фразеологического состава обозначенной сферы речевой коммуникации (как это типично для словарей периферийной лексики). Авторы Словаря, наряду с семантизацией его единиц, раскрывают сложившиеся в устной ненормированной сфере речевой коммуникации способы и ситуации их употребления, уточняя при этом системой помет и в комментариях грамматический статус (в необходимых случаях – отдельные формы), детали социокультурной и функционально-речевой характеристики каждой единицы описания.

Ориентация на литературные тексты, именно на тексты массовой информации, при составлении Словаря дает репрезентативный материал и для исследования процессов, явлений, наблюдаемых в русском литературном языке конца XX столетия, в частности, позволяет выявить функцио-

нально-стилевые условия проявлений общего жаргона в контексте литературного языка и некоторые другие важные аспекты современного русского литературного языка.

**Словник.** Как ясно из прямых указаний авторов, состав словника определяется "присутствием" единиц общего жаргона в текстах массовой информации, "в прессе, ориентированной на широкую аудиторию" (с. IV). Это требование, как видно из иллюстративной зоны словарных статей, в подавляющем большинстве статей реализуется. Авторы все же отступают, правда, в единичных случаях, от заявленного ими принципа отбора словарных единиц: см.: **Лажбый, Мотать<sup>1</sup>, Не колышет, Пахán, Рвáный, Сачóк, Шеф.** Представляется непоследовательным (с точки зрения опоры на опубликованные тексты) начинать зону "Примеры" словарной статьи со свидетельств разговорной речи – см.: **Мýсор, Обломítь, Отпáд** (оба значения), **Слнйть, Совóк** (2-е значение), **Стучáть, Схвáчено, Чáйник** (4-е значение), **Фрáер** (здесь "примеры" начинаются с цитаты из "блатного фольклора", что нарушает установку авторов на игнорирование жаргонов "отдельных социальных, в частности криминальных, ... групп").

В отличие от толкового словаря литературного языка в словник данного Словаря включены на правах заголовочного слова не только фразеологизмы номинативного (*вор в законе, крестный отец*) и глагольного характера (*под колпаком [быть]*), но и предложно-падежные сочетания (*до лампочки, до фонаря, до фени, по жизни, с прибабахом*), а также изолированные (вне собственной морфологической парадигмы) формы (или словоформы): *светит/не светит, схвачено, наши, повязан, поддатый...*

Если в традиционный толковый словарь такого рода единицы включаться не должны, то в словаре, который имеет своей задачей (или одну из задач) разъяснить слова известного социокультурного статуса, представленные в корпусе известных текстов (и к тому же – лексемы, актуализированные в речевой коммуникации определенной эпохи), такие и подобные вокабулы узуального характера могут и должны быть лексикографически описаны, даже и при их единичной регистрации или нестатистической частотности.

Исходя из сказанного, вполне закономерна статья "Ж. (Только прописное)." [надо бы: прописная (буква)], в которой представлено якобы слово "Ж." (суш. м.р.) со

значением 'Жириновский' (с. 48). Впрочем, на равных основаниях претендует на аналогичную фиксацию и "сущ. м.р." "Х." со значением 'Хасбулатов', хотя бы потому, что в "Примерах" статьи "Ж." есть цитата, в которой упоминается это слово.

В целом читатель получил вполне репрезентативный корпус активных и актуальных единиц современного русского общего жаргона. Хотелось бы только, чтобы авторы в интересах не столько подтверждения репрезентативности предложенного корпуса словарного материала, сколько определения уровня этой репрезентативности, указали хронологические рамки обработанных ими источников Словаря. Наблюдения над текстом Словаря позволяют определить общий временной отрезок: 1991 г. (эпизодически) до начала 1999 г. (с акцентом на 1994–1998 годы), а также общий объем выборки, поскольку разные годы наблюдений даны в Словаре количественно по-разному.

**Словарная статья.** Структура словарной статьи не традиционна, устроена целенаправленно, таким образом, чтобы максимально полно представить основные параметры "системной" и главное – функциональной стороны единицы лексикографического описания одного из фрагментов внелитературной сферы современной русской речевой коммуникации – общего жаргона. Словарная статья дает объемное, дифференцированное представление относительно смыслового содержания и эмоционально-экспрессивного наполнения (семантической структуры) каждой словарной единицы, социокультурной сферы и ситуаций ее употребления, ближайших парадигматических, синтагматических и словообразовательных связей в рамках общего жаргона, грамматической дистрибуции, морфологических особенностей; выясняется также социолингвистическое происхождение (из специальных жаргонов, из литературного языка) и этимология (в необходимых случаях) слова или фразеологизма.

В отличие от словарной традиции семантизации периферийной лексики и фразеологии авторы не ограничиваются "переводом" заголовочного слова на литературный язык. Давая денотативное значение, они особое внимание обращают на коннотации, которые приобретает или имеет заголовочное слово в общем жаргоне. Авторы справедливо полагают, что "...коннотации являются наиболее важной частью значения жаргонного слова – тем, ради чего оно создается и употребляется" (с. V.). Такая детальная, дифференцированная,

разноаспектная разработка заголовочного слова имеет общеметодологическое значение для лексикографической презентации словарных единиц вообще – не только из ненормативной сферы национального языка. Словарная статья такой структуры вполне приложима (с известными модификациями) к толкованию слов литературного языка – к "толковому словарю", к словарю иностранных слов.

Словарная статья, таким образом, состоит из следующих зон: Заголовочное слово (ЗС, с указанием ударения или его вариантов, орфографических вариантов – при необходимости, здесь же опорные формы морфологической парадигмы); Грамматические пометы и комментарии ("Морф"); "Частотность" (не регулярно); "Употребление"; "Значение"; "Коннотация"; "Сочетаемость"; Иллюстрации ("Примеры"); Парадигматические связи ("Синонимы", "Антонимы"); Словообразовательные связи ("Гнездо"); "Происхождение".

В зоне "Морф" содержится морфологическая характеристика ЗС, указания об употребительности отдельных форм, о "дефектности" парадигмы, синтаксическая характеристика изолированных форм (в статусе ЗС), например: к ЗС **Бодун**, **Бугор** "Только с предлогами" (с. 14), к **Краты** – "в функции предиката в безличном предложении" (с. 82), к **Не колышет** – "употребляется безлично" (с. 123). В связи с последним было бы точнее обозначить данную зону словарной статьи как "грамматическую". В целом эта зона разработана тщательно, насыщена разнообразной информацией, помогающей ориентироваться (вместе с зоной "Сочет") в грамматической дистрибуции ЗС.

Обращает на себя внимание корректность некоторых рекомендаций и ограничений коммуникативного свойства: например, к **Сниматься** – "...СВ не отмечен" (с. 193), к **Повязки** – "...Чаще во мн." (с. 149). Обращает на себя внимание профессионально лексикографический способ указания на реальность употребления конкретной формы: упоминается соотносительная форма [напр.: **Круто**. Нареч. Сравн. ст. *круче*" (с. 85); **Крутой**. Прилаг. Сравн. ст. *круче*" (с. 86); **Кушиться**. ...НСВ *покушаться* (с. 92); **Напрягать**. ...СВ *напрячь* (редко) (с. 120); **Отморщенный**<sup>2</sup>. ...ж.р. *отморщенная*" (с. 136)].

Вместе с тем наблюдается известная непоследовательность в морфологической характеристике однотипных явлений. Ср.:

"Северá, -ов... Только ми." (с. 189) – "Югá... Только ми." (с. 265). Указания на форму род. пад. мн. числа нет, хотя и в "Сочет" и в "Примерах" дается употребление этого ЗС в косвенных падежах, ср. также статьи *Овер* и *Мент*: при указании акцентологических вариантов формы род. пад. ед. числа у слова *овер* "...-á, -а", в статье *Мент* есть только "...-á", тогда как Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (М. 1997) дает форму *-а* (без ударения): *Мент, -а* (прост.).

Характер представления зоны "Частотность" требует некоторого уточнения. Видимо, отсутствие в статье указания "Оч. частотн." или "Малочастотн." следует рассматривать как констатацию известной употребительности соответствующего ЗС.

Исключительно важна для функционально-речевого статуса слова (в Словаре – ЗС) его сочетаемость. Ведь известно, что "...действительная жизнь... слова совершается в речи" [Потебня 1958 : 15]. Поэтому наличие зоны "Сочетаемость" принципиально значимо для всякого словаря, тем более для словаря, посвященного устной речи внелитературной сферы. Целесообразно расширить данную зону, выясняя, по возможности, основные линии грамматической сочетаемости ЗС (например, к таким словам, как *заложить, заказуха, закидон, попса, ствол, стобануться, челнок*), более последовательно обозначая лексическую сочетаемость (см., например, отсутствие данной зоны в статьях "Челночный", "Хайрастый/хаератый"), давая возможно полный список лексических связей ЗС (например, к слову *чернушный*). Было бы уместным отмечать в зоне "Происхождение" – в случаях производности ЗС от "литературного" слова – сочетаемость этого слова, когда у ЗС наблюдается иная сочетаемость (например, в описании глаголов *заказать, снимать*).

Тесно связаны с зоной сочетаемости зоны парадигматических и словообразовательных связей, особенно тех членов словообразовательного гнезда, которые описаны в Словаре. Все это в совокупности создает объемность лексико-семантической перспективы презентуемой словарной единицы, "оживляет" ее реальные лексико-семантические и словообразовательные связи внутри общего жаргона.

Зоны "Значение" и "Коннотация", естественно, занимают центральное место в словарной статье, образуя единый блок семантизации ЗС, часто вместе с зоной "Употребление", когда в этой зоне при-

водится экспрессивная характеристика употребления ЗС.

В целом зоны "Значение" и "Коннотация" полностью выполняют свою задачу. Они действительно дополняют друг друга, как сказано в статье "От редактора" Р.И. Розиной (см. с. V), давая объемную характеристику смысловой и экспрессивной стороны ЗС. Однако больше всего конкретных замечаний вызывает зона коннотаций в связи с тем, что значительная часть формулировок этого "пункта" словарной статьи очень разнообразна по своему синтаксическому наполнению, интенциям высказывания. Между тем жанр Словаря, как очевидно, требует максимального единообразия, типизации лексикографического описания.

Трудно переоценить зону "Происхождение". Обобщение наблюдений дает возможность проследить, с одной стороны, происхождение известной части лексико-фразеологического состава современного городского просторечия от жаргонной речи отдельных социальных и профессиональных групп; с другой стороны (и это наиболее существенно для выяснения связей литературного языка – особенно русского литературного языка 80–90-х годов), и внелитературной речевой сферы – "заимствования" общего жаргона из литературного языка.

Значимость для русской лексикографии рецензируемого Словаря определяется, во-первых, тем, что предпринят первый опыт лексикографического описания монографического характера внелитературной сферы русского национального языка – именно общего жаргона – с обязательной опорой при регистрации словарных единиц на "отражения" этих единиц в текстах литературного языка.

Во-вторых, данный словарь – одно из немногих современных изданий, в которых в практику описания словарных единиц, в структуру словарной статьи вносятся существенные, принципиально новые компоненты, способствующие тому, что ЗС обретает стереоскопическую, дифференцированную характеристику его основных лексико-семантических, грамматических и функционально-речевых свойств.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Потебня А.А. 1958 – Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.

Ю.А. Бельчиков



Научная полемика в языкознании принимает разные формы – вспомним, к примеру, дискуссии по вопросам стилистики (1954–1955 гг.), о падеже как грамматической категории и о падежной семантике (1953–1958 гг.), о словосочетании (середина 70-х гг.); различного рода критические рецензии и ответы на них (напр., [Palmer 1990] – [Wierzbicka 1991]) и др.

Более спокойную (и потому объективную) форму жанр полемики приобретает в квалификационных работах (здесь, к сожалению, все реже встречается дискуссионная ретроспектива вопроса); в специализированных сборниках, обзорах и – гораздо реже, ввиду различных объективных и субъективных сложностей этого жанра – в специализированных монографиях, к числу которых принадлежит и рецензируемая книга, состоящая из пяти разделов.

В разделе "Теоретические проблемы семантики" (с. 5–91) рассмотрены краткая история семасиологии, вопросы о соотношении значения и понятия, значения и значимости, значения и смысла, значения и употребления слова.

Основные проблемы так называемого "филологического концептуализма" (термин В.П. Нерознака) представлены в небольшом по объему параграфе "Значение и концепт" (с. 59–67). Совершенно справедливо отметив некоторую аморфность понятия "концепт", автор охарактеризовал два основных понимания этой "загадочной величины" (С.А. Аскольдов). 1. Познавательный концепт – "мыслительное образование, замещающее в сознании неопределенное множество однородных предметов (...) Концепт (...) выступает заместителем реальных предметов, действий, признаков или свойств объектов познания" (с. 60). 2. Художественный концепт получает следующее определение: "мыслительное образование, которое не имеет жестко детерминированной связи с реальной действительностью и не подчинено законам логики"; далее подчеркивается "художественная ценность концептов данного типа", благодаря которой они "значительно информативнее познавательных" (с. 61). На более значительной информативности ("ассоциативной запредельности") художественного концепта настаивает и Д.С. Лихачев (его позиции по данному вопросу посвящена с. 63).

Думается, что единственным признаком, по которому концепт (по крайней мере, во

втором из указанных выше пониманий) может быть противопоставлен всем смежным категориям, в частности, понятию, является признак "ценность". В этом случае концепт может быть определен как понятие, представляющее ценность для носителя языка, актуальное для него и потому выражаемое значительным количеством синонимов (напр.: *луна – ночное светило, небесная лампада, царица ночи, Диана, Селена, Геката, Цинтия, Люцина* и проч.), обладающих богатой лексической сочетаемостью (см. напр., словарь эпитетов [Горбачевич, Хабло 1979], в котором несколько страниц посвящено только адъективной сочетаемости слов *луна* и *месяц*); понятие, являющееся темой значительного количества примет, пословиц, поговорок, фольклорных сюжетов, литературных текстов, произведений изобразительного искусства, скульптуры, музыки; понятие, глубоко укоренившееся в языке и культуре народа и потому являющееся диахронической константой и языка (ср. русск. *месяц* и скр. *másas*, лат. *mēnsis* из и.-е. \**mēns*; русск. *луна* и лат. *lūna* в том же значении), и культуры. Примеры концептов: "Судьба" (как высшая сила), "Бог", "Смерть", "Луна". Видимо, определение "художественный", предложенное С.А. Аскольдовым для концепта<sub>2</sub>, следует признать слишком сужающим объем данного понятия, поскольку вряд ли все перечисленные выше примеры концептов<sub>2</sub> можно (без натяжки) признать чисто художественными.

Важность признака "ценность" при определении понятия "концепт" подчеркивает В.И. Карасик [Карасик 1996: 4–6]. Э. Бенвенист (и вслед за ним – Ю.С. Степанов) указывает на постоянство концепта в течение длительного исторического периода [Бенвенист 1995], ср. [Степанов 1997]. Н.Д. Арутюнова для "реконструкции концепта" предлагает учитывать, в частности, этимологию соответствующих слов, их синонимии, "круг сочетаемости", образные ассоциации, фразеологию [Арутюнова 1994: 3]. На сегодняшний день список собственно языковых показателей концептуального статуса того или иного понятия далек от завершения. Определенное место в этом списке должны, видимо, занять предложенные Н.Ф. Алефиренко признаки "отсутствие жестко детерминированной связи с реальной действительностью" и "неподчиненность законам логики". Действительно: в научной картине мира луна, во-первых,

одна, во-вторых, определяется как спутник планеты; в языковой (наивно-бытовой) картине мира это не "спутник", а светил о, причем представленные д у м я "плостасями" (луна и месяц).

Еще одной спорной проблемой современной семантики является вопрос о соотношении концепта и слова: 1) концепт соотносится со словом в одном из его значений (Д.С. Лихачев); 2) концепт соотносится со словом во всем многообразии его значений и употреблений (мнение С.А. Аскольдова). Фиксируя расхождение мнений по данному вопросу (с. 63–64), автор монографии осторожно не присоединяется ни к одной из двух точек зрения.

Довольно распространенное понимание концепта как смыслового инварианта значений многозначного слова, в принципе, вполне сопоставимо с известной попыткой Р.О. Якобсона выявить инвариантные значения падежей в русском языке (см. [Jakobson 1936]). Такой подход находим, к примеру, в одной из работ о понятии "судьба", авторы которой считают, что "понимание судьбы как высшей силы, предопределяющей жизнь человека и человечества, и н в а р и а н т н о (разрядка наша. – В.М.) лексикографическим интерпретациям слова *судьба*" [Чернейко, Долинский 1996: 21].

Думается, точка зрения Д.С. Лихачева более обоснована (и современна), поскольку такие характеристики концепта<sub>2</sub>, как наличие синонимов, сочетаемость и соотносимость с понятием, характерны не для слова в целом, а для отдельного его лексико-семантического варианта.

Раздел "Лексическая семантика" (с. 91–154) посвящен анализу "устройства" лексического значения. В параграфе "Типы лексических значений слова" (с. 114–132) с разных точек зрения рассмотрена наиболее устоявшаяся в отечественной науке о языке система параметров, на основании которых возможно выделение таких типов. Один из выводов этой части исследования вызывает желание дополнить мысль автора об источниках номинативно-производных значений (с. 111): основой, на которой такие значения образуются, могут служить "первичные денотативные семы". Это суждение вполне справедливо для случаев типа *золото волос*: метафорическое значение слова *золото* ('желтизна и блеск') развивается здесь на основе действительно денотативных сем 'желтый' и 'блестящий', входящих в прямое значение указанного слова. Вместе с тем,

метафорическое значение может развиваться и на основе коннотаций, которые "лежат в основе многих привычных метафор и сравнений и подавляющего большинства авторских метафор и сравнений" [Апресян 1995а: 164]; ср. [Никитин 1979], напр., *осел* 'глупец' (<*осел* 'животное'); основой данной метафоры стала коннотация 'глупый', связанная с непроизводным значением слова, однако "первичной денотативной семой" не являющаяся.

С помощью понятия "денотативная сема" невозможно объяснить ни метонимический перенос, основой которого являются синтагматические ассоциации, ни "перенесение с вида на вид" (Аристотель) – например, с профессии на профессию: *техничка* (вм. "менее благородного" *уборщица*) <устар. *техничка* "техническая служащая" [Ушаков 1994: 703], шутол. и н - *же н е р* по укладке грузов вм. *грузчик* и эвф. *о п е р а т о р* очистных работ вм. *ассенизатор* (пример Л.П. Крысна).

В параграфе "Специфика ономастической семантики" (с. 146–154) анализируются два известных (и взаимоисключающих) подхода к определению содержательной стороны имени собственного: 1) онимы обладают значением, но особым (В.А. Гречко, М.А. Косничяну, В.А. Никонов, О.И. Фоякова и др.); 2) онимы абсолютно асемантически (Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, В. Брендаль, Н.И. Толстой и др.). Автор вполне справедливо отмечает, что "теоретические изыскания в области семантики имени собственного... находятся на значительном удалении от существующих семантических теорий нарицательных имен" (с. 146). И действительно: на проблему можно было бы взглянуть, к примеру, с точки зрения теории номинации. Так, анализируя онимы, можно было бы, в частности, обратить внимание на такие (очень разные) употребления этих слов: 1) в официальной речи: *река Волга*, *озеро Ильмень*, *город Москва* (только в сочетании с номенклатурным термином); 2) в неофициальной речи: *Волга*, *Ильмень*, *Москва* (без номенклатурного термина). Во втором случае онимы представляют собой, во-первых, номинативные свертки, во-вторых (что характерно для случаев имплицитной номинации), неоднозначные наименования, что подтверждается возможностью следующих лексико-синтаксических трансформаций: неофици. *Волга* (в контекстах типа *стоять у Волги*) → офици. *река Волга*, *автомобиль "Волга"*, *кафе "Волга"*, *кинотеатр "Волга"*, *ресторан "Волга"* и

проч. Если в первом случае трудно говорить о понятийном (сигнификативном) содержании имени собственного, то во втором случае наблюдаем сдвиг в сторону апеллятивной семантики и даже своего рода многозначность, приобретаемые за счет известного свойства онимов "расширять значения контекстуально-смысловымиращениями" и "приобретать значение, производное от контекста" (с. 149).

Наиболее близким "контекстом" онима является номенклатурный термин, или дестерминатив, влияние которого на содержательную сторону онима (особенно в случаях имплицитной номинации) никак нельзя не учитывать.

Третий раздел "Грамматическая семантика" (с. 155–190) посвящен различным подходам к анализу грамматического значения, вопросу о взаимодействии грамматической и лексической семантики, а также проблеме словообразовательного значения. Здесь видимо, стоило бы задуматься о применении термина "уровень" к грамматике. Ведь если действительно существует "грамматический уровень" (с. 155), то каковы его единицы? Если носителем грамматического значения выступает "аффиксальная морфема" (с. 156), то имеет смысл говорить о морфемном уровне (в соответствии с уровневой моделью В.М. Солнцева), а если признать, что в выражении грамматического значения может принимать участие и лексика (или, как в языках изолирующего типа, в основном лексика), то окажется, что "грамматическая" семантика лишена жесткой уровневой соотнесенности и, соответственно, может иметь межуровневый характер.

В четвертом разделе "Синтаксическая семантика" (с. 190–245) самым подробным образом трактуются категории семантического синтаксиса, семантика сложного предложения, а также подходы к рассмотрению предикативности и модальности.

Завершающий раздел "Семантика текста" (с. 246–267) посвящен содержательной стороне сверхфразового единства и текста.

"Сквозной" темой монографии является рассмотрение значений единиц языка в логико-семиотическом аспекте; соответствующая информация распределена по разделам книги следующим образом: общие проблемы теории знака (с. 28–38), устройство и специфика лексического знака (с. 92–100), семиотический аспект грамматической семантики (с. 160–164), знаковое устройство предложения (с. 191–204); на с. 254–256 трактуются возможность применения теории знака к тексту.

Автор справедливо полагает, что раскрыть природу и сущность языкового значения невозможно, не объяснив «взаимосвязь трех основных "участников" его формирования: объекта обозначения, его отражения в сознании человека в форме понятия или представления и знака» (с. 35). При этом, видимо, следует согласиться с тем, что соответствующие термины (референт, денотат, сигнификат; референция, денотация, сигнификация) нередко употребляются «весьма неоднозначно и фрагментарно, отчего их использование в отдельных работах по семантике носит почти "ритуальный" характер» (с. 28–29). Не менее жесткой (но, думается, верной) выглядит оценка знаменитого "семантического треугольника": "Несмотря на огромную популярность этой модели, объяснить по ней непротиворечиво сущность языкового значения весьма сложно" (с. 35). Очень показательным в этом плане (и даже настораживающим) представляется тот факт, что наработки последних трех десятилетий, связанные с логико-семиотическим аспектом в изучении языковых единиц (слова и предложения), практически не отражены современной учебной литературой, то есть отторгаются прикладной лингвистикой (вероятно, со свойственными этой отрасли языковедения здравым смыслом и здоровым консерватизмом).

Если понимать референцию узко – как "соотнесенность с действительностью" (И.Б. Шатуновский), и признать, что: 1) референцию имеют только слова и именные группы, обозначающие предметы" [Шатуновский 1996: 53]; 2) существуют семантически пустые языковые знаки (например, онимы – в одной из своих трактовок); 3) апеллятивы предметной семантики допускают два типа использования: референтное (в актантной позиции) и нереферентное – в позиции предиката (ср. [Арутюнова 1976: 26]), то есть "имеют способность выражать как термы, так и предикаты" [Резвин 1978: 182], – то возникает подозрение, что мы отчасти гипостазируем известный треугольник, тем самым превращая идею конца XIX (Г. Фреге) – середины XX (Ч. Огден – А. Ричардс) века в некое подобие прокрустова ложа. Видимо, посредством одной модели представить все многообразие семиотических типов языковых знаков (лексических, синтаксических) невозможно.

В одной, относительно небольшой по объему, монографии сложно рассмотреть все спорные вопросы семантики. К числу

последних можно было бы отнести, в частности, очень непростую проблему определения понятий "синонимия" и "синоним": их определение ряду ученых "при нынешнем состоянии семантики представляется...невозможным" [Апресян 1995б: 60]. Указанная проблема самым непосредственным образом связана с не менее спорным вопросом о методике построения семантических классов лексики: должна ли такая методика – например, применительно к глагольным классам – включать (Ю.Д. Апресян, М.Л. Крючкова, Ю.В. Фоменко и др.) или отрицать (напр., группа "Русский глагол") дистрибутивный анализ (при построении родо-видовых объединений лексики)? субституцию (при выявлении синонимов – если признать критерий взаимозаменимости релевантным для их определения)? Подобные вопросы представляют собой открытый ряд; каждый из них требует специального рассмотрения.

Рубрикация книги представляется в целом очень логичной; вместе с тем, если "лингвистика может быть естественно подразделена на три части, которые могут быть названы лексическая семантика, грамматическая семантика и иллокутивная семантика" [Wierzbicka 1988: 1], то один из разделов монографии можно было бы посвятить проблемам иллокутивной семантики. Впрочем, эта тема вполне достойна отдельного монографического представления.

Оценивая книгу в целом, отметим, что она заслуживает внимания не только как любопытный свод (своего рода коллекция) наиболее запутанных проблем современной семантики, но и как небезуспешная попытка представить свой взгляд на решение таких проблем, в одних случаях, давая развернутое предложение по поводу возможного выхода из того или иного семантического "тупика", в других – контурно обозначая свое видение решения проблемы; в-третьих – предлагая меткие и точные (порой идущие вразрез с традицией) формулировки.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1995а – Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян Ю.Д. 1995б – Новый объяснительный словарь синонимов: концепция и типы информации // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект / Авт. Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон. М., 1995.

Арутюнова Н.Д. 1976 – Референция имени и структура предложения // ВЯ. 1976. № 2.

Арутюнова Н.Д. 1994 – От редактора // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.

Бенвенист Э. 1995 – Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.

Горбачевич К.С., Хабло Е.П. 1979 – Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979.

Карасик В.И. 1996 – Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград; Архангельск, 1996.

Никитин М.В. 1979 – О семантике метафоры // ВЯ. 1979. № 1.

Ревзин И.И. 1978 – Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.

Степанов Ю.С. 1997 – Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.

Ушаков Д.Н. 1994 – Толковый словарь русского языка: В 4 томах / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4. М., 1994.

Чернейко Л.О., Долинский В.А. 1996 – Имя судьба как объект концептуального и ассоциативного анализа // Вестник Моск. гос. ун-та. Серия 9: Филология. 1996. № 6.

Шатуновский И.Б. 1996 – Семантика предложения и неререферентные слова. М., 1996.

Jakobson R. 1936 – Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus // TCLP. 1936. V. 6.

Palmer F. 1990 – The semantics of grammar (Review article on Wierzbicka, 1988) // Journal of linguistics. 1991. V. 26.

Wierzbicka A. 1988 – The semantics of grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

Wierzbicka A. 1991 – The semantics of grammar: a reply to professor Palmer // Journal of linguistics. 1991. V. 27.

В.П. Москвин

Рецензируемый Словарь является первым этимологическим словарем английского языка в России. Словарь состоит из Предисловия, обстоятельного исторического очерка этимологии как лингвистической дисциплины, самого Словаря и списка использованной литературы. Автор понимает этимологию как науку о мотивационных связях, лежащих в основе значений слов, науку о моделях (алгоритмах) семантической мотивации и об основах номинации, как науку, ставящую своей целью выявление первичной метафоры (этимона), первичного образа-символа и особенностей дальнейшего развития этой метафоры.

Словарь содержит 800 словарных единиц, причем автор подчеркивает, что он "не стремился включить в Словарь максимальное количество словарных единиц. Предпочтение отдавалось исчерпывающему и углубленному истолкованию ограниченного блока английских слов, наименее ясных и наименее исследованных с этимологической точки зрения" (с. 5), в частности слов, которые в стандартных английских этимологических словарях имеют помету "этимология неизвестна", "этимология неясна". Рассматриваются в основном германские элементы лексики английского языка; заимствования рассматриваются лишь в тех случаях, когда их происхождение остается спорным или они этимологизируются заново.

Для сравнения автор привлекает огромный языковой материал (около 150 индоевропейских языков – древних и новых), а также большой диалектный материал германских языков, публикуемый впервые. Иногда для этимологизирования в Словаре удачно применяется филологическая критика текстов средневековых германо-латинских глоссариев (ср. статьи BRACKEN, FLUKE). Большинство статей рецензируемого словаря фактически представляют собой своеобразные лингвистические эссе, причем в ряде случаев после статей дается ссылка на специальную литературу, посвященную понятию, рассматриваемому в словарной статье.

В своем исследовании М.М. Маковский строго придерживается известных фонетических законов [Collinge 1985], однако основополагающим для автора является следующее положение крупнейшего этимолога XX столетия В.И. Абаева: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть тех гро-

манных результатов, которые достигнуты в языкознании на основе исследования и учета фонетических закономерностей. Но нужно быть если не слепым, то очень близоруким, чтобы не заметить тех поправок, которые жизнь на каждом шагу вносит в звуковые "законы". Я сказал бы так: исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» (с. 31).

М.М. Маковский верен линии исследований, представленной в его предыдущих широко известных работах, – бегству от тривиальности. Он постоянно стремится заглянуть как бы "по ту сторону" слова и его значения. Большинство этимологических решений, представленных в Словаре, принадлежат самому автору, хотя для контраста иногда приводятся и традиционные этимологии. Этимологические решения автора, приводимые в Словаре, свидетельствуют о больших творческих потенциях автора, его прекрасном знании индоевропейского (и, в частности, германского) материала и безупречном владении методиками этимологизирования<sup>1</sup>. Приведем некоторые из наиболее интересных этимологических решений автора. Значение "остановиться" (англ. *to stop* "остановиться") автор соотносит со значением "ритуальная остановка, расслабление (экстаз) перед сакральным огнем": др.-инд. *tápati* "гореть", русск. *monить* (помещение). нидерл. *stoof*

<sup>1</sup> На этом фоне бросается в глаза бесперспективность попыток некоторых ученых создать так называемый "новый" этимологический словарь английского языка на базе идеофонии, как это делает А.С. Либерман [Либерман 1998; 1999]. При этом А.С. Либерман полностью отказывается от применения методов индоевропеистики в этимологии, от использования внутренней и внешней реконструкции и даже от понятия индоевропейского корня (по Ю. Покорному). Вполне понятно, что подобная "новизна" – это лишь возрождение худших образцов старого: речь идет о сближении слов по созвучию, о мнемонических сближениях – короче, о произвольном и антиисторическом подходе при установлении "гождества" значений и слов. Подобного рода "новшества" немцы называют "Verschlimmbesserungen".

"Darrstube, Feuerkieke", но англ. *to stop* "остановить(ся)". Типологически ср.: др.-сев. *hoetta* "остановиться", но латышск. *kaitēt* "гореть"; ср.-в.-нем. *hören* "остановиться", но и.-е. *\*ker-* "гореть", др.-в.-нем. *swedan* "schwelend verbrennen", но др.-англ. *swedrian* "aufhören"; и.-е. *\*pel-* "brennen", но тох. *A pal-*, *pal-* "s'éteindre". Вместе с тем автор указывает на следующее обстоятельство: древние не могли не заметить, что огонь (в частности, сакральный огонь) не только горит, полыхает, рвется к небу, но и гаснет (с. 358).

Интересна этимология английского слова *caterpillar* "гусеница" (с. 85–86), приводимая в рецензируемом Словаре. Это английское слово можно соотнести с сочетанием корней, представленных чешск. *had* "червь, змея" + др.-инд. *taruḥ* "червь" + др.-инд. *piluh* "червь". Вместе с тем следует иметь в виду, что червь в мифопоэтическом мышлении олицетворял Божество: ср. хет. *katu* "царь, владыка" + др.-англ. *arian* "почитать, преклоняться" + др.-инд. *palayati* "охраняет, бережет". Обычно рассматриваемое английское слово считается заимствованием из старофранцузского *chatepelose*, где первый элемент представляет собой *chat* "кошка", а второй – лат. *pilosus* < *pilus* "волос", т.е. все сочетание означает "волосатая кошка" (ср. семасиологические параллели: нем. диал. *Teufelskatz* "гусеница", букв. "дьявольская кошка"; франц. *chenille* "гусеница" < лат. *canicula* < *canis* "собака").

Согласно мифопоэтической традиции, Вселенная была создана Божеством (Мировым Разумом) путем рассечения Хаоса. В связи с этим акт рассечения, разрыва соотносился в магическом мышлении с понятием "Мировой Разум" > "разум": ср. др.-англ. *cleofan* "рассекать", но англ. *clever* "умный" (типологически ср. лат. *putare* "рассекать", но также "думать").

В мифопоэтической традиции гриб имеет фаллическую символику. Символом деторождения в древности считалась Борьба (борьба волн в океане, борьба великана с горой и др.; типологически ср. нем. диал. *fitzen* "разрывать", но гот. *fitan* "рожать"<sup>2</sup>). В

связи с этим автор считает, что англ. *mushroom* "гриб" соответствует корням, представленным литовск. *mūša* "борьба" + др.-сев. (позт) *róma* "борьба". С другой стороны, гриб символизирует диаду "жизнь–смерть", олицетворяемую Волосом, который, по преданиям язычников, связывает все три мира – верхний, средний и нижний. В связи с этим возможно, что перед нами композитум, состоящий из корней, которые соответствуют англ. диал. *mosey* "covered with much soft hair about the face and body" (EDD IV: 168) + др.-инд. *roman-* "волосы на теле". Типологически ср.: общероманск. *\*saeta* "Haar, Borste" (Meyer-Lubke: 7498), но исп. *seta* "mushroom, sponge". Гриб олицетворял единство явленного (сухого) и неявленного (не сущего): ср. тох. *A musk-* "исчезать" + тох. *A wram* "вещь, сущее, явленное".

Весьма поучительно приводимая в рецензируемом Словаре этимология английского слова *go* "идти, двигаться". Движение, согласно мифопоэтической традиции, было первым актом божества в процессе сотворения мироздания; оно состояло, как отмечает В.Н. Топоров [Топоров 1996], из создания Пространства через действие *p a z d v и ж е н и я* (ср. и.-е. *\*gei-*, *\*ghe-* "раздвигать, создавать зияние": следует иметь в виду, что древние считали Зияние, Пустоту источником всего сущего), установления связи между отдельными зонами Пространства путем *п е р е д в и ж е н и я* – *п е р е м е щ е н и я* из одной зоны в другую: в ходе этих актов Движения был создан космический Порядок и Гармония (ср. и.-е. *\*gu<sup>h</sup>ei* "связь" и тох. *A kawas* "красивый", и.-е. *\*gau-* "радоваться"), а также конкретные проявления этой Гармонии – Звук (и.-е. *\*gei-*, *\*gom-* "издавать звуки") и Свет (и.-е. *\*g<sup>h</sup>ei-* "свет, светлый"). Все эти Явления непосредственно соотносились с Божеством, олицетворявшимся священной коровой (ср. и.-е. *\*gou-* "корова, рогатый скот"). Движение было направлено сверху вниз (женское начало) и снизу вверх (мужское начало), оно могло быть соединяющим (приближающим) и разъединяющим (удаляющим), положительным и отрицательным, спасительным и гибельным. Так, именно движение создало Жизнь (и.-е. *\*g<sup>h</sup>ei-* "жить"), но вместе с тем Движение создало и бессознательное (ср. и.-е. *\*gheu-* "терять сознание" > "бессознательное"). С другой стороны, Движение могло и погубить или убить (ср. и.-е. *\*gheu-* "убить"; типологически ср.: болг. *гибан* "двигать", но русск. *гибнуть*; украинск. *рух* "движение",

<sup>2</sup> В свою очередь гот. *fitan* "рожать, производить на свет" можно было бы сопоставить с др.-инд. *pitār* "отец" (англ. *father*). Вместе с тем англ. *father* "отец" можно сопоставить и со сложением: и.-е. *\*peia-* "strotzen, schwellen" + др.-англ. *teors* "penis". Эти сопоставления в Словаре отсутствуют.

но русск. *рушить*). Все эти виды Движения произведены Десницей Божества (и.-е. \**gouz* "рука"). К этому следует добавить, что любое движение рассматривалось как божественное Чудо, как колдовство (ср. греч. *ουρτεία* "колдовство").

В качестве другого примера оригинального этимологического решения в рецензируемом Словаре можно указать на следующее: английское слово *horse* "лошадь" автор соотносит с англ. диал. *hearse*, *hairse* "светило": действительно, согласно мифопоэтическому мышлению, Солнце "вывозилось" на небо упряжкой из четырех лошадей; в "Ригведе" Солнце метафорически называется "жеребцом" и символизирует Божество. Типологически ср.: ирл. *gerran* "мерин", но ирл. *grian* "солнце"; др.-в.-нем. *scelo* "жеребец", но греч. *ἥλιος* "солнце"; ср. далее: лат. *caballus* "лошадь", но и.-е. \**kabeiro* "божество". С другой стороны, автор связывает англ. *horse* "лошадь" с др.-инд. *kṛsh* "плуг" (типологически ср.: гот. *hōha* "плуг", но кельтск. \**konkas*, \**kankas* "лошадь", нем. *Hengst* "жеребец"; латышск. *zirgs* "лошадь", но литовск. *žāgre* "плуг"): образ лошади, везущей (небесную) колесницу.

Интересно приводимое в Словаре истолкование спорных английских слов *boy* "мальчик" и *girl* "девочка, девушка", которые обычно не имеют в словарях никакой этимологии. В древности мальчик-первенец нередко приносился в жертву богам: его обычно сжигали на костре. В связи с этим следует принять во внимание индоевропейский корень \**bhoi-* "гореть; жечь" (ср. и.-е. \**bhā-* "гореть, жечь"). Поскольку жертву обычно связывали, целесообразно учесть лат. *boia* "оковы" [от того же и.-е. корня \**bhā-* "гнуть, плести, связывать" > "гореть" (сплетение языков пламени)].

Типологически ср. лат. *puer* "мальчик", но и.-е. \**peuqer-* "огонь"; ирл. *macc* "мальчик", но кельтск. \**mag-/\*mog-* "огонь"; англ. *fellow* "парень", но тох. *A pāk* "гореть"; ср. также и.-е. \**pel-* "гореть" + др.-англ. *lieg* "огонь": и.-е. \**lag-* "класть" (в огонь").

Что касается этимологии англ. *girl* "девочка, девушка", то следует иметь в виду, что на наиболее раннем этапе существования индоевропейцев женщины не только участвовали в сражениях, но и погребались согласно обычаям воинского сословия. В связи с этим англ. *girl* можно соотносить с др.-инд. *ghrs* "соревноваться", лат. *gerare* "сражаться", др.-инд. *gr* "толкать", а с

другой стороны, с др.-в.-нем. *ger* "метательное оружие", др.-англ. *gearu* "вооруженный" и др.-англ. *gyrelu* "военная одежда, латы" (типологически ср. др.-сев. *skorð* "женщина", но др.-англ. *scrud* "одежда"; др.-сев. *loba* "одежда", но исл. *lodda* "женщина"); ср. также: др.-англ. *wip* "женщина", но англ. *weapon* "оружие"; греч. *θηλυς* "женский", но лат. *telum* "метательный снаряд". Типологически можно указать, с другой стороны, на осет. *gaerztae* "одежда", но также "оружие".

Рассмотрение отдельных английских слов в рецензируемом Словаре последовательно соотносится с историей культуры индоевропейских народов. Помимо чисто этимологических наблюдений, автор пытается установить символику отдельных понятий, полагая, не без оснований, что тем самым воссоздается "история ментальности английского народа" (с. 3). В качестве примеров можно указать на следующее. В основе значения "бог" в индоевропейских языках (и в частности, в английском) могут лежать такие метафоры, как "далекий", "невидимый", "молчаливый", "гневный", "наделяющий (судьбой)", "распределяющий (судьбу)". Понятие "кровь" нередко соотносится с понятием "звук": по мнению древних народов, жидкость, влага, кровь "льются", как песня, обращенная к Богу.

Другой особенностью рецензируемого Словаря является то, что автор при этимологизировании исходит из множественной (многоплановой, многомерной) этимологии, стараясь показать, что одно и то же значение могло быть выражено несколькими метафорами. Иначе говоря, множественная этимология строится на принципе "одно значение – несколько этимонов", в отличие от линейной, одномерной этимологии, которая строится на принципе "одно значение – один этимон".

Существенная особенность рецензируемого Словаря состоит в том, что в нем учитываются начальные отрицательные элементы слова, использовавшиеся в целях табу и не имевшие никакого реального семантического веса. Такие элементы при этимологизировании обычно считаются неотъемлемой частью соответствующего корня (и.-е. отрицания *ne-*, *se-*, *ve-*). После отбрасывания начального отрицательного табуирующего элемента перед нами оказывается совершенно новый корень, подлежащий этимологизированию, что полностью меняет процедуру и результаты этимологического анализа. Так, английское

слово *noise* "шум" соотносится с и.-е. \**ai-*so "кричать". Английское слово *new* "новый" (и.-е. \**neu-* "новый") соотносится с и.-е. \**ieu-* "новый" (буквально: "искупавшийся в воде – и.-е. \**ai-* "вода" – и омолодившийся": типологически ср. тох. *A war* "вода", но тох. *A wir* "молодой, новый"); с другой стороны, следует учитывать, что, согласно древним представлениям, души умерших переправлялись в загробный мир по воде: ср. и.-е. \**nau-* "плыть", гот. *snīwan* "двигаться, продвигаться", русск. *снова́ть*, но и.-е. \**nau-* "смерть, умирать": речь идет о смерти как н о в о й ж и з н и, как о перевоплощении души. Ночь в древности понималась как "умирание" дня: ср. англ. *night* "ночь" < и.-е. \**nek-* "смерть, умирание", но (без начального отрицания) хет. *ek, ak* "смерть". Ср. также лат. *aquilus* "темный", литовск. *āklas* "темный, слепой". Типологически ср. др.-англ. *swyld* "вечер, ночь", но др.-англ. *cwelan* "умирать" (ср. русск. *квельый*). С другой стороны, согласно древним мифопоэтическим представлениям, Боги заглатывали Солнце, после чего наступала Ночь; когда Боги Солнце выплевывали, наступал День. В этой связи и.-е. \**nek-t* "ночь" (англ. *night* "ночь") можно рассматривать как образование с начальным табуирующим отрицанием: оставшийся корень \**ek-* означает "есть, проглатывать". Типологически ср. тох. *A. wše* "ночь", но и.-е. \**yes-* "есть, питаться, глотать"; прусск. *bitai* "вечером, ночью", но валлийск. *bwyta* "есть, глотать". Английское слово *naked* "голый" после отбрасывания начального табуирующего отрицательного элемента может быть поставлено в соответствие с др.-инд. *ahaḥ* "день, свет" [развитие значений: "голый" > "светлый" > "блестящий, горящий" (и.-е. \**ag-* "огонь") > "святой"]].

Важно, что в рецензируемом словаре принимаются во внимание п о д в и ж н ы е ф о р м а т и в ы (главным образом преформанты). В этом плане показательно др.-англ. *aex, aecs, aeces* "топор" (ср. гот. *aqizi*, лат. *ascia* < \**acsia*, греч. *ἄξι(νη)*, но в др.-в.-нем. *d-ehs-al* "топор" и др.-англ. *s-eax* "нож, небольшой меч", а также англ. диал. *m-ake* "коса для срезания травы", англ. диал. *b-ag* "to cut; to cut stubble"; *l-ag* "to split, to crack" (ср. русск. диал. *л-ожить* "резать"); нем. диал. *L-ehē* "коса, серп". Подобным же образом можно указать на следующие соответствия: др.-англ. *éar* "земля" – и.-е. \**ar-* "человек; мужчина" ("сделанный из зем-

ли") – и.-е. \**bher-* "человек" (алб. *burrë* "человек") – и.-е. \**ker-* "человек" (др.-англ. *ceorl* "человек") – и.-е. \**mer-* "человек" (греч. *μῆτραξ* "молодой человек") – др.-инд. *n-ārd* "человек" – гот. *wair*, лат. *vir* "человек". Одновременно корни \**er-/ar-*, \**bher-*, \**ker-*, \**mer-*, \**cer-* означают "гореть" (в древности была широко распространена кремация покойников), причем понятие огня соотносится с понятием души [Маковский 2000].

В рецензируемом словаре широко применяется предложенный О.Н. Трубачевым метод "решения задач на омонимы", который нередко позволяет доказать, что корни, считающиеся омонимичными, на самом деле таковыми не являются и исторически могут интерпретироваться как е д и н ы й к о р е н ь [Трубачев 1985]. В качестве примера подобного анализа приведем статью "AIR", помещенную в рецензируемом словаре (в свободном изложении).

AIR "воздух" (ср. греч. *ἀήρ* "воздух" > греч. *ἀήρ* "дуть"). В английский язык слово заимствовано из древне-французского (др.-франц. *air*). Воздух – один из четырех элементов, созданных Божеством. Это – активное, творческое (ср. осет. *aryn* "родить"; арм. *arel* "творить") мужское (ср. и.-е. \**arjos* "мужской") начало (ср. др.-англ. *aërist* "первый"), равносильное Слову (выдыхание воздуха: ср. лат. *orare* "говорить") и Огню-Душе (и.-е. \**ar-* "гореть", а также и.-е. \**cer-* "гореть"). Воздух – символ быстрого движения (ср. др.-англ. *earu* "быстрый") – метафорически изображается в виде быстрого коня (ср. русск. диал. *орь* "конь", др.-русск., церк.-слав. *орь* "жеребец"), на котором едет Божество; воздух связывает небо и землю [ср., с одной стороны, и.-е. \**ar-* "связывать", гот. *airus* "посланник, ангел", латышск. *airis* "руль", а с другой, др.-англ. *éar* "море" (в древности небо уравнивалось с морем: ср. греч. *οὐρανός* "небо" > греч. *οὐρέω* "hagne", букв. "Befeuchter, Befruchter", ср. тох. *A war* "вода", др.-сев. *aurr* "вода")<sup>3</sup>, но также др.-англ. *éar* "земля"]. Поскольку Воздух – это Дух, Мировая Душа, он уравнивался с Птицей – вместилищем Мировой Души (ср. и.-е. \**ar-* "птица"). Воздух считался тотемом, которому поклонялись как божеству (ср. др.-англ. *arian* "почитать, поклоняться", др.-инд. *ari* "fromm"); кроме того ср. др.-инд. *āraṭi* "остановиться":

<sup>3</sup> Типологически ср. др.-англ. *heofen* "небо", но др.-сев. *haf* "море".



остановка, молчание считались молитвой, выражением почтения к Божеству.

С другой стороны, наряду с символикой жизни, воздух у некоторых народов символизировал нечистую силу: вдыхая воздух, человек навлекает на себя скверну (ср. греч. ἀρῆ "ущерб", др.-инд. *ari* "вражеский"; "враг"). Воздух, кроме того, символизировал свободу (в смысле полной дематериализации); ср. хет. *arawwis, arawwas* "свободный".

Иногда Воздух осмыслялся как "вздымающийся наверх" > "крыша Вселенной". При этом значение "поднимать, подниматься" в индоевропейских языках соотносится со значением "брать" [типологически ср. нем. *heben* "поднимать", но лат. *capere* "брать"; русск. *поднять* > \**pod-jęti* "брать": огонь "берет" жертвоприношение и поднимает его к Богу (ср. греч. αἶρεῖν "брать" и греч. ἀεῖρεῖν "поднимать")].

К сожалению, в рецензируемом Словаре имеются досадные опечатки и пропуски текста, что, впрочем, вполне естественно, если учесть исключительную трудность набора. Так, в статье **SLOW** (с. 339) развитие значений изложено следующим образом: "schlagen" > "Schlagen kraftlos machen" > "schwach, langsam" вместо "schlagen" > "durch Schlagen kraftlos machen" > "schwach, langsam" (ср. др.-англ. *slāc* "медленный", но др.-англ. *slagan* "бить").

На с. 359 читаем, "огонь... не только ввысь..., но и гаснет" вместо "огонь не только вздымается ввысь, но и гаснет". С другой стороны, на с. 31 (18 и 19 строки сверху) одна и та же фраза повторяется дважды.

На с. 236 в статье **MOVE** имеется перекрестная ссылка на статью **ЧИСЛО** в рецензируемом словаре. Однако все заглавные слова в Словаре – английские слова; в данном случае следовало сослаться на статью **NUMBER**.

На с. 254 (23 строка сверху) вместо прусск. *bitai* стоит *bital*. На с. 196 (и еще в ряде мест) автор ссылается на "латышское" слово *lipt* "гореть". Однако в латышском языке такого слова нет: автор имел в виду, видимо, корень, представленный прусск. *lara* "факал", литовск. *liepsnà* "пламя".

В статье **CAST** "бросать" (с. 82) вместо гот. *wairpan* "бросать" напечатано гот. *wairþan* "становиться, превращаться".

В статье **FINGER** (с. 133, 16 строка сверху) лат. *digitus* "палец" сопоставляется с и.-е. \**dheg-* "гореть" (палец как язык пла-

мени); однако в тексте стоит не \**dheg-*, а \**dherg-*.

На с. 104 древнеанглийское слово *diegan* переведено как "смерть"; однако это – глагол, означающий "умирать".

На с. 3 ("Предисловие") сказано: "Предлагаемый Словарь является первым этимологическим словарем в России" вместо "Предлагаемый Словарь является первым этимологическим словарем а н г л и й с к о г о я з ы к а в России".

Отметим, что в словаре отсутствует ряд слов германского происхождения, этимология которых до сих пор не ясна. Таковы англ. *ax* "топор", *bed* "кровать", *bring* "приносить", *cut* "резать", *soul* "душа" и др.

Рецензируемый Словарь М.М. Маковского написан на очень высоком научном уровне. Остроумие этимолога сочетается здесь с глубоким проникновением в самую суть трактуемых явлений, а целеустремленность лингвиста-теоретика органично сочетается с прекрасным знанием истории индоевропейской культуры и древней символики. Нет сомнения в том, что этот Словарь станет настольной книгой всех пытливых исследователей в области этимологии германских и индоевропейских языков, а также всех интересующихся скрытыми сторонами развития английского языка и историей отдельных английских слов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Либерман А.С. 1998 – Новый этимологический словарь английского языка // Язык и речевая деятельность. 1998. Т. 1.
- Либерман А.С. 1999 – Фоносемантика и этимология // Язык и речевая деятельность. 1999. Т. 2.
- Маковский М.М. 2000 – Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.
- Топоров В.Н. 1996 – Об одном из парадоксов движения // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
- Трубачев О.Н. 1985 – О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
- Collinge N. 1995 – The laws of Indo-European. Amsterdam, 1995.

В.З. Демьянков

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

XX Международный конгресс ономастических наук проводился в Сантьяго-де-Компостела (Испания) 20–25 сентября 1999 г. В нем приняли участие около 300 ученых из 30 стран. Из России было 5 человек: М.Ю. Авдонина, С.А. Никитин, Т.П. Соколова, А.В. Суперанская, А.Л. Шилов, один человек из Таджикистана – Д.К. Карамшоев. По сравнению с предыдущими конгрессами значительно расширилась сфера исследовательской деятельности за счет подключения новых территорий (многочисленных африканских стран, Канарских и Балеарских островов, Албании, Центральной и Южной Америки), новых языков (туарегский, памирские – бесписьменные языки), новых типов ономастизируемых предметов (имена собак), новых аспектов исследования (имена на надгробных памятниках в сравнении с именами тех же лиц по различным прижизненным документам). Ряд докладов посвящен компьютерным методам исследования географических названий и личных имен, два доклада – именам собственным в языке глухонемых, несколько докладов – еврейским именам.

В отличие от предыдущих конгрессов на этом обсуждались многочисленные проекты – запланированные или начатые работы, результаты которых еще только ожидаются. В нескольких докладах отмечалась глобализация и американизация именных типов, уход в пассив прежних традиционных имен, замена их более модными, универсальными. Многие докладчики обращались к древним и древнейшим ономастическим пластам – древнескандинавским (Т. Андерсон, Л. Петерсон), этрусским, кельтским, дороманским и догреческим – в Альпах (П. Анрейтер), в Хорватии (Д. Брозович-Ронцевич), к именам в рунических надписях.

Доклады слушались в 11 секциях, что было неудобно, поскольку многие интересные доклады совпадали по времени и, к

тому же, многие доклады выходили за рамки своей секции (по языковой ориентации или предметной направленности). Преобладали доклады на английском языке. Рабочими были также французский, немецкий и язык хозяев – испанский. Ряд докладов был составлен по русским материалам, и было, мягко выражаясь, странно обсуждать их по-английски.

Следующий, XXI Международный ономастический конгресс состоится 19–24 августа 2002 г. в Уппсала (Швеция). Основная тема его пока не объявлена, но известно, что в числе рабочих языков будет и русский.

Переходим к обзору секционных докладов.

1а. На секции "Взаимоотношения топонимов и антропонимов" были представлены многочисленные доклады по разным языкам и территориям. Отметим доклад Мануэлы Домингес-Гарсия (Испания) "Агиотопонимия Галисия", в котором говорится о многочисленных топонимах, образованных от имен святых через посредство названий церквей. В народном языке они подверглись различным изменениям, например, от имени *Сиприано* получается топоним *Сан-Сибрао* и *Санкрибран*, от *Хулиан* – *Сан-Хиао*.

1б. На секции "Стандартизация топонимов" доклады были посвящены стандартизации, "нормализации", орфографии географических названий, в том числе: Мохамед Агали-Закара "Нормализация туарегских топонимов в области Сахель в Сахаре", где он анализирует географические термины на языке туарегов. Коллективный доклад сотрудников Университета Сантьяго-де-Компостела посвящен нормализации галисийских топонимов.

В ряде докладов ставилась проблема орфографии исконных и заимствованных топонимов, в частности, Г. Аксельберга для Норвегии, М. Гарвалика для Чехии. Экзонимы они называют "домашними" формами иностранных географических на-

званий, образовавшихся в результате длительного процесса вхождения чужих форм в свой язык. Благодаря этому они входят в систему принимающего языка.

Б. Хеллеланд (Норвегия) отмечает, что норвежское законодательство по топонимии началось с 1838 г. вместе с ревизией кадастра. В результате длительного союза с Данией датский язык утвердился в Норвегии в качестве письменного языка, что привело к значительному разрыву языков письменного и разговорного. В течение XX в. проходило постепенное приближение письменных форм к устным.

2. На секции "Системы имен" были прочитаны многочисленные доклады по именам в отдельных языках. В частности, Э. Кафарелли (Италия) ставил вопрос о повторяющихся именах собственных, об их частотности и возможной "усталости" имен, А. Цесликowa (Польша) прочитала доклад об именах собственных в языковой картине мира. Имена помогают реконструировать прежнюю картину мира и лучше понимать современную. Б. Фальк-Чельквист (Швеция) рассматривает имена, образованные от названий месяцев, как возникшие под влиянием англо-американской культуры.

3. На секции "Теория имени собственного" был прочитан обширный и основополагающий доклад Р. Шрамекa (Чехия) "Опыт определения состава ономастики как научной дисциплины". Он называет ономастику достаточно автономной частью лингвистики, сформировавшейся при активном участии экстралингвистических дисциплин. При этом отмечаются существенные для ономастики категории: функциональность, коммуникативность, номинативность, наличие специфического ономастического, системность, морфологическое структурирование, лингвистическое, генетическое, хронологическое начало, ареальность, социальность, квантитативность, "стилистичность" (модальность). Содержание ономастики (а это открытая система) как дисциплины может быть различным в зависимости от страны, традиций, школ. Общая ономастика включает общую теорию, методику, терминологию, источниковедение.

К отдельным именным классам Р. Шрамек относит:

1. Геонимы (включая космонимы, топонимы и их стандартизацию);

2. Бионимы (антропонимы, теонимы, зоонимы и их стандартизацию);

3. Хремотонимы (названия товаров, учреждений, организаций, юридическое право на имена). Далее рассматривается

отношение ономастики к другим дисциплинам: языкознанию, теории коммуникации, литературе, социологии, психологии, истории, этнографии, географии, праву, ареальной лингвистике, статистике, математике; школы, популяризация званий, а также история ономастики как дисциплины.

По-прежнему остается нерешенной проблема разграничения вариантов одного имени от самостоятельных имен. Этой проблеме, в частности, посвящен доклад В. Дальберг (Дания) на материале датских топонимов. Она выделяет три типа похожих названий: 1. взаимные с определениями типа *Большой – Малый, Новый – Старый* (может быть реализовано только одно определение: *Стуре Юнгбю и Юнгбю*). Это, по мнению автора, самостоятельные названия, а не варианты; 2. эпегзегетические (букв. "растянутые") *Валлэ и Валлэбо*. Это также самостоятельные имена. Оба типа направлены на расширение; 3. эллиптические: *Гельстофто – Гельсо* (выпадает средняя часть) – в противоположность двум предыдущим, этот тип направлен на сужение.

4. Секция "Социономастика". Выделение такой секции едва ли справедливо, поскольку имена вне социума не существуют, и данные доклады могли бы быть отнесены к другим секциям. Отметим следующие доклады: П. Бенедек (Чехия) "Влияние религии на предпочитаемый ономастикон отдельных территорий". На примере Трансильвании, где представлены католики, протестанты (лютеране и кальвинисты), униаты, показана специфика имен отдельных социальных групп; Л. Густафссон (Швеция) в докладе "Имена личные в северной Швеции" показывает проникновение туда английских имен типа *Дженни, Фанни, Натти*, которое началось с высших кругов и дошло до рабочих. Несколько докладов посвящено перемене географических названий, а также названиям улиц.

5. Секция "Прочие типы имен". Доклады этой секции посвящены преимущественно названиям учреждений, предприятий, фирм, а также обозначению готовой продукции, и в том числе товарным знакам. Р. Херберт (Нью-Йорк) на материале названий предприятий Южной Африки показывает большую изобретательность местного населения, приводя в качестве примера название Кафе "Мандлакабаба" – "сила моих отцов". Б. Кристенсен (Дания) говорит о названиях магазинов в Южной Ютландии, К. Габриэль (Германия) – о топонимах в названиях товаров, Т.П. Солова (Москва) – о названиях

внутригородских объектов, появившихся в Москве в последние десять лет.

6. Секция "Имя и народ". На этой секции был прочитан доклад С. Лазара (Франция) "Имена готов в Италии в VI в." Готами назывались собирательно все германцы. Они имели возможность выбора между германскими и романскими именами. Автор наблюдает традиции и инновации в этой области. М. Пизц (Германия) изучает романские и "западнофранкские" имена в Лотарингии в эпоху раннего средневековья, Л. Рюбекайль (Швейцария) — имена в зонах германо-кельтских контактов.

7. Секция "Этимология и лексикография". К. Черети (Австрия) прочитал доклад "Инновации и преемственность в среднеперсидской ономастике". Он готовит Словарь иранских личных имен. Материал по древним именам он уже обработал. Это проект следующей части. Ф. Дебрабаандер (Бельгия) изучает народную этимологию в топонимии и антропонимии. Например, итальянское *Milano* превращается у немцев в *Mailand*, немецкое *Heidelberg* во Фландрии звучит *Edelberge* и т.д. Л. Димитрова-Тодорова (Болгария) в докладе "Лексические заимствования тюркского, арабского, персидского происхождения в болгарской топонимии" подчеркивала, что большинство этих названий принесено во время господства Османской империи в XV—XIX вв. Ж. Жермен (Бельгия), говоря о различии прозвищ и фамилий, сравнивал фамилию с бабочкой, а прозвище — с коконом, из которого она выходит, считая, что этот момент сопровождается морфологическими метаморфозами. Определенный артикль в составе прозвища или предлог в составе топонима исчезает либо интегрируется в состав фамилии посредством "агглютинации", прозвище (или добавочное имя) умирает, фамилия рождается.

8. Секция "Ономастика и литература". Помимо частных докладов об именах в различных произведениях, можно отметить ряд проблемных докладов, посвященных работе переводчика. А.-М. Корредор-Плаха (Испания) отмечает, что независимо от того, реальные или вымышленные имена входят в состав литературного произведения, они всегда представляют трудность для переводчика, который стоит перед выбором, передавать ли имя в оригинальной форме или переводить слова, лежащие в их основах. М.-К. Дюран (Испания) в докладе "Ономастика. Ономатург. Роман", называя автора ономатургом, показала, что он всегда стоит перед выбором,

дать ли герою имя с неясной этимологией или "прозрачное". Она считает, что в любом случае эти имена многоассоциативны и "полисемантически" и каждый читающий воспринимает их по-своему.

9. Секция "Ономастика и право". Многие выступающие на этой секции отмечали, что в их странах давно существует законодательство об именах, и показывали изменения этих законов под влиянием изменения общественных взглядов на имена. Например, Д. Геррицен отмечает, что в Нидерландах в течение длительного времени разрешалось давать лишь традиционные, "устоявшиеся" имена. После II мировой войны эти устои пошатнулись, с 60-х годов можно регистрировать любые имена, в том числе личные имена, омонимичные фамилиям. Д. Ди-Белло (Италия) анализировала имена подкидышей, отмечая, что в них усматривается некоторая типология во всех странах. Придумывающий имя ищет какие-то отличительные черты у младенца, на основе которых его можно выделить, охарактеризовать, назвать.

10. На секции "Проекты исследований и библиографическая информация" было представлено очень много запланированных работ, на осуществление которых получены или еще только ищутся гранты. Отметим доклад Д.К. Карамшоева (Таджикистан) о личных именах народов Памира, где говорится о многочисленных бесписьменных языках Бадахшана, имена в которых не собраны полностью. Эти языки народов доисламской цивилизации хранят реликты древней индо-иранской лексики. В качестве языка межнационального общения у них используется таджикский, который не имеет ни по количеству, ни по качеству таких фонем, которые обеспечили бы достаточно точную передачу этих имен.

Во время конгресса работала выставка новых работ по ономастике. На ней было представлено множество словарей, в том числе топонимические серии по Латинской Америке, Африке, Канарским островам, Словарь библейских имен М. Герсизля, монография Э. Ханзакса «Древнерусское изложение "Еврейской войны" (по Иосифу Флавию, с древнерусскими текстами)», "Словарь сокращенных форм немецких имен" Л. Якоба и "Язык древнейших рунических надписей" Э.А. Макаева, переведенный на английский язык.

Новым председателем Международного ономастического совета избрана И. Хауснер (Австрия).

А.В. Супранская (Москва)

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Вышел в свет второй том журнала "Язык и речевая деятельность". Журнал основан в 1998 г. как центральный печатный орган Петербургского лингвистического общества (рецензию М.М. Маковского на два первых тома журнала см. в ВЯ, 2000, № 3). Как можно видеть, у журнала еще вполне "младенческий" возраст; поэтому трудно говорить об уже сложившихся традициях, но можно – о планах и принципах, которые редакция<sup>1</sup> считает наиболее существенными для своей издательской политики.

Прежде всего, важно упомянуть, что лингвистических журналов в России (и, ранее, в Советском Союзе) всегда было мало. Реально на всю огромную страну с тысячами лингвистов был один-единственный собственно лингвистический журнал – академические "Вопросы языкознания". Лишь недавно возник "Московский лингвистический журнал", появились периодические лингвистические издания в Перми и Твери. Уже сама по себе, мягко говоря, малочисленность периодических изданий, специализированных в области языкознания, налагает на тех, кто отваживается на приобщение к этому "короткому списку", чрезвычайно большую ответственность. Фактически речь идет о формировании в лингвистической России альтернативных источников знаний (если считать, как это принято в науковедении, что основную информацию о состоянии и развитии своей дисциплины научное сообщество черпает

именно из специальной периодической литературы). Под альтернативностью, разумеется, не следует понимать конфронтацию, но единственно – дополительность.

В нашем случае уместно вспомнить и о традиционной функции Петербурга – служить "окном в Европу" и, шире, на Запад. Российская лингвистика до сих пор не интегрирована должным образом в мировую; причем печальная "автономность" носит двусторонний и, одновременно, асимметричный характер: на Западе знакомство с русской лингвистикой достаточно поверхностно; в России хорошо известна западная лингвистическая классика, но сегодняшний день американской и западноевропейской лингвистики для большинства российских языковедов представляет собой не слишком знакомую область. Соответственно, мы видим одну из задач журнала в наведении лингвистических мостов в пространстве "Восток – Запад". Средствами выступает и активное привлечение зарубежных авторов, и публикация части статей на английском языке (чего в России не было примерно с 30-х годов), и, конечно, обзоры, рецензии и т.п. Как частность, впрочем, немаловажную, можно упомянуть тенденцию к сопровождению русскоязычных статей гораздо более пространными, чем это обычно практикуется, английскими резюме (1–2 страницы).

В обращении "От редколлегии", опубликованном в томе 1, говорится: "Можно сказать, что есть два типа журналов: журнал-рупор и журнал-форум. Первый служит трибуной для одного направления, школы. Второй – арена состязания разных идей, направлений, теорий. Мы без колебаний избираем второй путь".

Конкретным примером может служить дискуссия, представленная на страницах тома 2; дискуссия, в которой участвуют Б. Бишакджан (Неймегенский университет, Нидерланды), В.Б. Касевич и Н.Н. Казанский. Эта дискуссия посвящена вопросу о том, правомерно ли утверждать, что язык не просто *изменяется*, но *развивается, эволюционирует*, следуя в целом принципам,

<sup>1</sup> Главный редактор журнала В.Б. Касевич, зам. главного редактора Ю.А. Клейнер. В редколлегию входят: В.П. Берков, С.И. Богданов, А.В. Бондарко, Л.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, Л.А. Вербицкая, А.С. Герд, А.И. Домашнев, С.Г. Ильенко, Н.Н. Казанский, А.Б. Муратов, М.К. Сабанеева, Н.Д. Светозарова (отв. секретарь), И.М. Стеблин-Каменский, В.С. Храковский. Возможно, не все положения, содержащиеся в настоящей статье, в равной степени близки всем членам редакционной коллегии журнала.

согласующимся с неодарвинистской парадигмой. Упомянутая дискуссия помещена в разделе "Вопросы общей теории и синхронного описания языков". С равными к тому основаниями она могла бы войти и в два других из основных разделов журнала: "Диакроническая лингвистика" или "Школы и направления в лингвистике. Из истории языкознания".

Говоря о школах, мы по существу сталкиваемся с кардинальной проблемой (само)определения лингвистики как науки определенного типа. По-видимому, правомерно утверждать, что *любая лингвистическая работа выполняется в рамках и в русле той или иной школы*, пусть это и не прокламируется явным образом. С науковедческой точки зрения из принятия этого допущения должно следовать, что лингвистика – *допарадигмальная наука*: "Не удивительно... что на ранних стадиях развития любой науки различные исследователи, сталкиваясь с одними и теми же категориями явлений, далеко не всегда одни и те же специфические явления описывают и интерпретируют одинаково. Можно признать удивительным и даже в какой-то степени уникальным именно для науки как особой области, что такие первоначальные расхождения впоследствии исчезают. Ибо они действительно исчезают, сначала в весьма значительной степени, а затем и окончательно. Более того, их исчезновение обычно вызвано триумфом одной из допарадигмальных школ, которая в силу ее собственных характерных убеждений и предубеждений делает упор только на некоторой особой стороне весьма обширной по объему и бедной по содержанию информации" [Кун 1977: 26–27].

Лингвистика, разумеется, не находится "на ранних стадиях развития" – напротив, это одна из наиболее древних наук, если учитывать ее философско-филологические корни. В то же время уровень сложности объекта, с которым имеет дело лингвистика, реальная противоречивость "категорий явлений", предстоящих исследователю-языковеду, провоцируют множественность интерпретаций, между которыми лишь в сравнительно редких случаях (ср. [Касевич 1977]) усматриваются отношения дополнительности.

Признание допарадигмальности не дискредитирует лингвистику, которая отнюдь не одинока в этом своем статусе: к допарадигмальным, вслед за Т. Куном, обычно относят и остальные гуманитарные и социальные (общественные) науки. Так, авторы выдержавшего в США шесть изда-

ний курса по истории современной психологии подчеркивают, что "психология – одна из самых древних наук" [Д. Шульц, С.Э. Шульц 1998: 18], но в то же время отмечают: "Появление различных психологических школ, их последующий упадок и замена другими – одна из поразительных черт истории психологии. Та стадия в развитии науки, когда она еще разделена на отдельные школы, называется допарадигматической... (допарадигмальной). – В.К.). ...Наука достигает зрелости, т.е. высокой стадии развития, когда она больше не делится на различные школы; когда большинство ученых едины в вопросах принятия основных теорий и методов. На этой стадии развитие научной области определяется некоей моделью, общей парадигмой – больше нет соперничающих фракций" [Д. Шульц, С.Э. Шульц 1998: 32–33]. Здесь же стоит упомянуть, что согласно тем же авторам, психология выделяется среди других наук особым вниманием к собственной истории; студентам-физикам или химикам не читают курсы истории физики или химии соответственно, хотя именно курс истории психологии обычен для психологических факультетов. Общеизвестно, что то же самое характерно для факультетов филологических, где курс "история лингвистических учений" – традиционный компонент университетского филологического образования. Наконец, если математики, физики, как правило, не читают труды Эйлера, Ньютона или Эйнштейна – они находят их изложение в учебниках, то от профессионального лингвиста ожидается знакомство с оригинальными сочинениями Гумбольдта, Соссюра, Бодуэна, Потебни и др. классиков (ср. [Кун 1977: 216–217]).

Вероятно, нужно добавить, что точные и естественные науки, с одной стороны, и гуманитарные – с другой, реально отличаются не столько наличием/отсутствием школ, сколько соотношением последних: если в математике или физике школы чаще всего находятся в отношении *дополнительности* (каждая более активно и глубоко исследует свою проблемную подобласть), то в лингвистике или психологии более типичны школы, для которых действительно отношение *оппозиции* (они занимают одну и ту же проблемную область, но при разных исходных установках и/или разными методами).

Специфичность лингвистики как гуманитарной науки<sup>2</sup>, кратко обрисованная выше,

<sup>2</sup> Мы не останавливаемся на анализе суждений, согласно которым допарадигмальные

предъявляет особые требования к лингвистическому журналу. С одной стороны, любая наука, в том числе и допарадигмальная, с неизбежностью носит "эзотерический" характер; работы специалиста-ученого обычно недоступны для читателя-неспециалиста. С другой, язык занимает настолько существенное место в жизни человека (и, одновременно, сама возможность собственно научного, теоретического изучения языка столь неочевидна для "человека с улицы"), что жажда приобщения к языкознанию у широкой читательской аудитории достаточно велика. Должен ли журнал учитывать эту жажду – или же правомерно отгородиться указанием "Посторонним вход воспрещен"?

Представляется, что возможен компромисс. Отнюдь не поступаясь научной строгостью, лингвистический журнал, в условиях отсутствия научно-популярных изданий соответствующего профиля, мог бы взять на себя популяризацию достижений современного языкознания. Вместо лингвистов-профессионалов этого не сделает никто. В планах журнала "Язык и речевая деятельность" – организация специальной рубрики, посвященной именно этим задачам.

Эта же, в сущности, проблема имеет по меньшей мере два других дополнительных аспекта. Как уже отмечалось выше, интерес общества к языку не уменьшается, а, скорее, возрастает. Здесь можно говорить и об интересе "человека с улицы", и о том обстоятельстве, что языковая проблематика в течение последних десятилетий занимает центральное место в философском, психологическом, психиатрическом дискурсе; достаточно вспомнить знаменитый "лингвистический поворот" в философии, который проявился и в аналитической философии, и в герменевтике, фактически заменяя познание пониманием и истину – осмысленностью (т.е. лингвистическими категориями), вспомнить направление Лакана в психоанализе и т.д. Наконец, лингвистическая проблематика с неизбежностью вторгается в ряд прикладных штудий, таких, как автоматический анализ и синтез речи, и др.

В то же время образовательная школа – и это первый из указанных выше дополни-

науки – это, по существу, "протонауки": им предстоит сложный путь трансформаций для превращения в науки "настоящие" (ср. [Lazard 1999]); в этих суждениях немало справедливого, но требуются и существенные оговорки, систематическое изложение которых не соответствовало бы жанру настоящего сообщения.

тельных аспектов – не только не дает лингвистических знаний, но, наоборот, движется в обратном направлении, изгоняя и то немногое, что существовало в школьных программах применительно к языку. К сожалению, эта тенденция носит глобальный характер. Так, в англоязычных странах грамматика родного языка изъята из учебных программ, что, по мнению многих, имело драматические последствия для интеллектуального климата<sup>3</sup>. По словам известного лингвиста Дж. Сампсона, участвовавшего в дискуссии по поводу соответствующей проблемы на страницах ИНТЕРНЕТ, "значительная часть британских учащихся в настоящее время реально неспособна к построению ясного, осмысленного текста, отражающего тему умеренной сложности, – т.е. лишена умений, которые, скорее всего, чрезвычайно существенны для карьеры, к которой эти же люди стремятся".

Вообще, говоря о школьном образовании, можно сказать, что в школе изучают (а) науки о живой природе, (б) науки о неживой природе, (в) науки о человеке и обществе. Если первые два блока представлены более или менее удовлетворительно, то последний – во многих отношениях важнейший – чаще всего представлен очень плохо. А хуже всего – именно язык. Даже там, где учебная программа не игнорирует язык, "школьная" наука о языке и университетская, академическая – это фактически несприкасающиеся миры, хотя именно школьный период наиболее подходит для введения в мир языка. По свидетельству одного из американских лингвистов, преподающего язык в школе непривилегированного городского района, подростки живо интересуются языком. Как пишет, также в рамках уже упоминавшейся выше дискуссии, его научный руководитель, "если у членов подростковых шак (adolescent gang members) можно возбудить интерес к деривационной морфологии латинских заимствований в

<sup>3</sup> Справедливости ради нужно отметить, что по крайней мере в США есть и реакция школьных преподавателей английского языка на усилия вытеснить их предмет из учебной программы. Так, существуют и ведут активную деятельность Ассоциация преподавателей английской грамматики (Assembly for the teaching of English grammar), Национальный совет преподавателей английского языка (National council of teachers of English), которые ежеквартально выпускают бюллетень (newsletter) "Синтаксис в школе" ("Syntax in the schools").

английском языке, кто знает, что из всего этого может выйти”.

Профессиональные лингвисты во многом сами виноваты в том, что в обществе существует определенная аллергия на теоретическую лингвистику. Неоднозначна в этом отношении роль генеративной лингвистики – самого мощного теоретического направления последних десятилетий. С одной стороны, она повысила требования к научной строгости лингвистического исследования, более других направлений настаивала и настаивает на важности обнаружения универсальных категорий под покровом поверхностного разнообразия языков мира – наконец, последовательно помещает лингвистику в общий контекст когнитивных наук. С другой стороны, генеративная лингвистика, с ее упором на построение формальных моделей и отсутствием интереса к проблемам “язык и культура”, “язык и этнос”, превращает лингвистику в своего рода игру в бисер, доступную лишь для узкого круга посвященных.

Возвращаясь к школьному образованию, можно сказать, что если реалистично преподавать в школе основы физики или биологии как теоретических наук, то равным образом нужно дать представление школьнику о лингвистике как науке, а не перечне скучных списков исключений, которые нужно вы зубрить. При этом, начиная с безусловно занимающих всех проблем типа “язык и культура”, “язык и этнос”, “язык и история”, можно от них перейти к более специальным аспектам, включая в разумных объемах и собственно формальные.

Лингвистический журнал мог бы в определенной степени взять на себя и эту функцию: служить связующим звеном между академической/университетской и школьной лингвистикой.

Аналогичным образом (второй аспект) лингвистический журнал – и это входит в планы редакции журнала “Язык и речевая деятельность” – мог бы позаботиться о том, чтобы информация о языке из первых рук была доступна для специалистов-нелингвистов, профессионально соприкасающихся с языковой проблематикой – уже упоминавшихся психологов, философов, разработчиков речевых технологий и др. Этому послужила бы рубрика с условным названием “Лингвистика для нелингвистов”. Кстати, материалы такой рубрики оказались бы полезными и для самих лингвистов. Для авторов адаптированных к уровню неспециалиста материалов всегда плодотворен сам процесс адаптации, нередко вскрывающий существенные недоговоренности и

неясности. Среди читателей же наверняка будут и лингвисты, являющиеся узкими специалистами в какой-то области, но считающие нужным следить за развитием своей науки как таковой. Ведь не секрет, что специализация в лингвистике зашла весьма далеко и ситуация, когда, скажем, синтаксист не понимает фоолога и наоборот – скорее правило, чем исключение.

В числе прочих задач, теоретическая лингвистика должна стать основой *практической риторики*: людей нужно *учить говорить* – особенно если это связано непосредственно с их профессиональными занятиями. И проблема вовсе не исчерпывается оскорблением эстетического чувства слушателя или того, кто наблюдает за прениями по телевизору: типична ситуация, когда депутаты просто не понимают друг друга из-за речевой неряшливости, из-за отсутствия умения выстроить высказывание без ошибок, ведущих к семантическим нарушениям разного рода. Политика и экономика оказываются заложниками риторики – вернее ее отсутствия в скольконибудь культивированном виде.

Пока не вполне ясно, в чем здесь может заключаться вклад лингвистического журнала. Возможно, речь могла бы идти о тематических выпусках, посвященных теории диалога, теории аргументации и т.п.

Упомяну еще об одном аспекте. В сентябре 1999 г. в Пушкине, под С.-Петербургом, прошла конференция по *евролингвистике*, совместно организованная университетами Гейдельберга, Маннгейма, С.-Петербурга, Стокгольма и Вильнюса под эгидой недавно основанного Евролингвистического общества. Позволю себе привести отрывки из сообщения о создании Евролингвистического общества, которое (сообщение) было распространено через ИНТЕРНЕТ за подписями проф. С. Уреланда (Маннгейм) и автора этих строк. «Целью Общества является поощрение европейских исследований, которые призваны придать *лингвистическое измерение* процессу объединения Европы. Единство и разнообразие европейских культур, которое, по словам Сетон-Уотсона, ‘есть просто результат трехтысячелетних усилий наших... предков’, нельзя сохранить и обеспечить без должного внимания к аспектам, связанным с языком. ...Отсюда важность развития многоязычия...

Язык есть основание культуры... Отсюда важность ‘изомерических линий’, ...объединяющих сравнимые черты в области лексики, грамматики, моделей дискурса на



фоне этнокультурных общностей». Журнал "Язык и речевая деятельность" намерен принимать активное участие в "евролингвистическом движении" путем публикации статей соответствующей тематики.

Выше акцентированы те направления деятельности журнала, которые, вероятно, менее типичны для профессионально-лингвистического издания. Разумеется, из этого никак не следует, что журнал будет меньше внимания уделять традиционным темам, связанным с грамматикой, типологией и т.д. Основной структурой в рамках Петербургского лингвистического общества выступает тематический семинар (по функциональной грамматике, по психо- и нейролингвистике и т.п., всего около 25 семинаров). В журнале существует постоянная рубрика "В семинарах Петербургского лингвистического общества", призванная освещать работу семинаров (а раз в год организуются Научные чтения Общества, где основные доклады представляются именно семинарами).

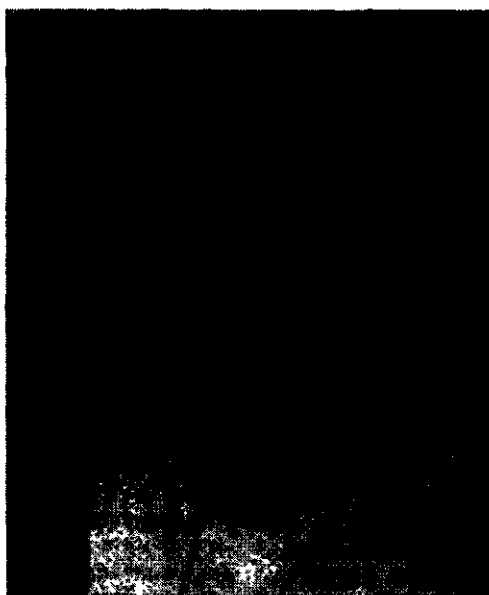
"Внимательный читатель", конечно, заметил, что название журнала почти воспроизводит название книги Л.В. Щербы –

сборника его избранных работ [Щерба 1974]; как сказано в уже цитировавшемся обращении редколлегии из первого тома журнала, "в переключке названий мы хотели бы видеть переключку идей". Фактически все темы и проблемы, бегло очерченные выше в связи с возможными направлениями работы журнала, входили в круг внимания Щербы. Иначе говоря, есть все основания считать, что "за" журналом – прочные традиции отечественной лингвистики...

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Касевич В.Б.* 1977 – Элементы общей лингвистики. М., 1977.  
*Кун Т.* 1977 – Структура научных революций. М., 1977.  
*Шульц Д., Шульц С.Э.* 1998 – История современной психологии. СПб., 1998.  
*Щерба Л.В.* 1974 – Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.  
*Lazard G.* 1999 – La linguistique est-elle une science? // BSLP. 1999. Т. XCIV, fasc. 1.

*В.Б. Касевич*



#### ГЕРТА ХЮТЛЬ-ФОЛЬТЕР (1923–2000)

18 января 2000 г. скончалась Герта Хютль-Фольтер, один из наиболее видных русистов уходящего столетия, замечательных и широтой своих интересов, и глубиной анализа, и образцовой тщательностью своих работ. Ее без преувеличения можно назвать подлинным ревнителем русского языка и русской словесности, не только создавшим ряд фундаментальных исследований по истории русского языка, но и заразившим любовью к русскому языку и русской культуре несколько поколений американских и австрийских студентов, которым посчастливилось слушать ее лекции.

Герта Хютль-Фольтер родилась 8 мая 1923 г. в Вене в семье комиссара полиции д-ра права Генриха Хютля и Францишки Хютль, народной учительницы. В 1938 г., когда Австрия была аннексирована нацистской Германией, Генрих Хютль, до последнего момента отвечавший за предупреждение демонстраций австрийских национал-социалистов, был арестован и отправлен в Дахау. В этих трудных обстоятельствах на помощь Герте пришли родители ее школьной подруги, графини Марии Разумовской, в замке которых она провела каникулы этого рокового для Австрии года. Трудно сказать, насколько эти события повлияли на ее дальнейший выбор, но в 1939 г. она начала учить русский язык на вечерних курсах в Вене, а в 1941 г., окончив реальную гимназию, поступила в Венский университет. Там она занималась славистикой и работала в качестве лаборанта в Институте славянской филологии.

В июле 1945 г. Г. Хютль окончила Венский университет с отличием и получила степень доктора филологии. В университете вакансий не было, так что в течение нескольких лет она была оторвана от научной работы – издавала журнал, посвященный русскому языку, для австрийских школ и преподавала русский язык в школе. Стремление заниматься славистикой, однако, не оставляло ее, и в 1951 г. она получила стипендию французского правительства для продолжения научных занятий в Сорбонне. Здесь под руководством Андре Мазона и Бориса Унбегауна Г. Хютль

написала диссертацию об обогащении словарного состава русского языка в XVIII в. Диссертация была защищена в Сорбонне в июне 1953 г. и отмечена как "très honorable". Она была опубликована в немецком переводе в качестве монографии "Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im 18. Jahrhundert" (Вена, 1956) и до сих пор сохраняет свою актуальность. В книге было показано, что многочисленные лексические инновации, приписывавшиеся Карамзину, появились в русском литературном языке существенно раньше, в текстах середины XVIII в. (в частности, у Тредиаковского). Это ставило языковую реформу Карамзина (создание так называемого "нового слога") в новую перспективу, позволяя увидеть в созданном Карамзиным идиоме не только новизну, но и преемственность.

В 1954 г., выйдя замуж за молодого американского слависта Дина С. Ворта, Герта Хютль (теперь Г. Хютль-Ворт) переехала в Америку. Три года она провела в Гарварде, где сотрудничала с Романом Якобсоном и Дмитрием Чижевским (в соавторстве с Якобсоном она опубликовала в 1957 г. библиографическое пособие по палеосибирским языкам). В том же 1957 г. Герта Хютль-Ворт вместе с Дином Вортом переезжает в Лос-Анджелес, где в скором времени начинает преподавательскую деятельность в качестве профессора Отделения славянских языков и литератур, в то время одного из лучших в Соединенных Штатах. Здесь она работает над монографией "Foreign Words in Russian. A Historical Sketch, 1550–1800", которая и выходит в 1963 г. (University of California, Publications in Linguistics, 28. Berkeley – Los Angeles). Монография задумывалась как своего рода дополнение к словарю Фасмера, содержащее ряд существенных поправок в трактовке заимствованной лексики. Она содержала вместе с тем и важный теоретический вывод, демонстрируя (что было новым в те годы), что многие заимствования из польского входят в русский язык через юго-западнорусское (украинское) посредство. К американскому периоду относится и ряд важных статей, посвященных проблеме славянизмов в русском литературном языке разных эпох, их статусу, стилистическим характеристикам, особенностям функционирования в текстах различных жанров.

В 1971 г. после развода с Дином Вортом Герта Хютль (в новом замужестве Герта Хютль-Фольтер) возвращается в Европу. Отказавшись от места профессора в Школе славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета, она занимается только что основанную кафедру русистики в университете Вены, на которой работает всю оставшуюся жизнь. Возглавляя эту кафедру, она разрабатывает учебную программу по данной дисциплине в Венском университете и координирует преподавание всех русистских дисциплин. Парадоксальным образом, ее научные занятия только выигрывают от чрезвычайно активной преподавательской и административной деятельности. Герта углубленно занимается русским словообразованием и историей русского литературного языка, вовлекая в эту работу своих учеников. В 1983 г. появляется новая обширная монография, посвященная полногласной и неполногласной лексике в древнерусских летописях – "Die trat/torot-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache" (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, Bd. 420. Wien), плод двенадцати лет неустанных трудов. Монография основана на подробнейшем статистическом анализе употребления полногласных и неполногласных лексем и различных языковых элементов, составляющих контекст их употребления. Этот анализ позволяет выявить факторы, влияющие на выбор соответствующей формы, и определить относительный вес каждого из факторов. Тщательность исследования приносит свои результаты, книга становится ценнейшим вкладом в решение одной из наиболее сложных проблем исторической русистики – проблемы соотношения и взаимодействия русского и церковнославянского.

Постепенно интересы Г. Хютль-Фольтер все больше обращаются к историческому синтаксису – наименее исследованной области в истории русского языка. Уже в 1978 г., вслед за А.В. Исаченко, она формулирует принцип, согласно которому именно

синтаксические параметры определяют тип языка (Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen. – *Studia linguistica Alexandro Vasillii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata*. Lisse, 1978, 187–190). Несколько лет уходит на разработку теоретического аппарата, необходимого для того, чтобы вывести историко-синтаксические исследования на новый уровень. В 1993 г. Герта празднует свое семидесятилетие и уходит в отставку, сохраняя позицию профессора-эмеритус Славянского института. Освободившееся время позволяет ей завершить ее синтаксический проект, вновь поражающий своей монументальностью, огромностью кропотливого исследовательского труда. В 1996 г. появляется ее последняя монография – "Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen" (Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar). Для исследования были избраны два важнейших аспекта синтаксического устройства русского литературного языка нового типа – сложноподчиненное предложение и деепричастные конструкции. Материалом послужили три пространных текста первой половины XVIII в., т.е. времени начального формирования русского литературного языка нового типа. Все три текста представляют собой переводы с французского и анализируются в сопоставлении с французскими оригиналами. Монография Г. Хютль-Фольтер безусловно останется в науке как важнейший источник сведений о синтаксисе русского языка первой половины XVIII в., она сообщает ценнейший материал для построения русского исторического синтаксиса.

Когда один из авторов этого некролога виделся с Гертой последний раз летом 1999 г., речь шла о том, чем дальше она будет заниматься. Она просила совета, потому что была не уверена, как много она еще успеет сделать и не хотела браться за слишком большую тему; жаловалась, что объемный статистический анализ обширного материала ей, работающей теперь без ассистента, больше не под силу. Остановились на синтаксисе Фонвизина; она уже начала работать над его "Письмами из Франции" (статья «Die Hypotaxe in Fonvizins "Briefen aus Frankreich" (1777–78)» появилась в сборнике в честь Христы Флекенштайн "Die russische Literatursprache des 18.–20. Jahrhunderts") и собиралась продолжить анализ этого интереснейшего текста. От синтаксиса Фонвизина, на ее взгляд, шел прямой путь к новому слогу Карамзина и тем самым к синтаксическому устройству современного русского литературного языка. Жизни без исследовательской работы Герта не представляла, преданность своему делу входила в самую ткань ее существования.

Такой Герта и останется в нашей памяти – замечательным другом и легким собеседником, всегда увлеченным собственными исследованиями и спешащим поделиться своими наблюдениями и, вместе с тем, всегда заинтересованным в занятиях своих коллег. Она и в самом деле посвятила всю свою жизнь работе с русским языком, и ее труды вошли в основной фонд современной русистики. Мы прощаемся с нею с грустной благодарностью и светлой печалью.

*В.М. Живов, Е.А. Земская*

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,  
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 2000 г.

Статьи

А льквист А. Меряне, не меряне (I, II) .....	2,3
Б аранов А.Н., Юшманова С.И. Отрицание в идиомах: семантико- синтаксические ограничения .....	1
Б лох М.Я. Диктема в уровневой структуре языка .....	4
Б оголюбов М.Н. Василию Ивановичу Абаеву к Торжественному Дню .....	6
Б огомасов Г.М. Сосуществование двух фонологических систем в языке ребенка .....	1
Б ыкопя В.В., Кузнецова Н.Г. Самодийское направление лингвистической школы А.П. Дульзона .....	3
В айда Э. Актантные спряжения в кетском языке .....	3
В ерещагин Е.М., Костомаров В.Г. Рече-поведенческое исследование Притчи Пушкина о блудной дочери .....	2
В ернер Г.К. Сложные атрибутивные конструкции в енисейских языках .....	3
В олодин А.Н. О "блуждающей морфеме" <i>inelen</i> в чукотско-корякских языках (опыт диахронической интерпретации) .....	6
Г ак В.Г. Язык Пушкина и французский язык .....	2
Г алкина Т.В., Осипова О.А. А.П. Дульзон и его школа .....	3
Г уревич В.В. Модальность и семантика глагольного вида .....	2
Д обрушина Н.Р. Исследования средств выражения обратной связи в амери- канской лингвистике .....	1
З ализняк А.А. Лингвистика по А.Т. Фоменко .....	6
И саяев М.И. Патриарх отечественной филологии (к 100-летию со дня рождения В.И. Абаева) .....	6
К асаткина Р.Ф. Южнорусское наречие. Новые данные .....	6
К ибрик А.Е. К проблеме ядерных актантов и их "неканонического кодирования": свидетельства арчинского языка .....	5
К нязев С.В. К вопросу о механизме возникновения аканья в русском языке .....	1
К омри Б. Язык и доистория: к междисциплинарному подходу .....	5
К равченко А.В. Естественнонаучные аспекты семиозиса .....	1
К рысин Л.П. Социальная маркированность языковых единиц .....	4
К рючкова О.Ю. Редупликация в аспекте языковой типологии .....	4
К узнецов А.М. Глаголица: между греческим и латинским .....	1
К устова Г.И. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений .....	4
М айсак Т.А. Грамматикализация глаголов движения: опыт типологии .....	1
М айсак Т.А., Татевосов С.Г. Пространство говорящего в категориях грамматики, или Чего нельзя сказать о себе самом .....	5
М ихеев М.Ю. <i>Жизни мышья беготня или тоска тщетности?</i> (о метафорической конструкции с родительным падежом) .....	2
М онич Ю.В. Амбивалентные функции ритуала в эволюции языковых систем .....	6
М урасов Р.З. Неличные формы глагола в контрастивно-типологическом виде- нии .....	4
Н ещименко Г.П. Несколько мыслей по поводу новых грамматик чешского языка .....	1

Панова Ю.Н. Форма будущего категорического времени в современном персидском языке: значение и сфера употребления.....	1
Перцов Н.В. О неоднозначности в поэтическом языке.....	3
Попова В.Н. Ареально-ретрогрессивный метод А.П. Дульзона в исследовании субстратной топонимии.....	3
Потапова Р.К., Потапов В.В. Фонетика и фонология на стыке веков: идеи, проблемы.....	4
Савосина Л.М. Трансформационная парадигма предложения и ее соотносительность с актуализационной парадигмой.....	1
Топорова Т.В. О типах познания в древнегерманской мифопоэтической модели мира.....	2
Трубачев О.Н. Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения.....	5
Урысон Е.В. Русский союз и частица <i>и</i> : структура значения.....	3
Циммерлинг А.В. Американская лингвистика сегодняшнего дня глазами отечественных языковедов.....	2
Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1999 г.....	2

#### *Из истории науки*

Барандеев А.В. Терминоведческая проблематика в трудах Э.М. Мурзаева (1908–1998).....	1
Ожегов С.И. О просторечии (к вопросу о языке города).....	5
Радченко О.А. Проблема языкового сообщества в немецкой философии языка первой половины XX века.....	4
Скворцов Л.И. Сергей Иванович Ожегов – человек и словарь (к 100-летию со дня рождения).....	5

#### *Критика и библиография*

##### Рецензии

Алпатов В.М. <i>Patric Sériot. Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale</i> .....	4
Бабенко Н.С. <i>D. Dobrovolskij. Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung</i> .....	1
Барандеев А.В. Отечественные лексикографы XVIII–XIX вв. Материалы для хрестоматии. Отечественные лексикографы XX в. Материалы для хрестоматии.....	5
Бельчиков Ю.А. <i>О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона</i> .....	6
Буров В.Г., Городецкий Б.Ю., Семенов А.Л. <i>Ли Цинь. Категория не-/определенности в русском языке: языковые средства и их функции в речи</i> .....	4
Виноградов А.А. <i>Йозеф Крекич. Педагогическая грамматика русского глагола: Семантика и прагматика</i> .....	2
Горшкова К.В. <i>М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина. Словарь трудностей русского произношения</i> .....	5
Демьянков В.З. <i>В.Г. Гак. Языковые преобразования</i> .....	5
Демьянков В.З. <i>М.М. Маковский. Историко-этимологический словарь современного английского языка. Слово в зеркале человеческой культуры</i> .....	6
Добродомов И.Г. <i>Е.С. Отин. Избранные работы</i> .....	1
Живов В.М., Земская Е.А., Крысин Л.П. <i>Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen</i> .....	5
Зализняк Анна А. <i>Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)</i> .....	2
Караулов Ю.Н. <i>Испанско-русский словарь. Латинская Америка</i> .....	5
Колесов В.В. <i>М.В. Иванова. Древнерусские жития конца XIV–XV веков как источник истории русского литературного языка</i> .....	3
Крысько В.Б. <i>H. Birnbaum, J. Schaecken. Das altkirchenslavische Wort: Bildung – Bedeutung – Herleitung. Altkirchenslavische Studien I</i> .....	2

Маковский М.М. Язык и речевая деятельность .....	3
Мальчиков А.Л. V.T. <i>Kyalandzyga, M.D. Simonov</i> . Dictionary of the Udihe language. Preprint.....	3
Москвин В.П. Н.Ф. <i>Алефиренко</i> . Спорные проблемы семантики .....	6
Насилов Д.М. И.В. <i>Кормушин</i> . Тюркские енисейские эпитафии: Тексты и исследования.....	3
Никитин О.В. Ю.С. <i>Степанов</i> . Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.....	5
Плунгян В.А. Typology of verbal categories: Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday.....	4
Плунгян В.А. R.M.W. <i>Dixon, A.Y. Aikhenvald (Eds.)</i> . The Amazonian languages.....	5
Раевский М.В. L.N. <i>Zybatow</i> . Russisch im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestrojka .....	1
Татевосов С.Г. Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность.....	2
Фалилеев А.И. G. <i>Isaac</i> . The verb in the Book of Aneirin. Studies in syntax, morphology and etymology.....	4
Черданцева Т.З. <i>Italian Lexicon</i> .....	6

#### Научная жизнь

Хроникальные заметки.....	2,3,5,6
Некрологи:	
В.М. Солнцев (1928–2000).....	4
Герта Хютль-Фольтер (1923–2000).....	6
Новые издания.....	3,6

## CONTENTS

To the centenary of Professor V.I. Abaev. M.N. Bogoliubov (St.-Petersburg). To Professor V.I. Abaev on the solemn day of his centenary; M.I. Isaev (Moscow). The patriarch of our philology (to the centenary of Professor V.I. Abaev).

\*

A.A. Zalizniak (Moscow). Linguistics according to A.T. Fomenko; Yu.V. Monič (Moscow). Ambivalent functions of the ritual and their reflection in the evolution of language systems; R.F. Kasatkina (Moscow). South Russian dialect. New data; A.P. Volodin (St.-Petersburg). On the "wandering morpheme" *inelena* in Chukot-Koriak languages. An essay of diachronic interpretation; Reviews: T.Z. Čerdanceva (Moscow). *Italien Lexikon* Yu.A. Bel'čikov (Moscow). O.P. Yermakova, E.A. Zemskaja, R.I. Rozina (Moscow). An explanatory dictionary of the general Russian jargon; V.P. Moskvina (Volgograd). N.F. Alefirenko. Moot problems of semantics; V.Z. Demiankov (Moscow). M.M. Makovskij (Moscow). Historical and etymological dictionary of contemporary English; Scientific life: Chronicle features; New editions: V.B. Kasevič (St.-Petersburg). Language and speech; V.M. Živov, E.A. Zemskaja (Moscow). E.A. Gerta Hüttl-Folter (a necrology); An index of articles and reviews published in the journal "Voprosy Jazykoznanija" in 2000.

Технический редактор О.Н. Никитина

---

Сдано в набор 29.09.2000	Подписано к печати 30.10.2000	Формат бумаги 70 × 100 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>		
Офсетная печать.	Усл.-печ.л. 13,0	Усл.-кр.-отт. 19,2 тыс.	Уч.-изд.л. 15,3	Бум.л. 5,0
	Тираж 1452 экз.	Зак. 4131		

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

---

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90  
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16  
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6